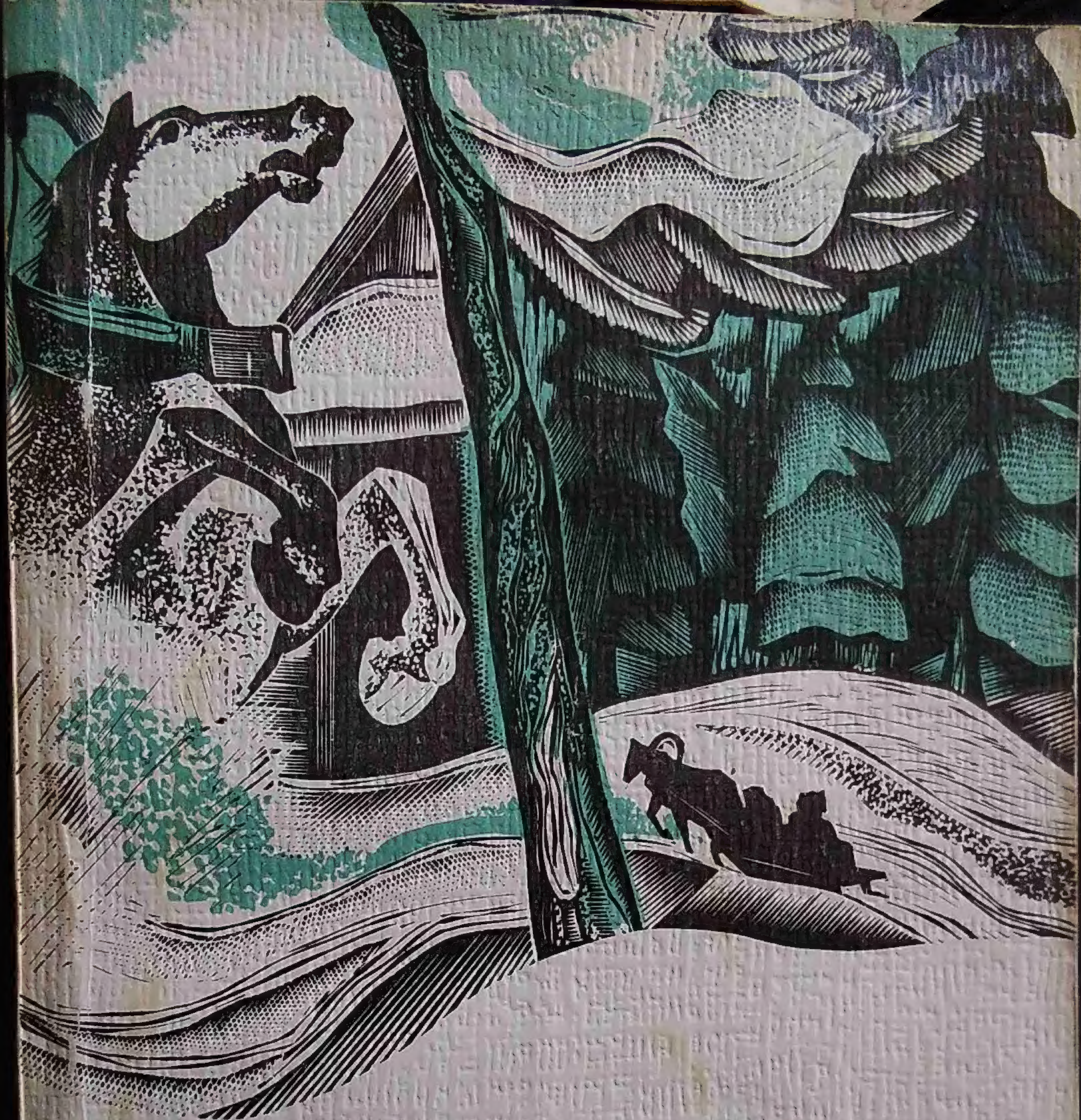


Сергей Залыгин

Санный путь



Сергей Павлович Залыгин
родился в 1913 году. Окончил
Омский сельскохозяйственный институт,
работал инженером-гидротехником,
гидрологом в Сибирском отделении АН СССР.
Печататься начал в 1936 году.
Автор многих романов, повестей
и рассказов. За роман «Солевая падь»
удостоен Государственной премии СССР.

Сергей Залыгин

Санный путь

Повести и рассказы



ЛЕНИЗДАТ · 1984

84.3Р7
З25

Залыгин С.
З25 Санный путь: Повести, рассказы. — Л.: Лениздат, 1984. — 352 с.

Повесть «На Иртыше» посвящена событиям периода коллективизации в сибирской деревне, остальные произведения сборника — морально-нравственным проблемам жизни села 1950—1970-х гг.

З $\frac{4702010200-189}{М171(03)-84}$ 214—84 84.3Р7

НА ИРТЫШЕ

Повесть

Глава первая

Стоял март девятьсот тридцать первого года.

Неделю буранило сильно, замело дороги, избы по самые крыши замело. После буран утишился. Погода настала ясная, мужики говорили — это последний в нынешнюю зиму играл буран. Теперь ударить мог еще морозец прощальный, либо сразу пойдет к теплу.

И похоже было — идет к теплу. Быстро проступила темная, унавоженная полоска дороги на льду Иртыша, и сугробы тоже быстро осели на улицах Крутых Лук, так что избы сразу окошками блеснули... Торопливо солнце вздымалось с той стороны Иртыша, а ночью тяжелые, низкие тучи поползли над самым яром...

Нынче в ночь от густых этих туч даже талым чем-то повеяло, дождливым, земляным, они Крутые Луки от крайней до крайней избы укутали.

На все село нынче лишь четыре желтых оконца маячили: два — в ту сторону, где чуть виднелся синеватый увал с телеграфными столбами трактовой дороги, два — глядели в темную щель оврага.

Окна эти мерцали на втором этаже фофановского дома. Совсем еще недавно свет в них гаснул едва ли не раньше, чем во всех других избах, но и зажигался тоже раньше всех — такой в доме был порядок. Когда же с месяц назад Кузьма Фофанов вошел в колхоз, он отдал второй этаж под контору — вот с тех пор четыре оконца и привыкали к бессонным ночам, моргали, прислушиваясь к собачьему лаю.

Непривычно моргал небольшими зелеными глазками сам Фофанов, полуночничая на втором этаже своего дома. Каждую ночь то правление заседало, то просто так мужики рассаживались на полу вдоль всех четырех стен конторы, без конца судили и рядили об одном деле и о другом. Но все равно еще и на следующую ночь оставалось о чем судить и рядить...

Председателя, Печуру Павла, в Крутых Луках видели теперь вовсе редко — тот в районе заседал, приезжал домой на воскресенье еще больше поседевший, встрепанный и шумный; не торопясь же, подолгу что-то обдумывая, рассматривая на свет каждую бумажку, присланную из района, делами руководил Фофанов Кузьма.

Выбрали его заместителем в тот самый день, как он вступил в колхоз.

Фофанова этого ни в Крутых Луках, ни в окрестных селах ни по фамилии, ни по имени-отчеству сроду не звали, хотя человек он был известный. Звали просто — Фофан. Он был мужиком грамотным, в каждом деле старательным, на лицо плоский и с огромными, тоже плоскими, но умелыми руками. Кроме пашни, водил Фофан сад, и агрономы писали о нем в газетах, а года три назад так агроном прожил у него с осени и до самого почти покрова.

После напечатана была книжка культурника Фофанова о том, как он сад свой разводит и какой доход садоводство может дать крестьянину в Сибири.

На книжке — портрет, Фофанову можно было дать на этом портрете лет пятнадцать, не больше, а у него подрастали уже две девчонки-погодки такого же возраста.

Девочки эти вместе всегда были, вместе потряхивали четырьмя длинными тонкими косичками и боялись Печуру Павла — он приставал к ним с одними и теми же расспросами:

— Отец-то хребтину ломит, дом поставил двухрядный, а для кого? Ить если б были вы не девки, а хлопцы — понятно. А на вас стараться? Взамуж — и вся отцова справа в чужие руки?! Девки вы девки — неправдишный народ!

Вошел Фофанов в колхоз — Печура девчонок попрекать перестал, но боялись-то они его, как прежде, и, когда слышали громкий голос Печуры в конторе на втором этаже, враз умолкали у себя на первом...

Нынешней ночью в конторе спокойно было: Печуру

Непривычно моргал небольшими зелеными глазками сам Фофанов, полуночничая на втором этаже своего дома. Каждую ночь то правление заседало, то просто так мужики рассаживались на полу вдоль всех четырех стен конторы, без конца судили и рядили об одном деле и о другом. Но все равно еще и на следующую ночь оставалось о чем судить и рядить...

Председателя, Печуру Павла, в Крутых Луках видели теперь вовсе редко — тот в районе заседал, приезжал домой на воскресенье еще больше поседевший, встрепанный и шумный; не торопясь же, подолгу что-то обдумывая, рассматривая на свет каждую бумажку, присланную из района, делами руководил Фофанов Кузьма.

Выбрали его заместителем в тот самый день, как он вступил в колхоз.

Фофанова этого ни в Крутых Луках, ни в окрестных селах ни по фамилии, ни по имени-отчеству сроду не звали, хотя человек он был известный. Звали просто — Фофан. Он был мужиком грамотным, в каждом деле старательным, на лицо плоский и с огромными, тоже плоскими, но умелыми руками. Кроме пашни, водил Фофан сад, и агрономы писали о нем в газетах, а года три назад так агроном прожил у него с осени и до самого почти покрова.

После напечатана была книжка культурника Фофанова о том, как он сад свой разводит и какой доход садоводство может дать крестьянину в Сибири.

На книжке — портрет, Фофанову можно было дать на этом портрете лет пятнадцать, не больше, а у него подрастали уже две девчонки-погодки такого же возраста.

Девочки эти вместе всегда были, вместе потряхивали четырьмя длинными тонкими косичками и боялись Печуру Павла — он приставал к ним с одними и теми же расспросами:

— Отец-то хребтину ломит, дом поставил двухрядный, а для кого? Ить если б были вы не девки, а хлопцы — понятно. А на вас стараться? Взамуж — и вся отцова справа в чужие руки?! Девки вы девки — неправдишный народ!

Вошел Фофанов в колхоз — Печура девчонок попрекать перестал, но боялись-то они его, как прежде, и, когда слышали громкий голос Печуры в конторе на втором этаже, враз умолкали у себя на первом...

Нынешней ночью в конторе спокойно было: Печуру

снова вызвали в район, и мужики вели беседу, не различая уже друг друга в табачном дыму.

Говорили о том, что вот засыпали наконец-то семенное зерно.

Кони давно уже были сведены на колхозную конюшню, плуги, сеялки, косилки поставлены длинными рядами в общественном сарае, а зерно все не шло — уберегали его мужики в амбарушках и подпольях.

Сполна засыпали семена нынче — когда подняли половицы в амбаре Александра Ударцева.

Сухонький, с редкой бородкой, с тонким голоском, Ударцев не в пример Фофанову очень был проворный, держал когда-то на тракту ямщину, скот подряжался перегонять и сам скотом приторговывал, а потом все занятия бросил и пошел в гору по крестьянству.

Случилась у него одна только незадача: добрые постройки Ударцевых — дом пятистенный, амбар, подворье и огород у самого Иртышского яра были, а яр этот что ни год — рушился. Теперь от завалинки ударцевского пятистенка и до кромки обрыва оставалось-то шагов пятьдесят, не больше. И когда нынче выгребали у него зерно, он вначале стонал, едва не плакал, жаловался на болезни — свои, жены и старика отца, но после ударил шапкой об земь:

— Гребите все! Гребите до зернышка! Слово не меняйте! Обещано слово — перенесть меня народом на бывшее Митрохино место! Обещано ведь? Нету отказа?!

Ударцеву не ответили, а когда кончили дело и собрались вечером в конторе, он тоже пришел, сел в угол и слушал молча, что говорят кругом. Угощал мужиков самосадом с донником и газетку давал на прикурку, а сам глядел, глаз не спускал с Фофанова.

Наконец Фофанов сказал:

— Шапку-то ты кидал, Александра, об земь...

— Ну?

— Однако поперечь правды она легла, шапка твоя...

— Почто это — поперечь?!

— Сперва бы тебе семена привезти в колхоз...

Ударцев снова сорвал с головы треух, но, поглядев на него, нахлобучил обратно.

— Так ведь, мужички, миром ведь жить-то... Кто там хорош, кто, может, плох, а жить-то миром... Ежели меня Иртыш понесет с ребятенками — как глядеть будете? Не котята они, чтобы забавы ради глядеть на их... Или — как думаете?

Ударцеву и тут не ответили.

Немного спустя он ушел из конторы, а в конторе продолжался разговор о том, чтобы ненароком не перепутать в амбаре семена разных сортов, сортную пшеницу с несортной, сорную с чистой, чтобы не проглядеть головню или еще какую болезнь семян.

И вдруг кто-то истошно крикнул с улицы:

— Горим! Гори-им ведь, горим!

Как раз месяц снова вынырнул из тучи, и навстречу ему полыхнул яркий, веселый огонь...

Горел амбар с зерном...

Вспыхнув, огонь тотчас унялся и, когда к нему подбежали люди, ушел в угол черного, приседающего к земле амбара, вверх же рвался фонтан продолговатых темно-красных искр. Безмолвно и ярко горел только снег вокруг амбара, и те, кто бежал на огонь, как будто спотыкались об это марево.

— Зерно этак-то горит! Семена ведь! — удивился кто-то.

— Не больший амбар... Пристройка... Вот как тот займется, вот полыхнет!

Дым окутывал людей, и под ногами хлюпал розовый тающий снег...

— Все, товарищи колхознички, отсеялись! — пропел бабий голос, а его другой прервал, грубый — Кузьма Фофанов, на чем свет стоит выругавшись, потребовал:

— Что рты-то разевать — рви двери, выноси зерно с другого угла!

— Снегом его, огонь-то, снегом, ребята! У кого лопаты — режь снег кирпичами!

— Кто смелый — наверх! Кирпичики подбрасывать!

— Кто догадливый — тому и наверх!

— И что же ты думал, а ну, ребята, подсади!

Из распахнутых уже дверей на другой стороне амбара валил густой дым, и в дыму тоже кричали в несколько голосов сразу:

— Тулупами его, зерно! Тулуп шерстью книзу, один — за рукава, другой — за подол, воз можно вытаскать за два раза!

— Тут не то тулуп — всякая лопотина к делу! Сбрасывай, бабы, юбки!

— А девкам — можно?

— Цыц вы, сопляки! Разгребайте вон снег-то — не на снег же зерно таскать!

Бежали из переулков, из темных изб, поблескиваю-

щих багряными пятнами... Тащили лопаты, ведра, ломики, багры, и никто уже не кричал, не размахивал руками... Те, что с лопатами, резали сугробы снега, глыбы подавали по цепи из рук в руки и наверх, а там, наверху, умостившись на тлеющем бревне, человек бросал их в огонь...

— Степша это Чаузов или — кто?

— Он!

— Сгорит! Живьем!

— Очень даже просто!

Рядом с дверями мужики, навалившись, выломали простенок и кидались в огромное отверстие, в дым и чад, в яркие отблески огня, а оттуда ведрами, в тулупах и полушубках, в платках и кацавейках — кто как мог — тащили зерно... Сразу человек десять — пятнадцать, задыхаясь, улюлюкая, волокли огромный полог, и зерно — побольше воза — сверкало в этом пологе и курилось паром, а когда его ссыпали в кучу, сразу поблекло, потемнело...

Отдышавшись, снова полезли в дым и чад, крича друг другу:

— Рядом-то со Степшей еще кто умостился наверху?

— Вдвоем весельше жариться...

— Так их трое уже!

— Со святыми упокой!

— А огонь-то книзу падает!

— Разевай рот ширше — в тебя и падет!

— Жара...

Фофанов бегал вдоль амбара:

— Сюда, бабы, сыпь сюда — в эту кучу! А ну, ребятишки, еще сгребайте снег! — Задрав голову кверху, кричал: — Степан! А, Степша?! Вы уж потерпите малость наверху! Опростаем с другой стороны амбар — пропади он после пропадом! А? Еще малость? А?!

Степан Чаузов молчал, боролся с огнем, ловчился и обманывал его: то закидывал огонь в противоположном углу, то прямо перед собой, то не пускал его в тот конец амбара, откуда выгружали зерно.

Временами Степана вовсе не было видно в дыму, и снизу спрашивали:

— Степка? Живой или как?

Огонь же все наступал в разные стороны, будто чувствуя за собой силу, досадуя на минутное замешательство, и два чаузовских напарника, чихая, задыхаясь, спрыгнули на землю.

— Дыхания там — никакого!

— До костей прожигает, ей-бо!

Снова подбежал Фофанов, подставил лестницу и стал тянуть Степана Чаузова вниз за полы тлеющего полушубка.

— Все, Степа! Что вытащили — то и наше... На остатнее пожадничаешь — жизни решишься! Слазь, говорю...

Чаузов соскочил вниз, пошатываясь, бросился в сугроб, и снег затрещал под ним, зашипел, будто тоже загорелся. Тонкими струйками дыма курился полушубок, облако дыма и пара окутало Чаузова.

Присев на корточки и шаря в этом облаке рукой, Фофанов спрашивал:

— Обжогов нет ли на тебе, Степа?

Чаузов чихал, плевался.

— А ребята, со мной были, те живые?

— Они-то живые...

— А бабы моей, Клашки, тут не видать, на пожаре?

— Не видать...

— Она же у меня жалючая очень... И за меня пужливая. Нет чтобы по-бабьи, в рев. Замрет заживо и не дышит.

Облако над Степаном рассеивалось, и при свете пожарища пятна сажи как будто вдавливались в глубину его скуластого лица; светлые, почти белые волосы, прилипшие к потному лбу, к ушам, к шее, местами подгорели и порыжели, над правым глазом тоже были совсем черными от копоти, а голубой и зоркий левый глаз глядел на Фофанова и куда-то дальше через него упрямо, насмешливо-весело, так что Фофанов спросил:

— Ты чему это лыбишься-то, Степа?

— А живой остался! — ответил Чаузов.— Живой, непокалеченный — кого ж еще мне надобноть? Ты, Фофан, мужик шибко степенный, ты не поймешь. А я сколь вот разов уже живой оставался — и кажный раз выходит тебе вроде престольный праздник!

Ничто больше не мешало огню, и он, метнувшись в сторону, вскочил на стропила, поплясал на них, как бы своей тяжестью уронил стропила вниз, а сам взвился еще выше, в черное небо.

— Ишь ты, видать, зло взяло!— сказал кто-то весело и задорно.— Давай по пустым-то засекам...

— Благодать — ветру-то нету... Уж он бы по деревне на-алыхнул!

— Уж он бы посмеялся...

— В колхозную жизнь благословил бы нас — без портков!

— Светло-то! Карасину в избах и жечь не надо!

Амбар полыхал теперь со всех сторон, бревна трещали где-то в середине, в самой глубине огромного костра, ребятишки бросали в этот костер снежки, люди подбадривали огонь:

— Давай-давай!

— Кончай дело, коли начал!

— Глядьте, однако, сельсоветская пожарка порет! С самой с Шадриной!

— Как есть — она!

— Ого-го! Со смеху на карачки сшибешься!

— Пожарная частя, покорми сперва кобылу-то. Посля тушить займешься!

Пожарник без шапки — потерял шапку дорогой — сидел на бочке растерянный, обалделый... Кричал и на людей и на лошадь в один прием:

— Вот люди — черти! Сдурели вовсе?! Тпру, проклятая! Анбар полыхаить, а они ржуть, ровно скаженные! Стой, язвило бы тебя! Мужики, да вы умом поперхнулись или как?! Горить, а они ржуть!

Потом заметил, должно быть, кучи зерна, успокоился, огляделся и тоже удивился огню:

— Ну, змей! Ну буровит!

Наконец пламя рухнуло на землю, поползло в глубь головешек.

Кто-то позвал:

— Фофанов, ты где будешь?

Фофанов как раз свернул две цигарки и одну протянул Чаузову, подле которого он все еще сидел на корточках, а другой затянулся сам, вынул цигарку изо рта и отозвался:

— Здеся...

— Фофан, а Фофан, сколь же мы зерна все ж таки лишились?

Зерно лежало в четырех больших кучах, темных с одной стороны и красно-золотистых там, где на них падал свет пожарища... Люди щупали эти кучи, погружали в зерно руки, жевали, пробовали на зуб — не подгорело ли?

Поднялся и Фофанов, долго, задумчиво глядел на зерно, несколько раз снимал и снова надевал шапку, шевеля губами, считал, прикидывал...

— Я, мужики, думаю, потеря, может, в одну четверть обойдется... Однако не более того. А насчет всхожести надобно проверить...

— У тебя, Фофан, завсегда не худо получается. Ну, а если б и по-твоему — четверть, так игде ее обратно взять?

— Опять же по избам шарить, по закромам?

— У кого по закромам, а у кого из последней квашенки тесто выгребать на семена?!

— А ведь это, ребята, чье-то дело! Не то какого странника, не-ет — это свой, круголучинский, удумал!

Поднялся со снега Чаузов и крикнул:

— Лександра Ударцев, здесь ли? Подай голос, когда здесь!

Стало тихо как-то вдруг... Потрескивал огонь в красных угольях.

— Лександра Ударцев, спрашиваем: нет тебя среди народу?

Пожарник, привстав на бочке, оглядел народ сверху и подтвердил:

— Нет... И встречу мне никто не бежал. На пожар бегли, а с пожару — ни одна собака.

— Не шумите Александру... Нету его...— сказал, волнуясь, женский голос.— Убег он...

Голос прерывался треском огня в головнях.

Говорила Ольга Ударцева, жена Александра. За подол ее держались двое ребятишек, один глядел кругом с веселым недоумением, другой, когда люди стали приближаться к Ольге, сунул голову в складки ее юбки и захныкал:

— Мамка, кого это они? А? Мамка, кого они?

Ольгу окружили, она стояла в кольце людей, высокая и неподвижная, в полушалке, на плечах и голове у нее прыгали огневые зайчики, у ног ее в темноте копошились ребятишки.

— Он же вот — Лександра твой — час который был в конторе. Когда убег-то?

— Хотите — верьте, хотите — нет...

— Не может же быть?!

— Зерно у его выгребли, так нечто с этого можно решиться?

— Убег?! А баба? А ребятишки? Вот сладил именины...

— Не шумите вы, народ!.. Как произошло-то? Ольга?

— Пришел с конторы... Сказал: срочно нарядили в город... хлеба взял, масло было в туеске...Деньжонки какие... На ребятишек-то не поглядел.— Ольга быстро взмахнула рукой и закрыла лицо рукавом мужской шубейки.— Да ведь он же не пеший, он конный подался... Спросите вон у конюхов...

Несколько человек бросились на конюшню. Возвращались по одному с разными подробностями:

— Игреньку взял, бывшего своего меринишку...

— А кошевка Андрея Зотова...

— Овса меру засыпал...

— Две...

— Обещался вместе с Печурой с Павлом вернуться.

— Торопился шибко... Сказывал конюху-то: Фофан его нарядил...

— Фофан, может, ты и наряжал куда?

— Вы что, ребята, вместе же в конторе сидели!

— Верно, значит — кругом хитрость!..

Помолчали, разглядывая Ольгу, о чем-то думая. Снова заговорили:

— А еще просил миром его на Митрохино место перенесть...

— Скажи, не уважили мужичка!

— Он и осерчал...

— Он-то осерчал, а мы-то на угольках стоим...

Ребятишки теперь уже оба дергали Ольгу за юбку, за рукав шубейки, повизгивали тоненькими голосками:

— Мамка, а мамка, кого они? Мамка, загасили огонь-то — пойдем в избу!

— А все ж таки, может, он дома, Лександра! — сказал Чаузов.— В таком деле всякое может быть! — Повернулся и пошел...

За ним с чем были — с ломиками, с лопатами — пошли мужики, человек двадцать-тридцать...

Еще недавно крутолучинские мужики вот так же толпой хаживали к Лисьим Ямкам. Ямками на тракте называли ничем не приметное место с небольшой избушкой, поставленной когда-то пастухами, а потом заброшенной, хотя до сих пор вокруг были пастбища.

Место это ровное и открытое, и по нему издавна проходила граница с землями деревни Калман соседней Панферовской волости. Случалось, что крутолучинцы угоняли к себе скот калманцев, бывало и наоборот, и все потому, что соседи не могли установить между собой «грани».

Споры эти решались драками, но не в летнюю пору, когда драться некогда, а зимой...

Летом через «грань» только ругались: «Постойте, калмыки православные, мы вам на масленке, а то, бог даст, и в рождество башки-то поотрываем!»

Кто зимой брал верх, за тем и оставалась правда — никаких судов и других разбирательств между собой ни крутолучинцы, ни калманцы не признавали.

Бывало, что ходили друг на друга не с пустыми руками — у кого стежок, у кого и еще что-нибудь, и в разное время на месте столкновений было закопано уже немало мужиков, но зимой копать нелегко, землицей прикрывали больше для порядка в неглубокой ямке, а все остальное делали уже волки и особенно лисицы... Так и пошло название — Лисьи Ямки.

Крутолучинских обычно водил на Ямки Степан Чаузов. Вот так же, как и сейчас, шагал он впереди всех будто бы и не быстрым, но податливым шагом, невысокий, неприметный, но, как ни старались калманские мужики, ни разу не свалили его наземь, зато уж он валил с копытков подряд.

Но только прежде, когда гуртом с Чаузовым впереди мужики спешили к Лисьим Ямкам, на всю неблизкую дорогу хватало прибауток и побасенок, озорных песен, всяческой ругани,— теперь же шли они трезвые и молчаливые... Толкались в узких, занесенных снежными сугробами переулках. Спешили.

Позади всех бежала Ольга Ударцева, подхватив на руку одного мальца и волоча за собой другого.

Тот, что сидел на руках, крепко обхватил ее за шею, мешал дышать, а другой терял то шапку, то валенок и, дрыгая босой ножонкой, по-щенячьи поскуливал:

— И-и-и... И-и-и...

Ольга останавливалась, приседала и, придерживая на коленях одного ребенка, натягивала шапку или валенок на другого...

— Господи... Господи, да что же это будет? Да что же это случилось-то нонче? Господи!!

Впереди под ногами мужиков отчетливо и громко хрустел снег, никто не оглядывался на Ольгу...

Около ударцевских ворот Степан Чаузов поднял руку:

— Погодьте! Не топчите, мужики, следов!

Вспыхнули огоньки спичек, но и без огня, при свете месяца, на слегка запорошенной дороге ясно проступали следы узких кованых полозьев кошевки...

— Так оно и есть — был, да весь вышел...

— Свернул-то не в улицу, а проулком, да круг бани, да задами, задами...

— Считаешь, в город? Держи карман — на станцию подался... А то — к киргизам...

— У его полстепя кунаки...

— Ну, ребята, пошли в избу? Или как?

— Так ведь нету его... С кого спросишь-то?

— Не-ет... Сказке не конец!

— Проведаем!

Распахнули ворота, вошли в дом.

— Кто здесь живой? Засвечивай огонь!

Из теплой, покойной тьмы отозвался стариковский голос:

— Ты, что ль, Ольга? Чего там на улице-то деется?

Слышно было, как на печи пошарила рука, нашла спички, а навстречу этому шороху мужики тоже чиркнули о коробки... Кто-то шагнул вперед, зажег лампу в простенке над кухонным столом.

С печки под настил полатей высунулась кудлатая стариковская голова, вслед за нею — рука с горящей спичкой... Покуда огонь спички не достал пальцев, старик глядел неподвижно, серьезно, ничуть не удивляясь и ничего не спрашивая, и только из бороды его вдруг вывалился большой тяжелый крест и закачался на длинной цепке, словно маятник...

Бросив спичку, старик помусолил на губах пальцы и спросил:

— Шапки-то сымают в дому или как ноне? В колхозе это ни к чему? — Зевнул. Перекрестил рот с редкими длинными зубами, потом спустил с печи костлявые ноги в исподних штанах до колен и сам неторопливо спустился вниз. Сел на прилавок, зевнул, заправил крест за рубаху и ответил себе: — Совсем даже ни к чему...

Степан Чаузов, нагнувшись к старику, крикнул:

— Сын где у тебя? Где Лександра?

— Сын-то? Так он — не мой, сын-то... Он теперя ваш. Сказать — колхозный. Обчественный... Вот объясните, где он? Где подевали? Чей он приказ сполняет?

Мужики как-то разом шумнули, кто-то крикнул:

— Не дури, отец! Лександра твой зерно спалил. Семена. Понятно тебе?!

— И-ишь ты! До чего крестьянин дошел — зерно жгет! Семена! Хлебушко, значит, и в огонь! Времена-а...

Их, огоньку-то, видать, ишшо премного будет... Ишшо не одно зернышко сгорит в огоньке-то...

— Э-эх, старый! А еще просил Лександра-то твой перенесть его всем миром на Митрохино место! Сегодня только и просил...

— Как-как?

— Избу вот эту просил перенесть, говорю!

— А и что же? Опять же и дом-от нонче без хозяина. Сказать, так хозяевов у его — вся деревня... Обчественный вроде. Ну и обчество обязано об доме заботиться, коли Иртыш ограду моет... Чтобы все было в аккурате. Или — не так говорю?!

— Ты, старой, не крути! — крикнул Егорка Гилев, сорвавшись на высокую ноту.— Мы ужо без тебя шибко крученные: раз перекрутнешь, оно на обратную-то сторону знаешь как р-развернется?!

— Все может быть, все может быть... Вот и ты, Егорша, ночью ко мне без спросу пожаловал и шапку не скидываешь... Да ить не как-нибудь — с оружьем, а? — Старик взял из рук Егора ломик, поднялся с прилавка, подошел к лампе. — Острый ли ломик-то?.. — Потрогал острие большим костлявым пальцем. — Острый, видать...— И вдруг, закинув ломик за плечо, повернулся, всхрапнул и дико заревел через бороду: — А ну, цыть отседова, проклятущие!!! С глаз долой! Пришибу любого, на святую икону, на Христа-бога не погляжу — пришибу! Днем зерно выгребать с амбара, ночью — ордой разбойничать?! Пришибу, хады!

В длинной исподней рубахе, в рваных штанах до колен, откинувшись назад и высоко слева от себя закинув ломик, старик Ударцев медленно двинулся правым ребристым боком вперед, заслоняя собою лампу и бросая на людей огромную колеблющуюся тень без головы — тень головы уползла за настил полатей...

Он дышал тяжело и хрипло сквозь клыкастый, широко раскрытый рот, все дальше заламывал обнаженные до локтей сухожильные руки, и все пронзительнее двумя тонкими полосками, словно лезвиями, блестел в его руках круглый ломик.

— Ну, хады, не одного пришибу! Не-ет, не одного...

Люди попятились прочь, потом кто-то метнулся в дверь, и тех, кто был на крыльце, столкнули со ступеней, тех, кто стоял в сенках, выдавили на крыльцо...

И только Степан Чаузов, упершись плечом о косяк, остался в избе...

На полатях вдруг сначала тихо, а потом во весь голос страшно завопила девчонка:

— О-о-ой, мамынька-а-а!

Но старик не дрогнул, не поднял глаз, а, все круче разворачиваясь боком вперед, медленно двигался на Степана...

А Степан все стоял и глядел на старика, не спуская глаз, и по грязному, в размазанной саже и копоти, лицу его катились капли пота, и потому, что лицо иногда вздрагивало, капли оставляли на нем ломаные белые полоски — на лбу, на щеках, на бледных, плотно сжатых губах...

— Ма-амынька! — снова крикнула девчонка на полатях, и в дверь ворвалась Ольга...

— Батя! Опомнитесь, батя, человека убиваете! Человека! — Она бросилась на старика, повисла на нем, обхватив за шею, а подбородком, головой старалась достать его заломленную вверх руку...

Старик остановился...

Остановился, задрожал, и ломик тоже покачнулся над его головой...

Потом ломик с грохотом ударился об пол, а на него рухнули старик и Ольга. Мужики снова подались в дом, и Степан Чаузов, смахнув шапкой пот с лица, сказал быстро и требовательно:

— А ну, вытаскивай всех живых отседова! Одежонку какую, сундучишки — выбрасывай! — Выскочил на улицу.— Вышибай с подполу венец, ребята! Подкладывай лежни... Готово ли? Готово! Да тут уже и раньше належено было! Подмогай навалиться!

Дом Ударцева дрогнул, что-то заскрипело в нем, что-то упало и прокатилось внутри... На спину Чаузову откуда-то сверху прыгнула кошка и, не по-кошачьи дико заревев, метнулась в сторону. На мгновение, будто оглушенные этим ревом, мужики затихли, потом снова закряхтели, заругались.

— Поддерживай с боков-то, поддерживай, чтобы не враз завалился!

— Верх-то слегами упор сделайте: рухнет — задавит...

— А ну — взяли!

Дом полз по лежням под уклон... Распахнулась ставня — в кухне все еще горела лампа, на подоконнике стоял чугунок, а в нем вздрагивали листья невысокого цветка... Другой цветок в жестяной банке лежал плаш-

то прижимаясь к оконному карнизу, то отшатываясь от него в сторону.

Дом повис над обрывом, и что-то треснуло в нем, сломалось.

Из него выпала печка — с ухватами, с кочергой, с чугунками...

...Начала крениться одна стена — покачалась, опрокидывая на себя весь дом. Глухо хлопнуло внизу, под яром. На снегу осталось несколько бревен и досок, а в воздухе — запах жженого кирпича, хлеба, щей,— чего-то теплого и съестного...

Потом повеял холодок...

Крупянистый, редкий-редкий снежок падал с ночного неба... Упадет крупинка, а другой долго нету... Спокойно было кругом...

Сверкала гладь Иртыша, рассеченная надвое темной, унавоженной линией дороги и, кажется, был виден противоположный берег — зыбкая и ломкая полоска, которая почему-то иногда вдруг приближалась, а иногда уходила в глубину ночи...

Кто-то сказал:

— Попа как раз сюда бы...

— Это зачем?

— Он бы и спел: «Мир праху твоему...»

Никто не откликнулся.

Прибежал с пожарища Фофанов, потоптался на темном и теплом пятне, на месте, где стоял недавно дом Ударцевых, подошел к перевернутой колоде, на которой, закутавшись в тулуп, сидел старик Ударцев и Ольга с ребятишками... Потом Фофанов приблизился к мужикам и тоже заглянул вниз, в глубину Иртышского яра, кое-где пронизанную голубоватыми полосами лунного света.

— Дом-от добрый был,— вздохнул Фофанов.— Заместо его в какой-никакой другой дом людей-то надо селить... Надо...— Подумал еще: — От она с чего пошла, наша общая-то жизнь...

Глава вторая

Помолчали.

Потом Степан Чаузов сказал:

— Ну, пошли, мужики...

Откликнулись сразу в несколько голосов:

— Куды?

Он не ответил. Повернулся, пошел не торопясь, будто

была совсем один, а за ним двинулись другие. Дорогой кое-кто отбивался по домам, сворачивая в переулки, остальные толпой вернулись к дому Фофанова, толкаясь на крутой и темной лестнице, поднялись в контору. Сели вдоль стен по тем же самым углам, кто где сидел, когда на дворе раздался крик: «Горим! Горим ведь, горим!»

Пора бы всем разойтись — что-то не пускало, что-то держало всех вместе в остывшей комнате.

Ждали, кто начнет разговор.

— От ярмарка нонче в ночь так ярмарка... Зерно спалили и дом-то ударцевский — вовсе по дешевке продали!!!.— выскочил было Егорка Гилев, но понял, что слушать его никто не будет.

Устали мужики с пожара с этого, с нынешней ночи устали и даже думать о ней не хотели. Егорка Гилев еще раз мужиков оглядел и позвал:

— Нечай, где ты есть? Либо нету тебя?

Из полутемного угла вроде бы нехотя отозвался высокий, с седоватой бородой мужик:

— Здеся я... Ну и что? — Он был хром и уже несколько раз вставал и снова усаживался в своем углу, покряхтывая и пристраивая хромую ногу сверху здоровой.

— Не слыхать чтой-то тебя...

— Услышишь, чай...— Сел, пошевелил одной, потом другой ногой и согласился: — В самом деле, долгая же эта ярмарка выходит...

Стало совсем тихо, мужики ждали, куда Нечай дальше поведет речь. Он сказал:

— Было дело с Колчаком, а заодно и промежду собой погрызлись. Прошло чуть времени, гляди — мужик опять друг на дружку зубы щерит... От какая выходит политика.

— Мужик — он политикой не занимается, дядя Нечай,— ответил ему Фофан.— Он испокон века жизнью занимается. Землю пашет, скотину пасет, ребятишек родит. Политика ему все одно какая, ему жизнь надобна — урожай, приплод.

Фофан сидел за столом под тусклой лампой, дымил цигаркой и говорил медленно, тихо — он тоже устал до смерти.

Нечай отвечать не торопился, сначала покряхтел...

— Да ить как сказать... Урожаю-то ему, мужику, недостало, приплоду тоже, он и надумал ишшо политику припречь.

В углу засмеялись, Фофан тоже усмехнулся, плоское лицо его сморщилось, потом он как-то вдруг улыбнулся, поднял к тусклому свету лампы широкое, будто детское лицо:

— Ягодник бы вам в колхозе завесть... Малину, кружовник. Одному это не по силам. Одному невозможно. Сад — он удивительно сколь силы требует... Его по-настоящему ради пользы справить — десяток полных мужиков нужно да еще вдвое-втрое баб. Тогда будет сад... А вообще-то очень он, кружовничек, на арбуз похожий. Кажная ягодка — что игрушечный арбузишко. И разводья те же в точности на нем, и от пупка росточек. Склонишься над кустом — он весь теми игрушечными арбузишками усыпанный. Только что арбуз для солнца вовсе непроницаем, интересно даже, как он под шкурой своей красную мякоть наливает, а кружовник — тот скрозь кожу искоркой светит... Солнце очень приемлет. Так и выходит: одно солнце на весь мир, да еще — в кажной ягодке свое. — Фофан посмотрел вдоль стен и по углам, где один к другому вплотную сидели мужики — кто на корточках, кто ноги крест-накрест, — и вздохнул. — Вот выселим за болото поджигателей, навек от них избавимся — и все! Хозяйство надо ладить. Сад.

— Это как день, запросто — матерого хозяина выселить за болото, за город Тобольск либо в Турухан! — согласился Нечай. — Тот первый кулачина — очень прямой, слепому видимый. Спроси: «Кто?» — кажный пальцем укажет: «Вот этот обирал, этот охмурял всех без разбору!» А на ком кончать будем? Ты скажи мне, Фофан, кто ее, эту самую точку, приметил, что, мол, точка и, значит, конец? Ведь почто кулак образовался? Богатеть хотел, останову не знал. А ты начал раскулачивать — ты свой останов знаешь ли?

Пока Нечай и еще о чем-то думал, кто-то сказал:

— Дядя Нечай, на тебе и остановимся!

— Метка на мне или как? Может, хромых за болото не сгоняют?

— Не-ет! — сказал Фофан. — Дурные слова! Нечая никто не тронет: об жизни в Крутых Луках толковать некому будет! — И еще раз повторил: — Не-ет!

— Ну, ладно, — кивнул Нечай, — тогда как раз тебя, Фофан, и возьмут за ленок.

— Меня?

И еще кто-то удивился:

— Фофана?

— Очень даже просто: двухрядный дом имел? Имел! Батрака в третьем годе держал? Держал!

— Дурь! Вот он дом — сам половину в колхоз отдал. Батрак — так я того Кирюху, можно сказать, спас: у его же на пашне ни зернышка не проклюнулось!

— А это как раз закон жизни и есть — спасителев наперед всех других с места гонют. Им на земле не судьба. Понятно говорю?

Фофанов заморгал глазками, заулыбался виновато. Нечаев откашлялся, сказал:

— Вот так, Ягодиночка Фофан, за болотом, за городом Тобольском, будешь свою правду доказывать! — Потом усмехнулся: — Шутку шуткую...

Тускнел в дыму свет лампы, все больше сгущался сумрак в углах конторы, и в сумраке все слабее проступали фигуры мужиков с распущенными ушами мохнатых шапок. Нечай долго вглядывался в этот сумрак, вздохнул, осмотрел самого себя — неуклюжие свои ноги, узловатые, со скрюченными пальцами руки. Продолжил разговор:

— Вот мы — мужики. Самый что ни на есть мелкобуржуазный элемент. За нас до конца собственность держится, а мы — за ее. Так оно и есть, как в газетках пишут. А почто нам ломку дают куда больше, как сознательному пролетарию? Рабочий при царе по гудку на завод ходил и по сю пору ходит. Ему тот же гудок жизнь определяет: отгудел смену, он картуз на лоб — и пошел в казенную квартеру... Нам вот гудка — нету, казенной квартеры — нету, жалованье не положено, а новую жизнь с нас очень даже спрашивают. Хорошо. Я согласный и на это. Только так: ты сперва отбери от меня мою собственность, чтобы не за что было держаться, а после — гуди в любое время, командовай налево, направо либо кругом арш! Мне без ее, без собственности, любую фигуру выполнить запросто, ровно солдату без скатки. Почто солдату помирать легко? Да при ем — ни избы, ни жены, ни мало-мальского какого телка! Одна вша! Отбери, говорю! — крикнул вдруг Нечай и локтем с силой толкнул соседа: — Ну?!

Сосед поежился, спросил:

— А отдашь? Самовольно?

— Самовольно не отдам. Силой возьмешь — спасибо скажу!

— На словах. А на деле-то вон Лександра-то Ударцев как отблагодарил? А? И мы его — как?

— А почему? Почему такое?

— Вот и отвечай сам — почему?

— В середку на половинку меня поставили — вот почему! Наживал — теперь которую часть отдай в колхоз, которую — в государство, которую — себе оставь. Не-ет, ты испытания мне не делай, не терзай! Ты отбери у меня все и казенную работу дай. По гудку! Так, что ли, Фофан?

— Не так. Мужик, он — покуда живой — хозяйствовать должон. Врозь ли, миром ли, какая бы ни была напасть — он у хлеба. Пахать-сеять на другой год не отложишь, по гудку хлеба не вырастишь. Заря занялась — вот тебе гудок. День-то, попы сказывали, божий, а хлеб-то — мужицкий. Другого хлеба покамест никто не выдумал.

— И ягодку ростить — тоже мужичье дело?!

— А хотя бы! Не война ведь — про ягоду забывать!

— Фофан ты, одно слово что Фофан! — засмеялся неловким смехом Нечай. Замолк, засмеялся вроде бы еще раз.— А войны-то, мужики, и в самом деле, не должно случиться...

— Тебе сказывали? Либо в газетке объявлено?

— Именно. Покуда меня в газетке мелким буржуем величают — войны не жди! Перед войной мужика завсегда героем представят!

— Ну, гляди, Нечай, ежели война объявится, мы тебя не то с яра спихнем, а еще и в Иртыше утопим!

Но это было уже шуточно сказано кем-то, все незлобиво усмехнулись, а Степан Чаузов громко зевнул...

Он сидел на корточках, прочно, всей спиной прислонившись к стене. Кажется, дремал, цигарка притухла у него в руке, но слышать — все слышал, что говорили мужики.

Зевнув, он открыл глаза, оглянулся и подумал: «Ишь какой он, дом-от, легкой у Лександры Ударцева оказался! Живешь в таком цельный век и думаешь: «Это твердыня, весу в нем тысячи пудов, а подошел народ, толкнул, пальцем шевельнул — и нет его?!» И Чаузов повел плечами в рваном, все еще пахнущем дымом полушубке, шевельнул одной рукой, другой...

Бывало, когда нужно было поднять какой груз, он раз глянет и увидит сразу — поднимет или нет... На конском базаре тоже с точностью мог сказать, какая лошадь сколько пудов увезет, а ежели два барана сходились лбами — заранее знал, у которого удар сильнее.

[illegible] есть сила своя, то и на чужую у тебя глаз вострый. Потом перед ним возник старик Ударцев — тощий, будто хворый конь, что из-под кожи светит ребрами, с редкими зубами в открытой пасти, и тоже сильный... Только уже от страха сильный. С отчаянности это бывает, когда человек уже ничего не чует, ничего не понимает, а только рушит все, а вслед за тем и сам тоже падает. Будто бы снова сверкнул двумя ледяными полосками ломик в руках старика и еще вспыхнула искра на самом острие... «А ведь он мне не в голову метил, не-ет... — догадался Степан.— Он знал: в голову ему не угадать — увернусь я. В тулово он бил... Не то чтобы зараз, а все ж таки он меня бы решил... Не поднялся бы я на ноги...»

Дремота совсем покинула Чаузова, он подумал: «Вот и силу чуешь за всех, а помирать — все равно одному, никто тебя не спасает, кажный спасает сам себя... В дом к Ударцеву взошли — десятка, может, два было людей — стена стеной, а замахнулся старик ломиком — и сдуло всех, ровно ветром... Хотя и так можно было сообразить: как бы перед ним ни один не встал поперек, перед стариком,— он бы вдогонку тоже не одного бы ломиком достал... Уж это как есть двух, а то и трех бы покалечил... По затылкам бы и вдарил... И никак ведь не получается: совсем в одиночку жить мужику — разве что в наказание, и всем вместе — тоже боком выходит... Где оно только есть, правильное для мужика место?» Затем Чаузов себя поругал: «А все ж таки дурной ты, Степша, дурнее тебя под ломик подставляться никого не нашлось!»

Стал слушать спор Нечая с Фофаном.

Они было успокоились, но ненадолго — Нечаев уже чинил допрос Фофанову:

— Вот объясни мне, Ягодка Фофан, к примеру, я нонче утром слажу с печи, похлебал щей, после — подался в колхозную контору. Спрашиваю: «Что мне, товарищ мой начальник, робить?» Ты подумал, пораскинул: «Подавайся, Нечай, на двух по сено... За Иртыш, на Татарский остров». Ладно, я иду, две розвальни запрягаю, сажусь на переднюю, поехал. А ведь назавтра-то снова да ладом я у тебя спрашиваю: куда ты меня определишь?

— Ну и что? Что из того? Ты на артель работаешь. И я — обратно на артель. Ну, а значит, артель — и на тебя и на меня. Чем плохо?

— Так неужто я после того крестьянин? А?! По-крестьянски-то я с вечера обмечтал, как запрягу, да как мимо кузни проеду, возьму у кузнеца по путе необходимый гвоздок, да как моя кобыла у той кузни поржет, а близи околицы дорогу помочит, да какими вилами я стожок в сани метать буду. Я кажный день заранЬше себе отмерил, день за день, и вся линия моей жизни складывается. А тут? Ты, значит, будешь думать, а я — сполнять. Год, другой минул — из тебя уже какой-никакой начальник вылупился, ты командовать в привычку взял, а я — как тот поросенок с рогулькой на шее: в одну дырку мне рогулька ходу не даст, в другую — и не думай, ходи, где позволено. Так ведь люди — не поросята, их по одной стежке не погонишь, они — разные. Это сорочьи дети — те верно что все в одно перо родятся...

— Мы с тобой, дядя Нечай, переменимся через годто: я буду налево кругом вертаться, а тебя начальником выберем.

— Не-ет, Фофан Ягодка, шалишь! Это нонче тебе запросто сказать. А через годок-то тебе командовать шибко поглянется, и ты мне объяснишь ужо по-другому. Скажешь: «Я команду знаю, изучил, а тебе, Нечай, в этом деле сызнова учиться надобно, и один бог знает, что с твоего ученья получится. Когда кажный год председатели да заместители будут у нас ученики да ученики — это колхозу страшно во вред!» Вот как ты правильно скажешь, и портфелю заведешь, и с начальством из города будешь кататься, а меня начальство не подсадит, хотя бы нам и по путе было.

— У тебя, дядя Нечай, с нонешней ночи, с нашей ярмарки, ум повернутый не в ту сторону!

— Постой, постой... Гляди дальше! Коли ты будешь такой надо мной начальник — так и держи ответ за моих ребятишек, чтобы сыты были, обуты, в школу в чистеньком бегали. А то ить как? Летом ты меня посылаешь туда-сюда, а зима пришла: «Что-то, дядя Нечай, у тебя не баско зароблено, поисть твоей орде досыта не хватит!» Этак-то я со своей кобылой справедливее обходился: я ей в зиму не считал, сколь она летось заробила. Мало — так себя ругал, не ее...

— Так ведь у нас чать не кобылы в колхоз записывались, дядя Нечай, а люди! — Фофанов засмеялся весело и совсем по-детски, когда засмеялся еще кто-то — он еще обрадовался, погрозил Нечаю пальцем: — Вот и будь человеком, сознательно в общий котел зарабливай,

не только что за себя — за всех думай, и колхоз будет не понарошке. Головой же ты думал, когда устав артели голосовали, или как? Несознательно руку поднял?

— Я тебе не Иисус Христос. Иисус беспременно был сознательный, так с его с одного колхозу не сладишь. А уже середь святых апостолов Июда объявился, тот делов наделал — по сю пору не распутано. Я тебя, начальника, ругаю, а поставь меня на твое место — я, может, во сто крат хужее буду. И даже очень просто. Ты — смиренный, а я портфелью-то не просто так помахивать буду, а по башкам колотить, сознательность вколачивать. Я, брат, тебя ни бояться, ни совеститься не буду! Надо мной тоже будет начальник, тот с меня спросит, чтобы я его приказ исполнил. Исполню — вот я и буду перед им куда как хорош, а ежели тебя раз-другой портфелью шибану — это от него же мне и простится. Нонче мы избу Лександры Ударцева под яр бросили — ты пришел и сказал: «Вот она с чего, общая-то жизнь, начинается!» Верно сказал. Говоришь верно, да забываешь скоро!

— Ты скажи, какой это у нас Нечай! — удивился Фофан, будто в первый раз Хромого Нечая видел и слышал.— Какой он есть! А в колхоз наперед других ступил?!

— Я, брат, Ягодка Фофан, как бы ступил последним — я бы уже вперед не глядел: гони меня куда хошь, как ту овечку. Ты споткнулся, а я бы уже следом за тобой прыг да прыг на ровном месте. То-то и есть, что я наперед других ступил, и мне кочки-то кое-которые видать. С немцем мужик воевал, ему объяснили как? «Отвоюешь — человеком будешь!» Вот как. А на Колчака я уже хромый ходил и опять же за человечью жизнь — без обмана мужику. Теперь, ежели я свою кобылу с ограды в колхоз свел, то и до конца должон быть уверенным, что для себя сделал, а не для чужого дяди. Агитировать — на это и хромый и вовсе безрукий-безногий способен, а вот хлебушко ростить, ребятишек досыта кормить — тут сила нужна немалая, и чтобы правильная была, без порчи... Вот я и еще гляжу — не заботится ли кто в моем деле об себе?

— Не плохо любишь, Нечай!— сказал кто-то и усмехнулся. Усмехнулся горько:— Видать, эксплуатации обратно захотел?

— Плохо для себя никто не любит. И мне эксплуатация тоже, без шуток, не глянется. К моей единоличной

жизни голодуха тоже каждый год принюхивалась, а случись та моя кобыла в работе захромела — уже разор полный. Под таким страхом жизнь не сладкая, вот потому и пошел наперед в колхоз. Но я и обратно гляжу — чтобы от беды да в беду же не угадать.

— Углядел?

— То-то что нет... Вот и спрашиваю: долгая ли еще будет такая жизнь, чтобы меня в ей туда-сюда болтало? Меня хотя бы и в мою же сторону добровольно-принудительно ломать — толку не будет. Я, положим, левша, так ты мне по этой причине правую руку не руби. С двумя-то я мужик, и государству и себе работник. А с одной — на что годный?! Указчиков мужичьей жизни премного народилось. Это верно — мужик, он земляной. Темный. Дикой мужик-сибиряк. Но ведь государство-то — от такого кормится. Другого-то мужика нету, хоть ищи, хоть выдумывай — а нету!

Нечай замолчал было, но тут же кто-то снова спросил его:

— Замолк, значит?

— Замолк... Ленин, мужики, вовсе не вовремя помер... Пожить бы Ленину еще хотя бы годов с десяток...

Ах, Нечай, Нечай, ну как он скребет за душу! Как бередит!

Поежился Степан, плотнее прижался спиною к стенке... Только вроде бы приладишься к новой жизни, почуешь ее вот как эту стенку — тут заговорит Нечай.

И не вредный вовсе мужик, нет. Такой же, как и все другие, только у других душа молча ноет, а у этого — вслух. С такой душой ему жить ничуть не легче, куда труднее. Это понятно. И оттого, что понятно,— к Нечаю в Крутых Луках уважение.

Это не просто так — человека уважают. Когда-то и над Фофаном смеялись за его цветочки-ягодки, и сейчас еще к случаю посмеются, в глаза поколют, так то — в глаза и любя, а за глаза — уже никто: уважают. Вошел Фофан в колхоз — в Крутых Луках вроде праздник случился, только что благовеста не было.

Вот и он, Степан Чаузов, в своей деревне тоже не последний человек, хотя по другой причине: умелый до разного мастерства и смелый очень.

Разное оно бывает — уважение.

Идет по улице мужик — богатющий, десяти, а то и пятнадцатиконный мужик — и бабы поддают своим ребятишкам по затылкам: «Кланяйся, сучонок! Или не ви-

глянь, кто идет!» А бывает по-другому — мальчонка заприметит первым, тянет мать за юбку: «Мам! Мамка! Глянь-кось, кто идет? Чаузов идет-то, дядя Степан!» Они на уважение очень чутливые, ребятишки!

Степан по себе это знает и не то чтобы собою гордится, но с другими уважаемыми в Крутых Луках людьми и много постарше себя — он запросто. И они с ним тоже так же.

Нынче они не сказали с Нечаем друг другу ни слова, а тот нет-нет да глянет в его сторону: «Ладно ли, Степа, говорю? По-мужицки ли? Не свихнулся ли на пустую какую болтовню, на бабьи сплетни, а то, может, похоже на то, как в церковном селе Шадриной на паперти мелет невесть что горбатый, красномордый и сопливый дурачок Давыдка? Может, кто заржет над ним по-лошадиному — так ему только того и надо, Давыдке...» Эту Нечаеву заботу Степан тоже понимает. Который мужичонка подлый и совершит подлость — от него не убудет, нечему убывать; трусливый испугается — на то он и трусливый, а вот когда однажды в жизни испугался бы Степан Чаузов либо Нечай сболтнул бы глупую глупость — им это прощено не будет. Ни в век!

Ах, Нечай, Нечай! Ах, Фофан, Фофан! Время нынче нелегкое, но на которых привыкли в Крутых Луках глядеть, которых слушать привыкли — тем оно куда труднее!

Отвалился в своем углу от стенки Степан.

— Ну, мужики, до завтрева, однако...— Пошел на выход. Знал, что за ним и другие потянутся по домам. Еще раз повторил Степан:

— До завтрева...

А и хорош же он все-таки — вольный мир! До того хорош и прекрасен, что сердце щемит, кружит голову, дыхание схватывает.

Темь на земле, а видно ее далеко-далеко, родимую эту землю.

Вот она — совсем будто бы рядом череда телеграфных столбов на увале, иные столбы, которые на самом взгорке, достигают чуть ли не до луны, черные их тени рассекли увал до самых огородов прямыми, но нехожеными тропками...

Вот она — березовая роща, ее в Крутых Луках зовут дубравой, и как только девчонку или парнишку поманило к ночи в эту дубраву — значит, девка выросла в семье либо парень, и уже не в голос они там разгова-

ривают между собой, а шепчутся шепотом и думают, будто никто не знает, о чем...

Вот она — копань на пути весеннего ручья. Мужики выкопали ее миром как раз перед войной с немцами, и с тех пор каждую весну наполняется она водой, воды хватает для водопоя, а ребятишки, которые еще малые, чтобы по яру спускаться к Иртышу, балуются здесь по брюхо в воде. Сейчас копань, будто чаша какая, наполнена искрами. Искры, ей-богу, солнечные, неужели так заискривает землю луна? Как будто и не может так быть, а значит, может...

Вот оно — кладбище, холмиков не видно, кресты стоят на ровном, гладком и тоже заискренном снегу черные и прямые, а печали в них нету, стоят они для порядка, чтобы живые помнили: не век им дышать, топтать подшитыми пимами хрусткий снег, в дубраве шептаться, пожары зажигать да тушить. Мертвое ко всему слепо и глухо, ничто его не тревожит, потому, должно быть, оно и вечно.

Смерть не тревожит, тревожит жизнь — как ее нынче человеком прожить?

И как будто вот она, разгадка твоей тревоги, где-то здесь же, близко,— то ли в небе прямо над тобою, то ли снег как раз этой разгадкой искрится, то ли это она сама, разгадка, и кружит голову, сердце щемит, схватывает грудь — сумей вздохни грудью шире-шире, и все-то тебе прояснится до конца жизни!

До того хорош, до того прекрасен вольный мир, до того певуч и снежным хрустом и ночной тишиной, а больше всего любит он молчать о судьбе твоей...

Постоял Степан Чаузов у ворот своего дома, еще поглядел в небо, и потянуло его к Клашке — жене своей... Он удивился. Но удивился не себе, а сказал вслух:

— Ты скажи, зима как зима! К концу подходит, воздух вроде талый становится, на буран. А буран — тоже ладно, буранистый март к урожайному лету.

За бечевку потянул щеколду, вошел во двор.

Под ноги молчаливо ткнулся Полкашка, он пихнул его несильно ногой. Полкашка не обиделся, пошел от хозяина шагах в трех, задрав большую нескладную голову, потягивая носом,— от Степанова полушубка все еще, должно быть, несло дымом, гарью.

Дверь из сенок в избу открыл Степан и вздохнул: вот он, свой дом, свой запах. Наконец-то. Но, как тот Полкашка, сразу почуял чужое.

Подумал: может, уполномоченный Митя приехал — совсем парнишечку уполномоченного прислали в Шадрину, в сельсовет, оттуда он разъезжал по деревням и, когда случалось быть ему в Крутых Луках, останавливался в избе Чаузова. Нет, это не Митя был, не тот дух...

Засветил Степан спичку. Так и есть — не то. Уполномоченный всегда ночевал в кухне, на сундуке рядом с печью, теперь сундук этот был завален чьей-то одежонкой, и пимы чужие сушились на печи, много пимов. Степан одежонку эту и обутку рассматривать не стал, прошел в горницу и снова чиркнул спичкой.

На полу на двух тулупах лежала Ольга Ударцева со своими ребятишками.

Она будто бы спала, а на самом деле открыла веки и тут же их снова закрыла, стала слушать. Ждать стала — что будет?

У нее лицо было строгое, видное, при свете спички походило на лицо покойницы, но ожидание и страх все равно нельзя было на нем схоронить — веки и закрытые чуть вздрагивали, губы тоже. Дышала Ольга Ударцева тяжело. Клашкина шубейка, под которой она лежала накрывшись, покачивалась на Ольгиной груди стоячим воротником, а с ног шубейка у нее сбилась — видно было одну ногу неразутую, в чулке, повыше колена перехваченную белой завязкой.

Девчонка Ольгина подняла голову и снова ткнулась в подушку, а двое парнишек — один справа, другой слева — спали и тоненько по очереди всхрапывали. Один спал в шапке, закусив тесемку шапкиного уха.

Пахли они все своим домом... Когда дом ударцевский упал с яра, где-то далеко шлепнулся в снег — наверху вот этот же самый запах долго еще слышался.

Спичка пожгла пальцы и потухла.

— Так...

Степан сбросил с себя полушубок, пимы, размотал портянки, прислонившись рукой к печи. Подошел к постели.

Запустил пальцы в густые, теплые Клашкины волосы, коснулся затылка и с силой Клашку встряхнул.

Она чуть-чуть охнула, а может, только вздохнула. Пока ложился в постель, так и держал голову в руке, и голова ворочалась туда-сюда вслед за ним.

Лег.

— Ну,— сказал спустя еще какое-то время,— привела в дом подружку свою? Привела — так иди к ей, приголубь! Иди!— И снова задрал кверху Клашкину голову. Разжал пальцы.

Клашка села на постели, опустила вниз ноги, а голову подперла руками... Посидела так и стала с постели вставать... Вставала сама не своя, пошатываясь. Видно было, как шатало ее из стороны в сторону — ставня одна неплотно закрыта была, луна в избу светила.

И тут он схватил ее за рубаху и бросил рядом с собой. Она лежала на спине, щеки на скулах ее натянулись, она глядела чуть раскосыми глазами в темный потолок, и он туда же глядел, а видел ее всю, как есть. Не видел только — плачет Клашка или нет. Она плакала редко и молча, всего-то одной-двумя слезами.

Страшно вдруг стало, что Клашка сейчас опять свесит ноги с постели, потом встанет, пошатываясь, и уйдет. Стало страшно остаться одному.

Он приказал:

— Лежи, говорю!

Он бы сейчас ткнулся, будто ребенок, ей в грудь, и завыл бы, и зашептал невесть что, лишь бы полегчало на душе.

Не мог. Не мог, потому что — мужик. Нельзя мужику выказывать слабость хотя бы и перед женой своей. На чем после будет стоять дом, и семья, и вся жизнь, если мужик заревет вдруг бабьими слезами?

Глава третья

Когда Клашка была еще в девках, пуще всего не любили ее пожилые бабы, у которых сыновья входили в возраст.

Бегала Клашка по деревне голосистая, тоненькая, со взрослыми была обходительная, а у баб сердце замирало — кто-то из парней вот-вот окажется в ее власти, не минует ее, приведет к себе в дом.

Посватался Степша Чаузов, и бабы вздохнули с облегчением: слава тебе, господи, пронесло, ровно градовую тучу, пронесло мимо, на чужой двор!

Чаузова-мать приняла все бабьи тревоги на себя одну, причитала, будто по покойнику:

— Ой, Степа! Об матери об родной подумай! Для чего она тебя родила? Не для кривули же косоглазой! Голимая бедность за ей, как жить будешь?

И Степан думал, спрашивал себя, как жить будет, и выходило — правильно мать убивается, правильно ревмя ревет.

Чаузов-отец не ругался, сказал только, что отделит сына с одной хромой овечкой, не поглядит на новый закон. Может, Степка надеется на советскую власть — так в этом деле отцу никакая власть не указчик.

Отец был мужик сердитый, из крутолучинских драчунов, в драку ходил не только на соседей-калманцев, но еще и в дальние села. Как только слухом пользовался, что где-то стенка собирается идти на стенку,— запрягал и ехал поглядеть. Однако приезжал он с тех поглядeлок сильно битый. Не выдерживал: только одна стенка дрогнет, пойдет в отступ — он уже переживает, грозится бить отступающих, а после за них же и дерется.

А добрым не был, нет. Доброту — и чужую, а если случалось, и свою — считал глупостью. Конокрадов бил смертным боем и страшно охочий был до самосуда. Городской суд и вся городская власть никогда по нему правыми не были, прав был только суд всем миром.

Сыновей он отделял, как женились, без промедления и при отделе не баловал: сумел вырасти, не помер, в Иртыше не утонул, бабу завел — сумей и добро наживать. Степану давал советы:

— Бабу, Степа, выбирать надо с заду. В ее, как в кобылу, глядеть надо — в кость, в зубы. Ей работу работать, ребятишек носить-кормить. Это в городу бабенки наперед всего лицом кажутся, так то — от безделья. В городу и собачонок за собой водят на цепке, и баб под крендель, все — для показа: «Глядите, люди, сивку какую оседлал!» Так друг перед дружкой бабами да собачонками и выхваляются!

Мать слушала, соглашалась, но и соглашаясь, упрекала отца:

— Уж больно грешно говоришь-то... Грешно о человеке, ровно о скотине, судить!

Отец не спорил:

— Может, и грешно. А что из того? Я вот тебя с заду выбирал, и что — плохо выбрал? Хорошо выбрал. Ты из всех девок могутная была костью, а время настало — и за себя в поле ломила, и за коня, и который раз еще за меня, когда воевал либо тверезый не был!

А Степан все слушал, слушал, и снова выходило — отец правильно говорит.

Она тоненькая была, Клашка, совсем ненадежная.

Какая из нее баба получится — страшно было подумат… Может, никакой. Вернее всего, это было у нее от бе… ности: досыта не ела, взамуж пойти и то в стирано… перестиранном.

Она и на гулянках-то до тех пор веселилась, поку… парни не начинали гонять девок вокруг общественно… амбара с зерном. Тут она, словно вкопанная, станови… лась спиной к амбару, руки наперед, чтобы оттолкну… любого парня. Боялась, что парень ухватит ее за коф… тенку и порвет. Нечаянно, а может, и с умыслом — з… то, что глаза пялит на одного только Степшу Чаузова… ни на кого больше не поглядит. И стояла она так по… долгу молча, а если уже решалась побежать, так летела… стрелой, убегала невесть куда, не скоро возвращалась… стороной и, бледная в лице, испуганная, спрашивала у… подружек: гнался ли кто из парней, чтобы поймать ее… или никто не гнался?

Она и плясать не могла — берегла обутку, и только… петь не боялась в голос, однако и тут был случай, когда… распелась Клашка, а Овчинникова Шурка — девка гор… дая, богатая, прибегавшая на гулянки с отцовской заим… ки за три версты — крикнула однажды:

— Побереги глотку-то! Она тебе еще на базаре в… престольный праздник вот как сгодится!

Была бы Шурка парнем — ей эти слова даром бы не… прошли.

В Крутых Луках богатые обязаны держать себя… строго, к людям уважительно, иначе запросто могли… окон в избе лишиться либо на гумне огонька понюхать… И об гражданской войне куражливому богатею могли… напомнить, и налогом в первое же обложение предоста… точно наградить.

И тот раз тоже говорили, будто до Шуркиного отца… эта ее куражливость дошла, и мало Шурке не было. Но… Клашка-то все равно замолкла, не видать ее как-то… стало и не слыхать, хотя по-прежнему приходила она на… игрища. С того случая она будто возненавидела Степа… на — глаза злые стали у нее, когда же он являлся в но… вых сапогах и в галошах новых — убегала прочь. Злую, он ее и обнимал в дубраве, а она его — никогда.

Этот ее норов был Степану не по сердцу. Подглядел бы кто-нибудь из парней либо из девок, как он ее милу… ет, а она сидит, молчит, будто каменная, не пошевелит… ся, только свою же косу все теребит-теребит… Подглядел бы кто — смеху было бы надолго.

Три версты до Овчинниковской заимки вечерок-другой к Шурке сбегать — и была бы Клашке наука. Поглядеть, какая стала бы она ученая!

Вместо этого спросил однажды:

— Видать, боишься меня, Клавдия?

— Чего бы это ради?— ответила она, усмехнувшись непонятно, будто и недобро.— Тебя — бояться?

— Кого же тогда?

Клашка вдруг поглядела на него, задрожала:

— Боль ты моя, Степа! Себя я боюсь! Себя, а никого больше!

— Это как же?!

— А вот так: зачну тебя целовать — зацелую до смерти! — Схватилась и бросилась бежать из дубравы. И убежала.

После он ее вызывал, ходил под оконцем развалившейся малухи, в которой Клашка жила с матерью, с братишками и сестренками, засылал в малуху парнишек, чтобы мигнули Клашке на выход, а сам боялся: вдруг выйдет?! Она его по-честному предупредила: зацелую, завлеку окончательно — и от греха убежала, а он ее вызывает, себя уговаривает, будто вызывает для интереса только — вот вызову и выстою, и не поддамся косоглазой!

Она вышла, он поддался.

Себя забыл, сознание замутило. Смотрел в чуть раскосые коричневые какие-то глаза и сзади заглядывал, как велел отец... Две косы разглядывал — толстые и прямые, то ли рыжие, то ли под цвет глаз. Как она их носит, как не переломится?

За нее страшно и за себя страшно и непонятно — как он решился ей сказать: «Ну, Клаша, хватит... Хватит нам в прятки баловаться. Все! Не отпущу я тебя от себя!» Она его целовала и говорила что-то и говорила, а он сидел на трухлявом пеньке, молчал и вдруг спросил:

— А ежели я тебя бить буду?

Клашка чуть от него откинулась, вздохнула, глаза закрыла и тихо так сказала:

— Ударь... Ну ударь!

У него же слабость прошла по рукам, по голове. Будто не он хотел бить, а его кто-то пригрозил измолотить до полусмерти, и он, парень совсем не боязливый, угрозы этой вдруг испугался.

— А убегу я от тебя? Поживем сколь, а после брошу? В город убегу либо в тайгу, на золото стараться?

— Догоню я тебя, Степа...

— Не догонишь...

— Тогда — удавлюсь...

Ну вот, она лежит рядом — Клаша. Жена.

Тихая, бессловесная. Убивай ее сейчас — не заревет, не заголосит.

С самого того дня, как вызвал он ее из малухи-развалюшки, и до самой смерти она к нему привязанная. Сейчас ей бы кричать в голос обо всей его и ее жизни, о ребятишках ихних. Ей бы сейчас клясть, упрекать, уговаривать.

Молчит...

Сколько же ночей пролежала она рядом с ним — с трезвым и с пьяным, со спящим и с бессонным, когда тревога какая нападала на него или забота?

Все заботы, и тревоги, и зависть, какая была, и злость, и корысть — все-все пересказывал он Клашке длинными зимними ночами. Все слова, которые были отпущены ему, чтобы он сказал их людям, говорил он только ей одной. На людях — слушал и, слушая, думал, что и как следует сказать в ответ на речи Хромого Нечая, как нужно с Фофаном побеседовать об пашне и об ягодниках, но все, что собирался, все, что мог он сказать им, опять же говорил Клашке.

И вот она молчит сейчас, ничего ему о себе не объясняет, ничего о нем не спрашивает.

Лежи и ты молча и думай: то ли ты жизнь живешь не по-человечьи, то ли жизнь вертится вокруг тебя какая-то нечеловеческая?

Лежи с женой рядом, будто неженатый какой мужик... А в неженатом мужичьего — чуть, одна капля. Капля эта такого мужика мутит, он с нее, с одной капли, водку пьет, в карты играет, в драку лезет, и все — над самим собой в насмешку. Таловый это мужик получается. Растет дерево, а еще растет на мокрой земле тальник — в печи жару не дает, креста на могилку и то из него не изладишь, не то что для службы какую поделку...

Лежи и думай: а что за баба рядом с тобой? Что за судьба у нее через тебя сложилась?

Бабья судьба всегда надвое делится: одна живет с мужиком, другая — за мужиком. Огромная эта разница — с им живет либо за им. Который мужик бабу свою каждый божий день вот так-то за волосенки волочит, а думает: она за им живет. А она — только что с им, не

более того. Баба тогда только взаправдишная, душой привязанная, когда она себя за тобой чует. Тут, из-за спины твоей, она и то достанет, чего тебе самому в руки не дается. Тут-то она тебя мужиком и делает.

И до нынешней ночи он так понимал: береженая у него Клашка, береженая, за мужиком живет... А вдруг — и не так вовсе?

Весь-то день вертит Клашка чугунами своими, встает чуть свет, а то заметишь — лежит себе утром под покрывалом каралькой круглой. Вот тут ты ее с койки не понужай, не подавай виду — иди дровишек нарубить либо еще что, а когда вернешься — чугуны уже стонут у нее в руках, за стол ей присесть недосуг, и она уже потому сыта, что досыта накормит мужика и ребятишек.

Мало того, который раз нужно ей удивление выказать.

В сенках на длинных гвоздях висят у Степана разные найденные предметы. Висит кнут ременный, петля на рукояти порванная, в остальном — совершенно целый кнут, а еще висит шапка.

Шапка та совсем новая, баранья, баран поставлен и снаружи и снутри очень кудрявый, должно быть, нездешней, а какой-то дальней породы. Она из-под снега годов пять тому назад оттаяла, эта шапка, и вдалеке от дороги. Ветром ее с пьяной чьей-то головы сдуло и понесло и понесло. Может, человек и гнался за шапкой, но не догнал, может, и так до него дошло, что шапку он свою найдет, да только замерзнет в ней, пьяный, закоченеет в снегу. Может, конь был у него норовистый, ненадежный, возьмется бежать — и шапке рад не будешь, догонять в ней такого коня.

А Степан ее заметил — сам удивился тот раз, как заметил ее далеко в сугробике. Он с соломой ехал, с последним возом по последней зимней дороге.

Кнут и шапку никто в сенках с гвоздей не трогает, разве только который раз побалуются ими в избе ребятишки, ну и, бывает, еще Васятка нахлобучит баранину эту на голову, когда очень спешит на двор, младший и того не может — не достает до гвоздя. Но со двора найденное никто не выносит — строго наказано.

Вдруг подойдет кто и спросит малого, а то и взрослого: «Откуда это у тебя? Где взял?» — и объясняй, что да как — где нашел, когда нашел. Нет, пусть они висят на виду у всех, кнут и шапка, пусть каждый, кто в сенки входит, так и поймет: ждут они здесь хозяина, мо-

жет. найдется когда хозяин, а люди, которые в доме этом живут, чужого не хотят, чужим эти люди пользоваться брезгуют, своим обходятся. Найденное — не заробленное, глазами любуйся, руками брать — погоди.

Так же вот и Клашка. Ее хлебом не покорми, но удивление выкажи — будто она в доме этом не совсем своя, а придет кто и спросит: «Чья же это у вас?» Мало того, чтобы и свой мужик вроде бы как подумал: «А откудова же я ее взял такую? И что мне с ней с такой делать?»

И действительно, он ведь который раз так и думал. Виду Клашке особого не подавал, а думал.

Приходило же в голову, будто не она его, а он ее когда-то завлек: «Такой парень, такой парень был — никому девку не уступил, ото всех-то ее отбил!» Удивлялся: сроду не любил ни перед кем выхваляться, и вот на тебе — сам перед собой выдумывал! Ему бы не выдумывать, ругать себя. Было за что себя ругать...

Иной раз живет в избушке во время пашни либо в таловом шалаше на сенокосе и вдруг ни с того ни с сего запрягает, гонит домой. Приезжает на Клашку злой, глаза бы на нее не глядели, а она охает, да вздыхает, да еще и жалеет его, как это неотложно запонадобилось ему ехать, и, вздыхая-охая, бежит топить баню. Покуда он парится — моет в горнице, подушки взбивает выше грядок. То ли она смеется над ним?

...Не узнать. И ни к чему узнавать, разговор заводить. Не ее, бабьего, ума дело.

Еще не забрезжит — он уже обратно то ли Рыжего, то ли Серого нахлестывает, а мнится — это нахлестывает он сам себя: «Урожая не будет — так ты вспомнишь, мужик, денек-то нонешний, гулевой... Пожалеешь, что загонку лишнюю не сдвоил, что еще одну копешку сена не поставил, по кустам не пошарился с литовкой!»

Не сломилась в замужестве Клашка, как отец нарекал когда-то, совсем наоборот — вышла из нее баба справная, гладкая. Глядеть стала глазами перед собой вроде совсем прямо, косой ее никто уже и не называл. Ребятишек принесла двух, оба были парнишками, это в чаузовском роду велось — парни да парни.

Но от ласки кони портятся, не то что бабы, и для того, чтобы не забаловалась, чтобы себя помнила, для порядка, хоть и берег, а иной раз объяснял — из какой бедности взял ее.

Своих же старших братьев ставил ей в пример — те

вали богатых, а ведь он был против большаков побойчее, пограмотнее, в любом деле спорористее.

И тут Клашка замолкала, жалостливо как-то начинала звякать чугунами своими, заслонкой и ухватами — ровно в церковные колокольцы на похоронах, а он посмеивался: бабий ум! Что было, то было, из-за чего сердиться, впадать в нервы? Ежели ты рыжий — не говорить же, будто чернота у тебя цыганская? Ежели вся деревня знает — не для себя же одной в секрет играть?

На то пошло — он в этом деле глупее ее оказался: не с того мужик мужицкую жизнь должен начинать, не с того, чтобы поддаваться девке, но кори себя не кори — дело такое было.

Может, с того дела сразу после женитьбы и бегал он на Лисьи Ямки — сам себе хотел доказать, что мужик — настоящий. Даже не понятно, как голову тогда сносил. Отцовское, что ли, это играло в нем? Или свое?

Когда возвращался с Ямок и рубаха была исполосована на нем что вдоль, что поперек и молчаливая, бледная Клашка ставила ему на плечи и на грудь траву-примочку — он глядел на нее и зарекался на Ямки бегать, но без него что-то там не получалось у крутолучинских мужиков, и он снова шел, а потом снова в голову ему приходила странная какая-то догадка... Казалось, будто бабьим своим умом Клашка знает что-то, чего ему, мужику, и вовсе неизвестно...

Догадка эта не то чтобы пришла — и нет ее, он и после того все к Клашке приглядывался, угадывал войти в избу, когда Клашка совсем одна и не ждет никого.

Стояла она, бывало, среди избы молча, глядела на окна, на стены, на голубые полати, на утюг. В горнице скатерку гладила на столе... Вынимала из сундука сапоги с галошами, в которых он когда-то перед нею, девкой, форсил на гулянках, и гладила их сперва руками, после лицом, одной щекой и другой.

Нравилось Клашке в это время быть хозяйкой в доме, по глазам это было видать, и рот у нее вздрагивал, будто у ребенка малого, и руками вокруг себя она тоже по-ребячьи все-то ласкала и еще и еще ими что-то узнавала.

Нравилось Клашке быть хозяйкой, а настоящего ума хозяйского — упрямого, настырного — у нее не было. Скажет про добро какое — и тут же забудет. Прибежит с улицы, глазенками сверкнет: «Евдокии Локотко-

вой мужик шаль купил — век бы на такую любовалась!» — и все, об шали об этой больше и не помнит.

А Степан все помнит. Ночью заведет разговор:

— У Евдокии у Локотковой мужик не простой — трехконный. Ежели такой мужик бабе своей не заведет доброй шали либо кофты плюшевой на сатиновом подкладе — это значит, он без стыда и без совести...

Дальше больше — вспоминал хозяев, у кого дом крестовый, у кого выездные кошевки, сбруя выездная, кто машину купил самосброску, кто еще что...

Клашка молчала, слушала, потом и сама начинала говорить, у кого на деревне какое добро, мечтать начинала, как бы ей то, как бы другое. И опять ненадолго — наутро уже и не помнит ночного своего шепота, про мечты и забыла, хлопочет с ребятишками, со скотиной...

То же самое — не боялась Клашка бедности.

Уж она бы должна была знать, что это такое, но вроде не знала, не помнила.

А как о ней не помнить, как забывать о ней, когда вот она тут, рядом, ходит бедность, только и ждет, как бы ты подвернулся под костлявую ее и крутую руку.

Евдокии Локотковой мужик шаль купил оренбургскую, шубу-барнаулку, а другой братан, Локотков Захар, и не хуже вовсе человек, хватил в ту же пору лиха — век не забудешь, хотя бы и со стороны глядя.

Ночью вышел он на двор, глянул под навес, а конь его лежит и храпит страшным храпом. Захар второго запряг, бросился в Шадрину за ветеринарным доктором, а когда доктора привез — конь уже бездыханный... Этот бездыханный, второго он запалил, разве татарам отвести на махан и то не возьмут. И вот так в одну ночь — был мужик Захар Локотков и не стало мужика, только собаки, будто его отпевая, долго еще лаяли на луну в Крутых Луках; мужики же ночами слонялись по дворам, глаз не смыкали, вместо сна, будто наяву, видели своих ребятишек голыми, босыми, сопливыми, голодными...

Война, неурожай — это на всех, на всю деревню, на всю Сибирь без разбору, пожар — миром заведено погорельцу помочь, а вот на хозяйство напала напасть без всякой причины либо потому, что ненароком где-то оступился мужик, однажды коня не так напоил-накормил — это не жди ни от кого и ничего, никакой помощи, хотя бы и от брата родного, это уж твоя судьба выпала такая — сопливые да голодные ребятишки.

А Клашка — та ребятишек день-деньской, ровно клушка, обихаживает, а такого ей и в голову не приходит. Это в самом деле — может, она просто глупая была? Может, с того самого дня, как он вызвал ее в дубраву из малухи-развалюшки, от нее обман и обман какой-то был?

Узнать бы! Угадать бы! Вот сейчас и узнать всю разом правду и при чужом человеке, при Ударцевой Ольге, измолотить Клашку что есть силы. Со злости так со злости. С горя так с горя. За то, что Ольгу привела, или еще за что-то... И вовсе не для того измолотить, чтобы Клашке наука была, а для себя, себе легче сделать.

Нет, не поднять руки. Не п-о-д-н-я-т-ь!

Лежит она, Клашка, вроде бы и неживая совсем и, очень может быть, ждет от него побоев то ли для того, чтобы одним тихим словом проклясть его, то ли — чтобы завыть наконец во весь голос.

Лежит. Молчит.

Молчит, а будто спрашивает: «Степан Чаузов — мужик ты или кто? Ежели я глупая, ежели от меня обман — ты куда глядел? Ты почему верил? Почему прежде не разгадал и сейчас разгадать не можешь? Почему думаешь, будто бабьему уму известно что-то, чего тебе вовсе неизвестно?»

Почему?

Через Клашку с самого начала своей мужицкой жизни лишился он богатства. Как бы не она, как бы та же Шурка Овчинникова — жить бы ему в доме крестовом, быть мужиком о трех конях. Что там — о трех! Где три, там уже и четыре, и пять, а в этом-то деле он себя знает...

Только время пришло — коней позабирали в колхоз, богатых мужиков сослали за болото. Овчинниковых со всей родней — в первую голову, и оказалось — права была Клашка, будто знала она, будто чуяла, что вот-вот и наступит это время, когда богатство мужику будет в тягость... И его от этой беды спасала. И спасла.

Богатство — в тягость! До того это было удивительно, до того не похоже ни на что! Дух перехватывало, как об этом подумаешь. А в то же время казалось который раз, будто ты и сам еще давно когда-то, раньше об этом догадывался. Потому догадывался, что понял — богатым тебе не быть... Ломай хребтину день и ночь — справным мужиком будешь, богатым — никогда: про-

шел уже в твоей жизни тот год, когда мог случиться поворот на богатство, но не случился. И в душе где-то ты возненавидел богатство за то, что оно тебе не далось в жизни.

Может быть, догадывался по-другому: богатым мужикам не очень жилось уютно в Крутых Луках при советской власти. Богатые парни, к примеру, и на Ямки не бегали — такого там не то что чужие, калманские, а свои же ненароком могли стукнуть. Приходил богатый мужик на бревнышке посидеть над Иртышским яром, где иной вечер мужики собирались о том, о другом потолковать,— все замолкали, цигарками попыхивали, покашливали, разве только худой какой-нибудь мужичонка, крикунишка вроде Егорки Гилева, перед таким егозил, по имени-отчеству величал.

Но даже если и было, даже если и в самом деле когда вот так об этом Степан — то, может, на минуту только, другую, в остальное же время богатство к себе манило, спать не давало, мучило.

А Клашка, похоже было, догадалась раз и навсегда. И теперь он ей удивлялся: как она смогла?

Не в конях, выходит, счастье, еще в чем-то? В чем? Об этом Клашка, тоже, может, догадывается, но молчит... Должна же быть в этой жизни за что-то ухватка? Сердцевина должна быть в ней?

И когда начался в Крутых Луках колхоз, и когда разбежались мужики в тот же самый день, как в газетах сказано было, что дело это добровольное и каждый разбегаться может, и когда снова стал колхоз собираться вроде по желанию, но только с твердым заданием на мужиков, которые вступать не желали,— все это время слушал Степан и Фофана и Хромого Нечая, слова не хотел пропустить от них, но слушал молча, а расспросами пытал Клашку. Все ему казалось: знает что-то Клашка, только, может, сама не понимает, что знает.

— Об чем промеж вас, баб, разговор нонче идет? — спрашивал ее и ждал, что ответит.

— Разное...— отвечала она будто нехотя, а потом плотнее прижималась к нему в кровати: — Ты скажи, Степа, да неужто это правда, что мужиков будут в городу держать либо в лесу, чтобы лес рубили, дороги чтобы ладили, а бабы одни чтобы управлялись в колхозе? Бабам побудку кажное утро будут объявлять, ровно солдатам, и причесанная либо простоволосая — никто не поглядит. Посчитали всех — и на работу?

— Ты гляди, у кого это язык такой долгий! — удивлялся Степан, но, удивившись и помолчав, снова спрашивал: — Еще-то что?

— Потребиловка на кажный колхоз свой ситец будет продавать — белый с красной горошиной либо красный с беленькой, и сразу видать будет, какому колхозу баба принадлежит...

— Чепуху всякую молоть бы тебе на который раз...

— Я, Степа, об чем говорят — тебе пересказываю. Об чем сама думаю — молчу.

— Ну, а об чем — сама? Сама-то?

— Это вот у нас в Крутых Луках Фофан сад заводил — чего только не говорили, как не насмехались... Почему так, Степа, что у человека ум на злобу повернутый? Колхоза я не боюсь — злобы-жадности боюсь. Страшно! Как будет? Хорошо — хорошее наперед пойдет, а — наоборот? Сейчас злоба по углам сидит, я в чью избу вхожу — сразу чую, если люди живут злые, а ушла — и дела мне больше до них нету. А в колхозе? Человек злой, страсть жадный — в колхозе это до всех касаться будет, всем беда.

— Тебе бы, Клавдия, в контору, на наши мужицкие посиделки. Нечая бы Хромого послушать, как он там без малого кажную ночь толкует... Нельзя — от махорки надорвешься. Своей не куришь, так от чужой враз замутнеешь.

— Как есть... Дымом ты пропах с этого колхозу, Степа, ровно смолокур какой. К своему-то я давно уже привычная, а нонешний дым — со всего Крутолучья, со всего мира собранный... Я не в обиде... Думайте, мужики, народом. Одному мысли-то эти не под силу. Друг на дружку глядите зорче — кто каков? Вам вместе быть... Мы-то, бабы, еще по своим углам останемся, а вы уже вместе. Все...

Вот она какая, эта Клашка: будто бы ничего сама не знает, ничего сказать не может, а не верится, что она — как все другие бабы. Другие за мужиками своими в контору ночь-полночь бегали, в избах мужиков-то на крючки закидывали, чтобы дома ночевали,— от Клашки он упрека сроду не слышал, хотя бы и утром возвращался... Наоборот даже — Степан долго не приходил, так она думала, он там за это время ума набрался... Добивалась — об чем говорили мужики в конторе, а что ей расскажешь? От нее ждать и ждать не перестаешь, это верно, а вот когда Степана кто-нибудь, хотя бы и

Клашка, о чем-то расспрашивал — он рассказать не умел.

И Клашка, с разными вопросами помучившись, всегда в конце концов об одном и том же его спрашивала:

— За ребятишек, Степа, болит у тебя сердце? У меня на ребятишек сроду обиды не было, завсегда, как покормлю их — сердце от счастья захолонется. Только нонче глядела-глядела и заревела: может, лучше им было не родиться? Мужиками родились, а кем расти будут! Им уже мужицкого ума не надо, им в отца не расти, а в кого?

— Вырастут поумнее нас с тобой. Их теперь всех подряд, ребятишек, в школе учить налаживаются.

— Так-то бы... А за меня, Степа, сердце у тебя болит ли?

И за нее — болело.

Ежели о мужиках нынче выдумываются небылицы, так о бабах — того проще. А ее, небылицу, выдумай, она, глядишь, былью обернется. И на того обернется, кто больше тревожливый и чутливый — на бабу. Недаром о пожаре баба первая подаст голос, первая дым почует и не потому вовсе, что махорку не курит,— есть у нее на это своя причина.

Хотя бы тому поверить, что ничего-то Клашка не знает, что верить ей не в чем, ждать от нее нечего. Нечего... Но тут уже будет тебе самому окончательный расчет с жизнью, сам о себе перестанешь знать — то ли ты живой, то ли мертвый и только по-живому дышишь?

Дышишь, до утра глазами пялишь на ту щелку в ставнях, сквозь которую луна заползает в избу, падает на Ольгино покойницкое лицо, на неприбранную ее голову.

Уже луна эта ушла, когда под самое утро Клашка вздохнула, пошевелилась. Вдруг рукой по голове Степана провела, тихо так, ровно и спокойно. Он обмер даже.

— Поверь, прошу тебя, Степа! — прошептала Клашка.— Я тебя сроду верить себе не просила — ты сам догадывался, нонче прошу... Ударцев Лександра зерно пожег — так это же разбой и есть, он, как варнак, после того скрылся, а ребятишки? Неужто ты и ребятишкам враг, дом ихний разорил и со своего зимой выгонишь?! Ты же не власть и не чужой какой начальник — сделал, и нет тебя! Тебе ребятишки эти всякий день на пути будут, всякий день им в глаза глядеть!

[illegible] нем их с избы гнать, нельзя мне было их и в избу не привести. Поверь ты мне, Степа, не обманывай меня, я ведь за человека взамуж шла... За человека...

Не ответил Степан на этот шепот.

Глава четвертая

Другой день было воскресенье.

Утром Клашка щей подала. Ели — молчали. Один на другого не глядел.

Перед тем Ольгины ребятишки долгое время крестились на икону. Старались, будто живыми на небо хотели влезти. А свои на них таращились. Ольгины открестились, и свои тоже уже взаправду начали поклоны бить, губами пришептывать, а на родителей так строго зыркать: «Не приучили, мол, нас к порядку!» Одни-то свой — так левой краюшку уже в рот подают, а правой сотворят со лба на пуп — и ладно им.

Ложки о миску стукали глухо как-то. В могилу землю бросают — так же стучит...

Однако двое парнишек Ольгиных робели недолго, быстренько за мясом по миске стали гоняться, а вот старшая девчонка, годов уже тринадцати,— та, будто слепая, черпала. Только как своей ложкой о Степанову заденет — так и дрогнет вся, ужалит ее кто. Потом она совсем ложку обронила и бросилась было из-за стола прочь, но мать ее к скамейке придавила.

Сама Ольга себя держала, будто к родне приехала либо к знакомым с выводком своим переночевать, и больше ничего. На покойницу уже не походила — не то что ночью, когда Степан ее спичкой на полу осветил.

...А что ей и делать? Как быть? Жить ей надо хотя бы всего один нынешний день, а все равно — жить... И чужой хлеб надо есть. Не ради себя — ради ребятишек.

Клашка виду старалась не показывать, а глотнет — у нее застрянет, она и шарится глазами-то, не заметил ли кто. Она, верно, и состарится — и под конец жизни все равно на девчонку будет похожая.

Утром встала — не живая и не мертвая: боится, что Степан укажет Ольге на порог либо просто слово обидное ей скажет. За стол посадит ли — не знала.

Он посадил.

Теперь она не знает, что же дальше-то будет.

Он и сам этого не знал.

Поели.

Вздохнули вроде после тяжкой какой, непосильной работы. Ребятишки снова взялись гуртом креститься, а потом по избе разбрелись — на печку, на полатях луковичными вязками шелестят, по углам — везде они, в глазах от них рябит. Будто их не пятеро, а душ пятнадцать разом откуда-то взялось. Им даже интересное житье — всем вместе...

Бабы тоже хотя и молчат, но у печки хлопотать взялись супряжно, со стороны и не поймешь, кто в избе хозяйка.

Степан повременил сколько, откинул западню, наказал ребятишкам осторожнее быть, не провалиться, и спустился в подпол. Не надо бы лезть. И наверху сидя знал, что там есть, а чего нет, в подполе. Клашка, та само собой разом догадается, зачем он туда спустился, хотя он и взял с собой молоток, пилу-ножовку и гвоздей-трехдюймовок с дюжину.

Подпол — хороший, сухой, сроду в нем ни плесени, ни запаха. Соседи, когда случалось заглянуть, завидовали, говорили: вполне жить можно в таком.

Степан внизу морковь, песком засыпанную, поглядел, не проросла ли. Кое-где, верно, начала расти. Картошку рукой пошарил. Ее порядочно было — которую часть Степан еще вчера прикидывал на базар. Вчера утром они об этом с Клашкой как раз и говорили: взять в колхозе коня и то ли пять, то ли семь кулей отвезти в город. Пока ямы на улице с посевной картошкой еще не раскрыты — ей самая цена. И так прикидывали и этак — пять или семь?

Но то — вчера утром, вчера и едоков-то в избе было четверо, а нынче их восемь ртов. Что рты малые, на это не надейся. Они, ребятишки, в рост идут — уминают за твое здоровье. Особенно когда гуртом за столом. Тут они уже стараются один перед другим. По отдельности им сроду того не съесть, что ордой одолеют. У них наоборот, скажем, чем у поросят. Поросенка отсади от других — ему и делать нечего, только чавкать цельные сутки...

Глядя на картошку, Степан раздумался и об мясе и, главное, о хлебушке. Ласково он о хлебе думал, и всегда-то так к весне бывало, когда уже небогато остается,— в мыслях его милуешь, хлеб.

Надо было зря не задерживаться — пораньше других в колхоз идти. Все одно к этому вышло, а покуда

чему единолично жил и два единоличных задания нынешним хлебом выполнил.

Хлебушко был у Степана еще в одном месте, не считая того, который любому и каждому можно показать — вот чем располагаю, только-только до нового, еще как раз и не хватит недели на две.

Но и то сказать, схороненный запас пудов двадцать всего. По-нынешнему считать — три центнера. И так ли думай либо по-другому, вопрос один: долго, нет ли еще Ольга со своими ребятишками в избе пробудет?

Ждать надо: Ольга сама об этом Клашке шепнуть должна бы... Может, покуда он тут сидит,— она как раз и шепнет?

И он все сидел, ждал. Молотком кое-когда по гвоздям постукивал — которые не совсем плотно в тесовую обшивку были забиты, у тех шляпки торчали. Надо было бы в амбарушку пойти, там у него был инструмент, в амбарушке, разный, печурку растопить и чего-ничего для дома поладить. Но он сидел и ждал. Сухим картошкиным запахом подполье отдавало. Через открытую западню падал к нему неяркий свет, но все равно по этому свету он угадывал, что на улице солнышко выглянуло.

И ты скажи — дождался ведь!

Вдруг в подполье Клашка будто свалилась, зашептала в ухо:

— Ольга-то до теплой дороги у нас просится жить. С мужниной-то родней не может она и со свекром — тоже. Я тебе объяснять не стану, почему нельзя ей с ними, после когда скажу. Опять же она, Ольга, говорит: нонче же вечером, как стемняет, на санках муки куль привезет... И картошек, может, куля два. Подполье-то у них ненарушенным осталось, только стыдно ей днем-то на людях...

— А потом она — куда? Ольга?

— На родину свою. К родителям. Он же, Лександра, ее какую даль с тракта взамуж-то брал. По теплу и обратно уедет... А ты, Степа, на меня не серчай нонче. Уедет Ольга — после серчай, я потерплю!

Она всегда, Клашка, такой была. Но и про него самого сказать — знал, какую за себя берет.

Счет простой...

Конечно, муки куль да картошек два — этим четыре рта прокормятся не бог весть сколько... А все ж таки корм. После того, как думал, будто ни крошки своего

Ольга не принесет, вроде тебе и облегчение выпало. Как бы и зима еще пораньше, чтобы теплую-то дорогу не так уже долго ждать...

Вылез из подполья Степан — наладился пимы Клашкины подшивать.

Ребятишки, опять все враз, натянули на себя кто чего — и свое и со взрослых, высыпали на улицу. Видать, солнцем их потянуло.

Час спустя в Степановых пимах пошла к скотине Клашка, в избе остались Степан и Ольга.

Ольга туда-сюда метнулась, тоже хотела куда-нибудь выскочить, но ей уже не в чем было, она взяла Клашкино вязанье, села в углу и начала быстро так спицами шелестеть.

Молчали оба...

Сказать бы надо было чего друг другу, а что скажешь? Он, может, и весь-то такой, белый свет, нынче, наизнанку вывернутый? Чего в нем нельзя, а чего можно?

Нельзя было Александру Ударцеву зерно поджигать, а он взял да и спалил... Нельзя было за это дом ударцевский разбивать, а его разбили. Нельзя было Ольге в дом к Чаузовым идти, а она пришла... Может, все, что прежде нельзя было, нынче можно? Нет, и так — нельзя! Где он, тот закон, по которому мужицкая жизнь определяется? Попы сколько веков об своем говорили, а жизнь, она не из одних слов складывается. Нынче коммунисты ладить ее затеяли — получится ли? И хотя бы они на пробу взяли тысячу мужиков в одном месте, ну мильен, и поглядели бы, как дело пойдет. Так нет же, сколько есть мужиков — и русских, и татар, и хохлов — все мильоны до последнего испытание проходят... Вот и в этот самый миг которые мужики едят, пьют, спят или работу работают — все и во сне и наяву переживают, о жизни так же, как и он, Степан, загадывают. Такого, видать, еще не было, но чем дальше жить, тем все покруче да покруче узелки завязываются. Ладно, коли нынешний узел — последний.

И другое тут же надо понять: если бы знатье, что и как,— дорого бы отдал за новую-то жизнь, за справедливую. Верно Нечай говорит: мужику нынешнему особая доля — и с немцем воевать выпало, и с колчаками, и засуха была, и такое время, когда не то что спичек коробок, одной спички и той не сыскать было. А того не говорит Нечай, что, может, через все через это до на-

стоящей-то жизни и совсем уж близко осталось, руками ее запросто достать, а только мужик уже боится и руки свои за спину прячет?!

Вдруг в избу Егорка Гилев явился...

Через порог еще не ступил, очень уж весело сказал:

— Здорово, Степша! Чай с сахаром!

— Здорово. Садись.

— По делу я.

— Ну хошь бы и по делу.

«Не даст он, Егорка, однако, дело кончить. Звать куда-то пришел...»

— Вроде и пимы-то новые совсем шьешь?

Степан отвечал не торопясь:

— Глядеть, так баба моя, Клашка, на обе стороны ровная, а в действительности на правую шибко давит. Левый вот совершенно еще свежий пим, а правый — только что до дырки не дотертый. Я ей сказывал, чтобы на ногах меняла пимы,— не хочет, моды ей не будет. Подковать, чо ли, ее на одну? Вот прилажу на пим подкову — будет по-козьи модой своей стукать.

— Нонче доносила бы зиму-то... Сколь там и осталось.

— А осенью вдруг и вздохнуть недосуг будет.

Оставалось всего-то один шов наложить, и не длинный вовсе, а сбоку последний, дратвы конец варом натер Степан — рассчитал, что как раз должно на тот шов хватить.

Егорка хотя и сел, но шапку не скидывал.

С виду он бы серьезный нынче — глазки сощуренные, усы на розовой коже оставлены торчком, а борода начисто сбритая. Это он, Егорка, любил с бородой, с усами баловаться — то одно оставит, то другое, а то начисто побреется и ходит с сединой уже в голове и с голой мордой. Шерсть по нем росла, будто по овечке, вот он по разу на неделе и лицевался.

— С конторы я за тобой пришел,— сказал Егорка.— Срочно звать.

— А почто?

— Следователь явился к нам в Луки. И тебя призывает. Срочно наказывал.

Степан щетинку с дратвой опустил и шило тоже, потом и кочергу с надетым на нее Клашкиным пимом положил на пол. Кочерга была толстая, короткая, всякую обувь чинить — очень удобная. Под шестком лежала, но служила больше хозяину, чем хозяйке.

— А что я ему — следователю?
— Явился дело следовать. Как Лександр Ударцев зерно пожег. Как мужики дом его под яр спихнули.

...Не говорил почему-то Егорка, дескать «мы» дом спихнули, по-другому сказал: «мужики»... Вздохнул Степан: вот она, колхозная-то жизнь, призывают — и надобно идти! Единолично-то жил бы — строго-настрого наказал сейчас Егорке сказать, что дома Чаузова не застал, а сам бы запряг да по сено за реку, а то и кума какого вспомнил бы навестить в соседней деревне и погулял бы там денек-другой. Так оно всегда и делалось — начальство, бывало, подождет-подождет, не стерпит дальше ждать и уедет.

Так и надо. Бумагу какую тебе выправить — ну и ездишь к начальству этому и в Шадрину, и в город. Зато уж если начальнику вдруг мужик спонадобился, он тоже посидит-подождет немало, по первому-то зову к нему худой какой разве мужичонка прибежит, и то ежели вину за собой чует либо сам же просьбу имеет. Нынче коней в ограде нет, сведены в колхоз, а без коней куда денешься?

— Может, Лександру-то уже поймали где?

— Не сказыват. А на то выглядит — что не поймали еще. Старика Ударцева — того заарестовал. В Шадрину, в сельский Совет, уже отправил. Ну, да ему старик — что? Старик и сам помрет не сегодня-завтра. Ему бы засудить кого поинтереснее.

Похоже, Егорка со следователем разговор уже поимел. Уже в служки приладился по избам за мужиками бегать.

— Подожди малость. Клашка в моих пимах пошла. Сейчас и вернется.

Егорка на приступке сидел, шапку все еще не скидывал, на Ольгу глаза пялил.

А той, видать, любопытство это не по душе, она к нему все круче да круче спиной оборачивается...

Бабы эти, бабы! И тут у них свой норов... Лицо у Ольги белое, узкое, а глаза на лице большие, чуть даже на коровьи смахивают. Видит же она ими, должно быть, не зорко — спицами стрижет перед самым носом. И от Егорки отворачивается, и на Степана поглядеть тоже будто робеет.

Егорка вдруг заулыбался, спросил:

— Ты, Ольга, на чьих же это ребятишек чулочки-то ладишь? На Лександровых либо на Степановых?

Ольга встала, потом клубок с полу подняла, ни слова не сказав, перешла в горницу.

Вернулась Клашка.

Ведро с водой оставила в сенках, другое внесла в избу и поставила у порога, бросила на гвоздь полушалок.

— Здравствуй, Егорша! Ты, поди-ка, по моёго мужика пришел? Куды опять? — Подрыгала сперва одной, потом другой ногой — скинула Степановы пимы.

— К следователю.

— Ничто-о-о! — удивилась Клашка и, босая, в кофтенке без рукавов, уставилась на Егорку.— Он, Степан-от, украл кого или убил? Либо у нас чо украдено? Нужон-то ему твой следователь!

— Ты, Клавдия, иди-кось и ему расскажи — следователю. Он мужиков, не одного Степана тягает, как они ударцевский дом спихнули. И следователь не простой вовсе, а Ю-рист, вот он кто. Мужиков привлекает и обратно — доклады им говорит. Об колхозах и об единоличной жизни. Кажному объяснять надобно десять разов!

— И объяснишь! Правду он, Степа, сказывает?

— Ну не балует же. Однако пошли, Егорша.

— Постой, Степа,— засуетилась Клашка.— Рубаху надень чистую!

— Жаль, коней нету на ограде, кони — так искал бы меня тот следователь! А ты — рубаху на меня напяливать!

— И то! Я об конях и сама только подумала — как бы кони были на ограде и походил бы он ко мне, Ю-рист этот, поспрашивал бы, где ты да куда ты подевался! Уж он бы у меня повдоль вот порога потоптался! Я бы ему и сести на лавку не указала!

— «Ты бы» да «я бы»,— передразнил Егорка Гилев.— А он и сам бы сел! Ему твое приглашение вовсе ни к чему — он его под себя не стелет!

— Ну и пущай бы сам сидел и сам же глазами хлопал, коли совести нету! А тебе, Степа, идти к нему, так не варнаком каким-то. Я и выглажу еще рубаху-то. Он в конторе ждет? Ну и посидит подождет, ему за жданье-то, за сиденье, поди, жалованье идет!

Шлепая босыми ногами, Клашка кинулась за утюгом, мигом — к печке за углями, мигом — в горницу за рубахой.

Степан махнул рукой:

— Ты, может, выдумаешь — шелковую, новую?
— Жирно с его будет — шелковая-то. Ты не мешай-ся — дело это бабе виднее!

Степан поднял с пола шило, дратву, пим снова на кочергу надел — последний шов он как раз успеет наложить.

Шил, поглядывал на Егорку.

Егорка Гилев был из мужиков везучих. Ты скажи, бывают такие — им сроду везет. Такой на солнце глядит и не об урожае думает, не об том у него мысли — солнце он пузом чует, приятно ему на солнышке погреться, а что касается урожая — урожай сам к нему придет. Он в этом запросто уверенный и по деревне ходит, нюхает, с кем бы лясы поточить, в картишки перекинуться.

Начать с того, что надел Гилеву выпал в западинке, рядом с колком березовым, и кто-то давным-давно в том колочке уютном колодец выкопал, а какие-то пастухи, тоже давно, добрую избушку поставили.

И навесил на колодец Егорка Гилев замок амбарный, а на избушке дверь наладил и оконце застеклил, знакомцев-охотников из города завел. Охотники в избушке с осени и едва ли не до рождества прохлаждаются, на озеро ходят за утками, на пашне по жнивью гусей караулят, по снегу за лисами и зайчишками на лыжах бегают. Охотники городские, нерасчетливые, добыли чего или не добыли, а постреляли, припасу извели и уже за одно это Егорке деньги дают. За постой в избушке.

Видать было — Егорка в той избушке и самогонкой занимался, но и то видать, что не очень он глупый был. Глупый — либо спился бы, либо занялся гнать на спекуляцию, а потом попался бы. Этот — ни-ни... Веселый ходит, а шибко пьяным его не увидишь.

Тут подряд случались годы не то чтобы сильной засухи, но и без добрых дождей. Мужики переживали, Егорке хоть бы что: в его западинку с весны натечет талой воды — до половины лета хватает. Только что сеял он позже других, покуда пашня у него просохнет.

Везучий, и только, мужик!

У крутолучинских покосы на островах той стороны, вот и разрываешься летом: то ли телегу мазать, то ли лодку смолить, за паро́м платить. Егорка в своем колке худо-бедно два стожка добрых ставит и держит там

[illegible] И от скотины навоз у него — на месте, возить не надо.

В Крутых Луках, правду сказать, далеко не все в поле навоз возят, на землю надеются, а больше, может, и потому еще, что к покрову мужики делаются кость да кожа и на мослах лопается. У которых слабосильных либо в тех дворах, где едоков куча, а работников один,— и мочи уже не было никакой еще и в зиму ворочать. Эти к масленке только и вылазили с избы — обглядеть, каков он, белый свет, а до тех пор отсыпались, ровно барсуки, руки-ноги на себе ощупывали — целые ли к следующей пашне остались?

А Егорке Гилеву и тут запросто: у него брат Терентий уже в годах, но неженатый, потому что глухой и немой совершенно, на работу же лютый... Он и живет в избушке, за скотиной ходит, а Егорка тем временем шарится: не повздорил ли кто с кем, не подрался ли... Он до смерти любит, где двоих мир не взял — третьевать, рассуждать, кто правый, а кто виноватый.

Он вроде бы всем друг, только ему — никто. Волосы седые, а ребятишки Егоркой кличут. И не потому кличут, что, чуть весна, он по первой же талой земле в бабки играет — в эту пору не он один под солнышком балует,— даже степенные мужики и те ни бабками, ни городками, ни лапту погонять не брезгуют. Только всякий мужик, если бабок наиграет, то первому же попавшему на глаза парнишке их в шапку и высыпет, Егорка же бабки эти по карманам распихает и домой тащит, гордый: «Я, должно, все ж таки очень богатый мужик буду!»

Его бы по нынешним временам как раз раскулачить за брата как за собственного батрака, а он вместо того ходит, жалуется: «Калеку кормлю... Калека, а жрет за троих, не управишься ему подносить!» Пользуется, что глухой человек, никто ему этой напраслины пересказать не сможет!

В колхоз Егорка вступал, заявление принес — все диву дались: «Осознал до края идею и желаю ступить в новую жизнь и чтобы назначено было хлеба паек на семью и одежи казенная цифра и обратно — на калеку братана».

Ну, вот — Клашка выгладила рубаху, вынесла ее Степану.

— Гребень-то при тебе ли? Лохматый — вроде в жизни ни разу не чесанный!

— Сказал же: не на свадьбу собираюсь!

Ребятишки ввалились в избу — и свои, и ударцевские. Все глазенки повытаращивали. Тоже соображают чего-то там. Притихли, даром что под окнами только сейчас галдели.

Степан сбросил мятую рубаху, натянул свежую.

Вышли на улицу.

— Тёпло потягивает...— прищурился Степан, поглядев на солнышко, проступавшее сквозь серое пухлое небо.

— А ты как думал? — обрадовался Егорка, что вышли они наконец-то на волю.— В городе я в середу еще был — там уже тает только что не до ручьев.

— Городская весна — для понюшки. Все одно там — от солнца весна либо от камня нагретого. Ни пахать, ни сеять, а нюхать — любая сгодится.

— Ты гляди, городская жизнь — для ее и весна раньше, и лето длиньше!

— Завидно?

— Легкая жизнь кому не завидная?! У меня вон в избушке охотники городские... Шесть часов службу отсидят — и все труды-заботы. И домой придет — кухарка ему уже по воду сходила и дров нарубила.

— А вот скажи, Егорша, как по тебе: будет ли сколько толку от колхоза? И как ты располагаешь: может, колхоз как раз для таких, как ты, и ладят?

— А мне — что? Мне — как всем!

— Тебе, Егорша, нигде худо не будет. Вот дело-то в чем. Ты — от земли, да на крышу, да обратно в назем. Как воробей — тот и комаришку изловчится, возьмет на лету и обратно в назьме покопается. Везде найдет.

— Ну, а ты? Высоко полетать хочешь, чтобы светло кругом было и солнышко бы тоже кругом грело?

— Я — мужик земляной. Мне и светло и тёпло, правда что — шибко глянется, но только на земле. А тебе — это все одно, где тёпло-то. Хотя бы и на помойке, хотя бы и в чужой застрехе.

Может, и не стоило так Егорке говорить, но сказал: вспомнил, что это через него ведь старик Ударцев с ломиком на людей пошел, Егорка его задирал... Как бы не задирал — может, старик бы и не пошел на это, а не пошел бы он — не свалили бы мужики избу под яр.

Егорка же на эти слова обиделся:

— Легкая-то жизнь, она тоже который раз еще тяжельше. Ты вот идешь и печали тебе особой нету. Об

себе только. А я иду — об Терентии еще думаю: ежели на его в колхозе отдельную бумагу заведут, так он глухой-глухой, а поймет — с колхозу отдельно получать! А ведь я его сколь годов кормил, одевал-обувал! Или вот ты — идешь, а я тебя веду и ужо что с тобой случилось — я за тебя в ответе!

— Ты скажи, у кажного сучка своя печаль! — удивился Степан и засмеялся даже. Засмеялся, потом вдруг встал, будто споткнулся обо что-то.— Так ты меня ведешь?

— Как же ты думал?

— Я, значит, под твоим караулом? И уже вправо там либо влево, так ты меня и не пустишь?

— Может, сам-то я и пустил бы, но только нельзя. Не имею права!

— Ты гляди — интересно как! И ведь сроду я под караулом не ходил и в самом деле не крал, не убивал! А еще сказать, что меня такая сопля ведет, мне и вовсе тошно!

— Так не сам же я от себя! Я от власти! Объяснять мне нонче цельный день доводится!

— Ну, ежели милиции нету — ну, мужика прислали бы мне для караула. Фофана там, Нечая Хромого, хотя бы сказать, либо Ударцева-старика с ломиком! А ты?! Да ты сам-то как насмелился? Неужто добровольно? А если я не постесняюсь руками-то твоей морды коснуться? Не побрезгую?!

— За это тебе, Степа, сильно ответить придется!

— Только что дурак ты и есть! Я отвечу, а ты после в Крутых Луках будешь жить либо горевать? Тебе мужики в первую же ночь темную изладят, без окон и без трубы избу оставят, и ребятишек твоих другие все ребятишки лупить будут походя!

— Ну, это было. А нонче все под властью ходят. И опять же — колхоз!

— И колхоз, и под властью ходят, и тебе морду раскровянить так ли еще успеют!

И, повернувшись круто, Степан свернул в калитку. В чью калитку — он подумать не успел.

— Ты — как это?! — метнулся за ним Егорка Гилев и уже в ограде, забежав вперед, встал посреди крыльца с тремя ступеньками.— Стой, говорю!

— В гости надумал! Воскресенье же нонче! — сказал Степан. Взял Егорку под зад, поднял на ступеньки, а потом и в сенки впихнул.

В сенках Егорка уперся было руками поперек дверей, тогда Степан сдвинул ему шапку с головы на лицо и покрепче на нее надавил. Пока Егорка обеими руками от шапки освобождался, он распахнул дверь и так, задом наперед, через порог его в избу впихнул.

— Здорово, хозяева! — сказал он, еще не видя перед собой ничего, кроме помятого, красного и заметно сонливого лица Егорки. — Сладко вам есть-пить! — Отстранил Егорку в сторону и поглядел — кто же тут в избе, у кого он в гостях?

Оказалось — он у дяди Локоткова. Не того Локоткова, который однажды в ночь двух коней лишился, и не брата его, Евдокима, — совсем другой локотковской линии был мужик. Звали его Пётрой и говорили, будто он Степану дядей приходится, но понять, как и через кого родственность между ними происходила, делом было вовсе немыслимым.

Пётра, босый, и в самом деле пил чай, прижимая стакан к бороде, которая росла у него негусто, но вся почему-то вперед, а баба его, Нюрка, в лифчике сидела с ним рядом на прялке и, уронив веретено, глядела на гостей, открыв широкий, губастый рот.

Потом она рот закрыла рукой, отерла его и сказала:

— Дивно вы ходите-то нонче. Ей-богу! Тверезые ли?

— Ты поди облакись! — приказал ей Пётра, и Нюрка поднялась, прислонила к стенке прялку, но в дверях горницы остановилась снова.

— Будто и тверезые...

— Вот Егорша по избам шарится — не подадут ли где изведать! — сказал Степан. — Так ить не подают как есть нигде!

— И ты — с ним?! — спросил Пётра.

— А не видать разве — двое нас?! Егорша-то парень, известно, стеснительный, чужой порог переступить робеет. Ну, я вроде ему в помочь.

— Ну, конечно! — понятливо кивнул Пётра. — Садитесь вот... Самогонки про вас не наварено, а чай — покудова не простыл. Пейте. Белый жир нагуливайте.

И Нюрка, застегивая на себе кофтенку, снова из горницы появилась:

— Садитесь, гости дорогие... Я тебе, Егор Филиппыч, чаю спелого, слатенького сейчас и поднесу! — и глазом на Егорку повела...

Уж эта Нюрка! Ох и Нюрка! Из-за нее мужики в Петрухину избу стеснялись и заходить.

Годов еще пять назад Пётра застал ее с портным. Из беженцев был портной, пришел из России в голодный год и так по деревням вокруг Шадриной скитался — то здесь, то там. На него бы никто и подумать не мог — тихий был, степенный, но вот — случилось.

Портняжку этого Пётра гнал пастушьим бичом по тракту едва ли не до самой Шадриной, а про Нюрку после того с месяц никто не знал, живую ли ее мужик оставил либо нет. Нигде она не показывалась, ребятишек Пётра отвел к бабке и тоже домой не пускал.

Потом Нюрка на людях все ж таки показалась — бледная, годов на десять постаревшая. А потом отошла телом и — скажи ты — повеселела душой.

Бабы ее спрашивали, что-как, она без запинки объясняла:

— Другие от мужиков страдают и вовсе без причины либо от напасти какой, от болезни смолоду помирают. А я хоть знала — за что!

— И не стыдно тебе?

— А что я — даром, что ли, взяла?! Говорю же: едва живая осталась!

И деревня Нюрку простила. Одни только ребятишки который раз ее словом обзывали, взрослые же и поминать никогда не поминали. И еще Нюркино счастье — Пётра мужик был вовсе непьющий, с первого же глотка начинал страшно маяться. С непьющим, конечно, поладить легче.

Прощено-то было прощено, но ведь не забыто. Быль небыльем не сделаешь. И Нюрка, коли и сама сделала бы вид, что забыла,— это притворство получилось бы враз заметное. Вот она и ведет себя с тех пор строго, а в то же время — будто отчаянная. И мужик уже к этой повадке ее приладился, ей подыгрывает:

— За моёй бабой — глядеть да глядеть!

Так они оба уже многие годы шуткуют, а мужики между тем в избу к ним заходить сторонятся. Дело семейное, как порешили между собой — так и порешили, со стороны же глядеть, как это происходит, ни к чему. И Нюрку пытать, в шутку ли она на мужиков глазами играет, а который раз вдруг да и вправду — тоже ни к чему.

Егорка Гилев — этот глупой, что к чему — понять не может... Нюрка вроде бы к нему с первого же слова ластится, а он на Пётру глядит — ему боязно становится, на Степана посмотрит — его оторопь берет. Однако

полушубок скидывает и вслед за Степаном чай пить садится.

Степан с хозяином о погоде разговаривают, Нюрка другого гостя занимает:

— Когда моёго Пётру в расчет не брать, так у нас на деревне и мужиков-то, на которых поглядеть, двое осталось — Степа вот Чаузов да еще и ты, Егор Филиппыч!

Егор молчал сперва, глаза долу опускал, после тоже заговорил:

— Мы со Степой... Степа со мной...

— И то сказать — Степан-то Яковлич на возраст выходит, а тебя, Егорушка, обратно клонит на молодость! Даже и понять трудно! Не обижаешься ли на меня, Степан?

— Ну, кого там обижаться! Видать по всему — так оно и есть!

Ласковость у нее, у Нюрки, в глазах какая-то, и опять же будто она пощады за что-то просит...

Глядишь на нее и обо всех-то бабах в голову мысль приходит. Что, если Клавдия правильно ему говорила, будто мужиков будут из колхоза на работы посылать, а бабы одни в колхозе останутся? Они же друг другу не указ и не управа, они в отделе от мужиков бог знает что могут натворить! После того ревмя будут реветь и, может, вот как Нюрка, объяснять, что «не задаром взяли?» Они вот и ладные и красивые, а сколько об их будет кнутов измочалено, сколько изломано кнутовищ, сколько детишек хватят через них лиха, покуда они свой какой-то бабий порядок в жизни наведут?!

И еще, на Нюрку глядя, об Клашке своей невольно думаешь: вот тут уж верно все, всегда для тебя одного Клашка баба живая, а для всех других мужиков, сколько их есть на свете, она каменная! Это уж так, убей его на месте!

— А я слыхала — председателя колхозу снова будут выбирать! — серьезно так, ласково говорит Нюрка. — Вот бы тебя, Егор Филиппыч, поставить на место?! Не скажу об мужиках, а бабы все руки бы подняли!

— И очень может быть! — вздохнул Пётра. — Может быть, и до такого доживем — как ты на это глядишь, Степа?

Егорка со стакану чаю горячего пьяный сделался.

— Я знаю, Степа-то против будет. Не будет соглас-

[illegible] на меня руку поднять. А почему, спроси его, дядя Петра? Пущай он докажет, что против!

— А ты почем знаешь, что я — против?

— Сказать? Ну вот и скажу сейчас хозяевам-то здесь. И скажу! Ведь между нами как? Я его к следователю веду, следователь приехал, интересуется, почто Ударцева избу мужики под яр спихивали. Вот как мы идем. А он, Степа, и друг, а не хотит со мной вместе идти. Ну вот, поспорили мы и к вам зашли... Рассудить хотели... Я к нему от власти поставлен, а он ко мне — без уважения!

— Как же это ты, Степан Яковлич! — всплеснула руками Нюрка.— И в самом деле, ведет тебя Егор, так ты иди... Кабы он меня повел, так я бы от его ни на шаг! Я бы к Егору Филиппычу — вовсе даже наоборот! А шанежки не хотите ли свежей, Егор Филиппыч? Я сейчас!

Нюрка выбежала в сенки, пробыла минуту какую, и грохнуло что-то... Жалобно так Нюркин голос раздался:

— Кадушку я уронила, мужики! Помогите кто, помоги, Егор Филиппыч, поднять!

Егорка ближе к двери сидел, кинулся помогать. Вдруг «щелк» — и Нюрка на пороге стоит, ключиком на бечевке помахивает.

— Вот, Степа, тебе и ключик — от караульного твоего. Хочешь, выпусти его, а то пущай посидит которое время в кладовке!

— Посидит! — согласился Степан.— Одному мне верно что ловчее по улице идти.

Егорка в кладовой было завопил, Нюрка с порога ему объяснила:

— Не шумите, Егор Филиппыч! Народ прибежит на шум, а тут человек в чужой кладовке нечаянно закинутый оказался! Да мы долго держать тебя не станем... Малость какую только!

И Егорка замолк, тоненько так попискивал, уговаривал не шутить с ним.

Допили чай по стакану, Степан поднялся:

— Пойду, однако...

Пётра согласился:

— Может, и мне с тобой? Я тот раз тоже дом-то ударцевский рушил.

— Надо будет — призовут. Да и не против же советской власти мы дом... спихнули? И не за собственность она нонче держится, власть?

— А Ольга правда, что ли, у тебя в избе с ребятишками?

— Баба привела, Клавдия. После — бездомному не откажешь.

— Об этом следователь тоже, думаю, будет у тебя спрашивать...

— Ему-то не все равно? Не его забота — кормить!

— Бывай! — попрощался Пётра.

И Нюрка рядом с мужиком своим стала, руки на грудях сложила, локтями вперед.

— Заходи, Степан, какое будет время...

А ведь состарилась все ж таки Нюрка — седина уже светится и лоб весь морщинистый... Только он это заприметил, Нюрка вдруг улыбнулась:

— За друга своего не печалься — я с им ласковая буду! Я ему и чаю еще подам в кладовку-то...— и засмеялась. А смеется она — молодеет сразу на глазах.

Шел Степан улицей...

Бывало, раньше, давно еще, думал: на себя бы поглядеть лет через десять, каким будешь... Ломаешь хребет-то, а к чему придешь, чего достигнешь? Какое там — десять лет, хотя бы и на год вперед увидеть, каким ты мужиком в колхозе окажешься? А нынче идешь и даже не так в голову приходит: завтра-то как она к тебе, жизнь, обернется, к мужику?..

С Егоркой же смешно получилось!

А если без смеху, так Егорка этот — вовсе правдишный кулак-эксплуататор. На пашне братана глухого всеми силами эксплуатирует, а другой у него братан в городе заезжий дом содержит, и крутолучинские мужики, и шадринские, и лебяжинские в том доме в базарные дни ночуют, за постой платят. На станции, на железной дороге, Егоркина сестра в собственной лавочке торговала, а Егорка для нее подсолнух сеял, редиску ростил. И сроду нету у него, у Егорки, мужичьей заботы — заработать, о другом он мечтает: урвать бы где?!

Глава пятая

В своей избе и то каждую щелку так не знаешь, как в колхозной конторе на верху фофановского дома.

Правда, знать там особенно нечего, глядеть не на что: четыре стены и все обшарпаны мужицкими спинами.

Тот угол, в котором сидит обычно Степан, слушая,

что говорят кругом,— тоже густо натерт. Дверь красная, овчиной тулупов и полушубков не обтертая. Но голубые цветы на ней от дыма табачного совершенно завяли, поблекли. Ладно, если помнишь, что были они когда-то голубым нарисованы, а не помня — не угадаешь сроду.

Сколько через эту дверь нынче народу в день один зайдет и выйдет — не счесть, а ночью еще и бабы начинают бегать за мужиками своими и ведут их отсюда домой, ругаясь: «Начало колхозу только, а табаку перекурено вами на цельный век. Это что же дальше-то будет — весь же белый свет дымом застите?! Своя-то изба хотя бы и синим огнем сгорит — вам дела нет, табакуры бездомные, безлошадные!»

И только Клашка в контору не бегает. В другой раз, когда под вечер Степан по избе начнет туда-сюда слоняться, она сама ему вроде бы ненароком скажет: «Сходил бы на народ, Степа...» А когда он из конторы возвращается под утро, спрашивает: «Как порешили-то? Народом?»

Еще в конторе стоит стол...

За стол этот совсем недавно фофановская семья с ложками садилась, семь человек: хозяин с хозяйкой, старик со старухой, две девчонки-погодки с одинаковыми косичками и меньший парнишка тоже научился сам ложкой действовать.

После, когда стала здесь контора, Фофан за тем же столом сидел уже без ложки и не с торца, а посередке. Замещал председателя колхоза, за Печуру Павла сидел.

Если Печура был дома — они двое рядком сидели, но было их двое или один — всегда с боков еще мужики умащивались, глядели, как это колхозные дела делаются: как бумажки читаются-пишутся, как печать круглая на них ставится, как делается подпись. И на счеты, на костяшки, тоже, глаз не спуская, глядели: как добро колхозное кладется на них? Кому не интересно?

Другой раз Фофану уже и не пошевелиться, не вздохнуть свободно — в такой тесный круг его возьмут, он тогда начинает шуметь, чтобы отодвинулись от него хотя бы на аршин. Кто-нибудь его обязательно горячо так поддержит: «Правда что, мужики, живой же он тоже Фофан, человек!» Но это ненадолго: чуть время пройдет — его уже снова за столом вовсе не видать, Фофана, кругом одни спины да шапки.

А вот поглядел Степан сейчас на стены конторские, на окна, на стол поглядел и удивился: будто в первый раз видит все это, все здесь ему незнакомое. Потому так показалось, что в конторе сидит один только человек, и человек этот — совершенно чужой, нездешний.

— Садитесь...

Степан по сторонам глянул. Почему: «Садитесь?» Может, он не один в контору вошел? Нет, он был один.

— Садитесь!

Ну, если с одним с ним так разговаривают, то и ему вежливо надлежало ответить:

— Ничего, мы постоим...
— Садитесь!!
— Спасибо. Сядем.
— Чаузов? Степан? Яковлевич?
— Само собой!
— Год рождения?
— Девятьсотый.
— Родились в Крутых Луках?
— Здесь и родился.
— Русский?
— Русские.
— Грамотный?
— Три зимы в школу бегал.
— Женат?
— Женатые. Обязательно.
— Дети есть?
— Куда же им подеваться — детям? Слава богу, живые обои.

...Вот уже и не только о нем — о Клашке, о ребятишках все как есть записано.

— Кем являетесь? Бедняком? Середняком? Кулаком?

Поди-ка, все понимает, а спрашивает, ровно ребенок: «Кулаком?» Да кулаком если бы был, так сейчас перед тобой не явился бы в Крутых Луках — за болотом давно бы уже мыкался.

— Записано было середняк.
— Простой середняк или — крепкий середняк?
— Простой середняк. Обыкновенный, сказать.
— Совсем обыкновенный?
— Вовсе даже...
— Так... Нынче колхозник?
— Вступили...

— Давно вступили?
— С того четверга второй месяц пошел.
— До вступления твердыми заданиями облагались?
— Не миновало.
— Выполнили?
— Выполнили. На тот же день — второе принесли.
О втором, однако, напрасно сказал. Не спрашивали ведь.
— Значит, облагались дважды?
— Можно и так сосчитать.
— И снова выполнили?
— Обратно — до зернышка.
— И в тот же день вступили в колхоз?
— В который?
— В тот день, когда выполнили второе твердое задание?
— Точно чтобы сказать — не упомнил...
А догадливый, видать, следователь-то этот... Такая работа. Не с первым беседует. Сколь перед ним вот таких же мужиков сидело? Он, поди-ка, и сам всех не упомнит!
— Родственники раскулаченные есть?
— Братан. Старший.
— Вы с ним вместе когда-нибудь хозяйство вели?
— Не было. Он как с Красной Армии вернулся, женился и к бабе на Овчинниковский выселок ушел.
— Значит, богатую себе в жены взял?
— Овчинникову и взял. Александру.
— Давно это было?
— Сказать — двадцать пятый год шел. Так и есть — девятьсот двадцать пятый.
— А вы, значит, женились раньше? И тоже из богатых взяли жену?
— Беднее в Крутых Луках не было.
— Как же вы на такое решились?.. А?
— Закурить можно ли будет?
— Нельзя.
— Извиняйте! Привычные мы очень к табаку за разговором.
— Теперь расскажите, как вы разрушили дом Александра Ударцева? Как и почему? Вспомните все подробно.
— Дом-то — он стоял к яру близко. Шагов каких тридцать, может, пятьдесят. Нет, пятьдесят навряд ли и

было. Ну, мы прибегли с пожару-то, который Лександра запалил, и сбросили дом его под яр.

— Дальше.

— Дальше-то он сам пошел. Под кручу.

Тут следователь поднял глаза. Лицо узкое, как у Ольги Ударцевой, а глаза на нем вострые. Вот когда они встретились! Будто даже сверкнуло что-то... Ложком замахивался старик Ударцев — так же вроде сверкало.

Следователь молчал.

И Степан молчал...

Глядели друг на друга... Как на него глядели, так и он глядел. Это уже всегда так бывало: с чем на тебя идут, ты тем же отвечаешь... Бывало, на Лисьих Ямках с голых кулаков начиналось. Первым он с батожка не начинал сроду, но если кто начал — отвечал тем же способом и не мешкая...

— Я предупреждал вас: говорите подробно!

— Я разве отказываюсь?

И еще помолчали.

— Хорошо... Кому пришла в голову мысль сбросить дом Ударцева под откос?

— Пожалуй что, ему же и пришла...

— Кому это — ему?

— Ударцеву. Лександре.

— Он что же — вам об этом говорил? Сам?

— Почто же мне? Всем говорил.

— Когда?

— Да тот же день и говорил. И раньше — не раз. Когда просил его избу на Митрохино бывшее место перенесть. Чтобы изба сама собой под яр бы не свалилась.

— Но ведь это же как раз в обратном смысле говорилось?!

— Оно бы и получилось в обратном, как бы он после того зерно не спалил. А спалил, так избу-то с места тронули, но только уже в другую сторону. Просто получилось-то: лежни под нее были уже подложенные.

— Так вы и понимаете все это дело?

— Не сказать, чтобы я. Все так и понимают.

— Хорошо... Когда после пожара все шли к дому Ударцева, кто шел впереди всех? Кто-нибудь шел впереди вас?

— Двое кто-то шли. Один — подлиньше, другой — покороче.

— А вот другие показывают, что впереди шли вы. Как по-вашему, это что-нибудь значит?

— Конечно, значит. Значит, я со всеми вместе и шел. Только чуток впереди. Все меня видели, а ужо тех, кто впереди бежал, тех, выходит, не видать было другим-то.

— Кто же были те двое?

— То ли Егорка Гилев с кем-то, то ли еще кто-то. Нет, сказать, и не знаю кто. Тёмно было. Они намного впереди были, те двое.

— И вы не посмотрели внимательно, кто же это был?

— Не посмотрел. Не знал, что меня об них спрашивать будут.

— Хорошо... Вы вошли в дом Ударцева. И там старик Ударцев замахнулся на вас ломом. Он имел намерение вас убить?

— Убить? Сроду бы не убил. Зачем я ему? Понужнул с избы — это правильно, было...

— Именно вас Ударцев покушался убить ломом...

— Почто же он меня облюбовал?

— Ну, прежде всего потому, что все выскочили вон, а вы остались в доме...

— А кто же это доказывает, будто он меня убить наладился?

— Все, кто был с вами.

— Так выскочили же все?!

Опять помолчали.

— По-вашему, что же, старик шутил?

— Нет, не шутил. Грозился он. Застращать хотел, чтобы из избы всех прогнать. Кто, может, и взаправду испугался, ему того и надо было. А я взаправду не принял. Как бы принял — тоже выскочил бы. Кому охота под смерть подставляться. Вы подставитесь?

Следователь постучал пальцами по столу, постучал карандашом и снова сказал свое «хорошо». Во всех его «хорошо» — точно можно было сказать — ничего хорошего не было, но тут ему вдруг будто что-то интересно стало, следователю, будто он и в самом деле не знал толком, подставится он под смерть добровольно или не подставится.

— Хорошо... Все выскочили из дома и стали толкать этот дом к берегу. Вы кричали при этом? Командовали? И люди вас слушались?

— Не было. Хотя крику-то, сказать, там было ото всех много.

— Все кричали, а вы что же — молчали?

— Ну какое там — не молчал вовсе. Сказать, так матерился я.

— Были очень возбуждены? Рассержены? Ругали старика Ударцева?

— Про старика-то я в ту же секунду и забыл. На кошку матерился.

— На какую кошку?

— А кто ее знает, какая она была? Тёмно же было. Людей-то толком не видать, а кошка — она же почти что махонькая...

— Почему же вы на нее так? На кошку?

— Она царапаться со мной взялась.

— Откуда же она появилась? Вдруг?

— Верно что — вдруг. Должно, с вышки свалилась.

— И — прямо на вас?

— Прямо на меня и угадала.

— Так вы, может быть, и не толкали дом?

— Раз-то успел. А тут она на меня. Ну, я и обои руки кверху — срывать ее с себя.

— Поцарапала? Сильно?

— Овчину поцарапала, а до шкуры не достала.

— На спину она вам спрыгнула? С вышки?

Степан провел рукой по плечам своего дубленого полушубка, расстегнул на нем еще одну пуговицу...

— На голову она мне пала.

— Покажите шапку!

Степан поднялся — шапка лежала под ним на стуле. Протянул шапку следователю:

— Правое ухо где — там и глядите. Там она и царапалась.

Шапка мехом была наружу, а матерьялом подшивалась когда-то снутри. Годов ей было, припомнить, десять, около того. За эти годы и Полкашка ее трепал, и кошка в ней ночевала когда одна, а когда и с котятами, с выводком.

Следователь повел на шапку глазом, но в руки брать не стал. Спросил снова:

— Значит, старика с ломом вы не испугались, а с кошкой всерьез воевали?

— У старика пущай и вовсе старое, а понятие. Он бы что сотворил, поцарапал бы кого — вы бы сейчас статью под его подбили. А с кошки какой спрос? Опять — она вдруг. Ты об ей и подумать не успел, а у тебя уха нет. На живом-то они, кошки, очень злые делаются

Другой раз ребятишки балуются и закинут кошку на корову, а того хуже — на коня, на лошадь, сказать... Так ведь беды же не сберешься!

— Хорошо... Ну, а кто-нибудь видел, как вы кошку эту с себя сдирали?

— Не скажу. Может, кто и видел. Опять же тёмно было. Ну, а слышать-то, верно, все слышали — она дивно как взревела.

— Значит, вы и дом толкнули один только раз? А потом занимались кошкой?

— Правильно-то сказать, так она на мне занималась. Ну, а после, как она ускакала, я побежал еще раз дом пихнуть. Он уже над яром висился, дом-то.

— И толкнули второй раз?

— Не удалось. Успел кого-то в спину, а тот уже руками и до стены доставал.

— Кого же вы толкали? В спину?

— Со спины-то я не узнал — кого. Тёмно было. Суматошно.

— Припомните. Постарайтесь.

— Постараться-то — так Николая Ермакова, однако. Однако, его. По голосу поминаю — он заругался еще: дескать, я его тоже следом за избой под яр пущу. А может, и не его вовсе.

Вдруг следователь снова поднял от бумаги глаза и тут же провел по глазам рукой. Он это так сделал, будто глядеть ему больно стало, но еще что-то он все-таки увидеть обязательно хотел.

— Теперь послушайте меня, Чаузов,— сказал он. И гладко, вроде по писаному, но негромко вовсе говорить начал: — Почему вы ото всего отказываетесь? Воевали с кошкой — больше ничего? Но ведь, кроме этого, было что-то? Как было? Почему было? Я думал, что дело обстояло таким образом: старик Ударцев хотел вас убить, а вы после пожара, на котором тоже едва не лишились жизни, спасая колхозное зерно, не сдержали себя, почувствовали в старике своего классового врага и призвали разрушить его дом. Это нарушение, непорядок, потому что никто не дает вам право уничтожать собственность — государственную или частную, все равно. Но это в тех обстоятельствах и не тяжкое преступление, если принять во внимание, что разрушение дома было ответом на поджог, ответом на покушение на вашу жизнь со стороны классового противника. Так я думал. Ну, судя по вашим ответам, вы спасаете Ударцева-отца

от справедливого наказания. Вы не видите врага даже и в Александре Ударцеве. И еще скажите: это правда, что в вашем доме нашла пристанище Ольга Ударцева с детьми?

— Ночевала.

— И еще будет ночевать?

— Ее об этом не спросишь. А сама обещалась до теплой дороги жить. После к родственникам уехать.

— Объясните: почему именно в вашем доме жена Ударцева нашла убежище?

— Клавдия ее привела. Баба моя. Очень она жалостливая баба.

— Ну, а как вы сами на это смотрите? Это очень серьезный для вас вопрос: как сами смотрите?

— Смотрю-то как? А вот спросить надо: хотя бы в вашу избу, в дом ваш, женщина зайдет с тремя детишками — вы ее на мороз обратно выгоните либо как?

— Спрашиваю — я. Отвечаете — вы. И только в том случае, если мой вопрос непонятен вам, вы имеете право еще раз меня переспросить.

— Вот он мне и непонятный, ваш вопрос. С тремя ребятишками бабу выгоните ночью либо нет? Зимой?

— А зачем вам, собственно, знать, как поступил бы я? Я бы прежде всего не стал разрушать дом Ударцева, но разве это что-нибудь меняет в вашем деле?

— Люди ведь мы. Интересно, как человек на твоем бы месте сделал. Ученый. Который за тебя думает...

Опять они встретились глазами, и следователь спросил:

— Может быть, вы приютили Ольгу Ударцеву в благодарность за то, что она спасла вас? Ведь это она выбила ломик из рук старика?

— Да уж какие там бабы спасительницы, когда мужики дерутся?

Снова молчал следователь. После сказал:

— Вот что, Чаузов, сейчас я буду беседовать с другими людьми, а вы обождите. Подумайте: по-прежнему вы станете выгораживать старика Ударцева или нет. Подумайте.

Следователь встал, и Степан тоже встал и пошел было к выходу, но вдруг следователь остановил его:

— Нет, не сюда... Некоторое время вы побудете вот тут! — и, поднявшись из-за стола, распахнул узенькую дверцу за печкой.

Эта дверца вела со второго этажа фофановского до-

на первый и давно уже была заколочена — с тех пор, как Фофанов отдал верхнюю половину дома под колхозную контору. Но для этого случая ее открыли. И Степан ступил в маленький закуток перед лестницей.

Дверь закрылась за ним. Лестница была завалена разным фофановским добром: койка деревянная, тазы какие-то старые, кадушки, сундук, две ребячьи люльки — и Степан опустился на пол, цигарку стал завертывать. Страсть хотелось курить!

Было как после драки: сначала подерешься, после вспоминаешь — что почему произошло, кого ты побил, кто тебя достать сумел...

Теперь он о следователе вспоминал, о нем думал. Какой человек? Какой жизни? Что ему от Степана надобно? В какой угол следователь этот загнать его хочет? Чем пришибить?

Подумалось почему-то — живет следователь в каменном доме, высоко, под самой железной крышей... И как об этом подумал, так сразу же на следователя обозлился.

Ты скажи, какой нашелся судья! Нашелся кто — об мужике думать, мужика учить! Нет, ты в избушке об мужичьей жизни подумай, не в избе, а в избушке — на пашне, которая из земли мало-мало торчит, в которой крестьянин от снега до снега и весну всю, и лето, и осень живет, на топчане жердяном, а то и просто на соломе блохам на радость ночует! Поешь хлебушка в ней, когда земля-то у тебя и в глазах, и в ушах, и на зубах с тем куском перемалывается! За конями походи день и ночь, чтобы робить на конях и еще их же силу беречь, а об своей — чтобы недосуг было и подумать. Вот тогда и погляди, как ее, мужицкую жизнь, ладить, кто в ней правый, а кто виноватый!

Это один как бы такой был учитель. А то приходит время — другой такой же к мужику является, другой его учит, какая у тебя баба — и о том допрашивает. И третий так же. И пятый. И десятый. Сколько их за жизнь-то перевидишь, учителей этих, переслушаешь?!

Ну, ладно, приходят... Говорят. Уговаривают. Стращают: «Вот какой ты, мужик, неправильный, а правильный — вот такой должен быть!» Ладно, сказали свое. Сказали — и уйдите бога ради с глаз, уйдите, дайте срок!

Мужик все от вас услышал, все запомнил. Есть у мужиков Ягодка Фофан, и Нечай Хромой есть, и Печу-

ра Павел — чудной, говорливый, на ребятенка смахивает, но он же и партейный, в правду верит, он в Москве Ленина видел, хотя бы издаля, но живого!

Еще сказать, есть у мужиков Чаузов Степан, помоложе других, в разговор входит мало, но и соврать кому не даст. Егорка Гилев будет путаться, мельтешиться, так на его раз цыкнуть, а то и пинка ему... После того дайте мужикам подумать. Дайте им самосаду накуриться, не тревожьте их, не мешайте — они тоже для чего-то жизнь живут, головы на себе таскают! Они в колхоз вошли — они и уладят в колхозе как-никак дело. Они Ударцева дом под яр сбросили, так дай ты им подумать, они и надумают: другой такой же с печкой, и с лежанкой, и с подполом за три дня миром сладят. И все тут. Но следователю уже на дом наплевать, не нужен ему дом, ему куда важнее — кого бы засудить? И вот с шумом, да с гамом, да с угрозой запросто можно мимо настоящей правды проскакать, в сторону от нее метнуться... Покажи ты ее, правду, коли учен, но после дай ее запомнить, к ней прислушаться... Правда, она же, поди, не стежок либо батожок, чтобы ею один на другого замахивался, в морду ее любому и каждому совал?! Мало того, пришибить вовсе зря можно какого человека до смерти, мало того — стежок-то крепкий, однако и он ломается! Почто ты во мне, в мужике, вражину ищешь, а коли не нашел, то на меня же и в обиде?

Но учителя эти из городских каменных домов, железом крытых,— один наперед другого стараются выскочить. Один был — у Пётры Локоткова останавливался, тот со своей ложкой приезжал, вроде кержак какой, мужицкой посудой брезговал, а доклад об том, как мужику жить, тоже говорил и кулаком по столу на которых единоличников тоже стукал!..

Вот и сейчас скажи ему, следователю: было вот так — пожар первым полез тушить, и дом ударцевский первым полез рушить, и Ударцев-старик вправду убил бы его ломиком, как бы не Ольга,— попробуй скажи? Он ту же минуту к этому былью небыль пришьет, что после вовсе будет не понять, что к чему, и еще всю эту небыль на тебя же запишет — будто ты, а не он ее выдумал. Нет уж, не было ничего, и все тут... К ничему ничего и не припишешь, не пришьешь...

Пущай поморгает глазами-то своими под стеклышками, к мужику подход поищет! Тоже ведь — русский

человек, хотя и ростом не вышел, а русский; дед ли, прадед ли его от земли был, сохой ворочал. После выучился кто-то в роду, городским стал, городских ребятишек народил, а у этого уже весь белый свет ни в руках, ни в ногах — в голове одной заложен, головой он за все на свете держится, выдумывать — работа его.

Что за человек?

Может, он — Егорка Гилев, только городской? Мужицкого Егорку за версту учуять можно, а городского? Ученого? Какой-никакой мужик, а две или три десятины сеет и уже не зря землю топчет — себя кормит, свою семью и еще кого-то чужого. А этот?

Сидел Степан на полу в клетушке фофановской, цигарку за цигаркой крутил, курил, что уже и света через окошко в клетушке этой не видать стало...

Где они, те люди, в которых всего в самый раз поровну? На какой земле родятся? Какой едят хлеб?

Снова вызвал к себе следователь: «Пройдите!» Снова на том же стуле и на шапке сидит Степан Чаузов, а за столом — человек махонький, личико сухощавое, френчик на локотках штопанный.

Сидят они двое, и почто бы в самом деле не сказать им друг другу все, что в мыслях имеют? Что взаперти, в клетушке, в табачном дыму только вот сейчас Степан Чаузов удумал? Что человек во френчике штопаном в эту минуту думает?

— Где, по-вашему, может быть сейчас Ударцев Александр? — спросил следователь.

Степан поглядел, подумал, ответил:

— Не сказывался он мне...

— Так... А вы как думаете: чем он сейчас занимается, Ударцев? Снова поджигает? Грабит? Убивает?

— И об этом обратно не сказывал...

— Я и не думаю, чтобы он кому-нибудь об этом говорил. Я спрашиваю: как вы предполагаете?

— Ну, кто его знает... Вернее всего, лакеем каким поступит либо золотарем.

— Почему вы так думаете?

— Совесть нечистая — что ему остается? Угождать всем и каждому.

— Лакеев теперь нет. Нет этой должности в нашем государстве.

— Такой — найдет. Все подряд обнюхает, а найдет. На бабью работу наймется — полы мыть, с чужих исподнее обстирывать.

— А все-таки — считаете вы его врагом Советского государства?

— Такому одну поднесть пошибче — и нету его...— Показал кулак: — Хотя бы вот и такую одну.

Следователь усмехнулся, отодвинул на край стола бумагу и карандаш, сказал вдруг по-другому как-то, ласковее:

— Вот видите, Чаузов, я не записываю больше ничего. Просто хочу с вами поговорить. Ближе познакомиться... Вы газеты читаете?

— Читаем.

— В избу-читальню ходите?

— Изба-то от нас — на другой край деревни. К тому же избач обратно уполномоченным служит, редко когда на месте, все больше на службе.

— Где же вы читаете?

— В избе и читаем. Только — в своей.

— Значит, подписчик газеты? Круглый год?

— Круглый-то год в крестьянстве не получается. Пашня да покос — за газетку нет расчету платить. А зимой платим, почта приносит.

— Это интересно...

— Когда бывает — действительно интерес. А когда, сказать, и не очень вовсе. Тут в одной газетке я шешнадцать разов про вредителев читал. Какой же это интерес, что и честных людей вроде не остается?

Следователь ничего на это не сказал. Подождал и спросил:

— А неинтересную газету вы что же — на цигарки или показать соседу?

— На цигарки. А вот на двор с ей пойти — этого нету. Не заведено.

— Почему же не заведено?

— Работа чья-то. Писано-печатано. Да и в бумагу белую тоже, поди-ка, поту немало пролито.

— Хорошо... Ну, а как вы, Чаузов, живете? Как, например, питаетесь? Сытно ли?

— По сю пору питался кажный день.

— А чем? Скажем, мясо вам хозяйка каждый день варит?

— Сырое — ни единого дня не ели...

— Так... Так-так... Еще один вопрос. Если не захотите — не отвечайте. Вам советская власть нравится?

— Как сказать-то... Власть-то — она не девка, чтобы нравиться. Но и так понять — и без ее нельзя. А

пониншяя — она против других выходит вроде получше. Который бедный — помогает тому. Жирному далее жиреть не дает. Ребятишек учит. Получше бы еще — тоже не плохо бы вышло, но и так бы жили... покеда.

— Покуда... А дальше — как?

— Коли с умом будет делать, мужика через колено не станет ломать — и дальше жизнь пойдет.

— Как вы считаете: кулаков правильно выслали из Крутых Лук? Село у вас зажиточное. Старожильческое. Кулаков немало...

— Которых вовсе правильно. У кого коней, сказать, десять — тому колхоз один убыток. И он сроду убытку того не простил бы, тут уж так — либо он, либо колхоз. Она их еще в девятнадцатом годе стращала, кулаков, советская власть. Вышло — не зря.

— А вы помните девятнадцатый год?

— Не забыл...

— Что же вы делали в девятнадцатом году?

— Разобраться — так воевал.

— Вы же в гражданскую в армии не служили?

— А я без армии воевал.

— Партизан?

— Может, и так.

— Я знаю всех партизан в районе. Вы в списках не числитесь.

— Ну, кабы только те и воевали, которые числятся, так ее сроду бы и не было — советской власти.

— Предположим. А в чьем же отряде вы были?

— А с Христоней Федоренковым мы воевали. На пару.

— Вдвоем?!

— Больше вдвоем. А который раз и единолично.

— Объясните. Как же было дело? С самого начала?

— Началось-то с пальца с Христониного. Он не захотел Колчаку служить, на призыв к ему идти, ну и отрубил себе палец на левой. После ходил все в Шадрину на пункт призывной и за других мужиков назывался. Писарю едва ли не каждый день четверть самогону таскал. У их там порядку мало, ему и удавалось — многих освободил... Мне девятнадцать как раз годов стало, он и меня освободил, несмотря что ему в ту пору сорок было верных. После его застукали, посадили, под расстрел приговорили. Они-то его приговорили, а он-то убежал, да еще и пулемет с припасом из Шадриной угнал. На ихней, на колчаковской, телеге и угнал. Правду ска-

[illegible], партизаны очень пулемет у его просили, [illegible] не послушался, за свой палец сам хотел головы [illegible] кам посшибать. Ну, взял и меня и тоже к энтому [illegible] приставил. Мы с им ямку в бору выкопаем, чтобы и травинки не нарушить, после, как по линии состав с [illegible] ками идет, мы — огонь. С паровозу и, бывало, [illegible] го хвоста. Либо обратно рассудим — [illegible] роте с хвоста начать, то на паровозе машинист [illegible] не сразу смекнет, в чем паника. Покуда состав остановится да колчаки врассыпную бор прочесывать [illegible], мы пулемет в той ямке схороним, сами на [illegible] скую телегу... А который раз они и не останавливают поезд свой, шибче шуруют, о нашем нападении [illegible] проводу передают. Ну куда нас угадать?! Он [illegible] я под хромого выдавался, кому-то мы такие нужные. Через неделю-какую пулемет из ямки выкрадем и [illegible] с другого места сызнова начинаем. Мы с им, с [illegible] ней Федоренковым, да-алеко по бору подавались, [illegible] припас к пулемету вышел, мы его партизанам отдали. Так вот было...

— Интересно было...— кивнул следователь.— Ну, а почему же все-таки вы воевали с Колчаком? Из-за чего?

— Как из-за чего? Он же удумал, чтобы я ему служил! А я и вовсе энтого не хотел. Вот мы с им и стакнулись! Опять же он как удумал, Колчак: отымать у мужиков. Скотину. Коней. Хлеб — и тот отымать. Мужики — сопротивляться. А он их — шомполами. Мало того мужиков — баб шомполами. Вот куды зашло. Ну и обратно стакнулись с им... Мужик ведь он — как? Как с ним, так и он...

— Стакнуться — это значит сговориться... Так в русском языке...

— Как сказать... Я вот скажу, будто мы с вами седни стакнулись, а вы уже сами понимайте...

И вдруг следователь усмехнулся. Недолго, но усмехнулся, ладонью по столу ударил, а после обеими руками за стекла свои очковые ухватился.

Степан усмехнулся тоже. Хотел себя остановить: «Держись, Степа, востро, себе верь, больше никому!» — но не остановился и засмеялся тоже.

Оказалось вдруг — об жизни, об том, что и как в этой жизни бывало, они очень просто могли разговаривать. Даже интересно было вспомнить и вспомянуть, объяснить. В Крутых Луках сроду так не приходилось

там и без твоего рассказа каждый все об тебе знал, и ты все — об каждом. Не пристает к нему больше Юрист, не выведывает, не учит и не стращает. Просто сказать — слушает.

— А советской власти ведь служили? Она тоже в армию призывала... — не спросил даже, а сам вроде бы себе сказал следователь.

Можно было и не отвечать на эти его слова, но Степан ответил:

— Видать же было — власть сурьезная. Своим народом обходится, без японцев, без всех прочих белых. Не на день власть — жизнь с ей ладить. Ее еще при Ленине, сказать, при живом, сколько разов в Крутых Луках судили, а она с подсудимой скамейки чистая выходила...

— Это как же — судили? Судили власть?

— Ее... Мужику из партейных вопросы задаем — почто спичек-серянок нету и одежи, мази колесной и про посла советского в Турции — кто об чем. Прокурора приставим, и опять же — защита всякий раз назначена. Бывало, кто зайдется от крика: лампу негде взять, карасина, стекла лампового на десять линий... А зачнем голосовать — и оправдаем власть. Не на стеклянные же десять линий ее судить и мерить?! Она же — за справедливость и мужика понять обещалась...

— Я думаю — не только мужика. И рабочего тоже понять...

— Вроде так. Однако у рабочего руки, а у мужика — руки и хлебушко. И еще сказать: рабочего на мужика никак не перековать, а с мужика завсегда рабочий класс делался.

— Ну, положим. А что же советская власть должна прежде всего о мужике понять?

— Понять-то что? Выше сознательности с его не спрашивать. Сколь мужику втолковали, сколь он сам понял — столь с его и возьми. А выше моёго же пупка прыгать меня не заставляй — я и вовсе не в ту сторону упрыгну.

И опять было ладно, опять было хорошо. Удивительно, как разговор повернулся. А не разговор же это был — все-таки был допрос. Не надо бы об этом забывать...

И только Степан об этом подумал, следователь спросил его:

— Так как же, Степан Яковлевич, дело-то было с Ударцевым? Я ведь по-разному это могу истолковать.

Или вы отомстили Ударцеву как своему классовому врагу, или, наоборот, простили ему поджог, а Ударцеву-отцу простили покушение на убийство, приютили у себя Ольгу?

Все снова враз на полный допрос обернулось. Снова за столом напротив не простой человек — следователь возник. Ю-рист. Служащий. Человек этот из городского каменного дома под железной крышей обратно по-своему заговорил.

Скажи ему, что Ударцевы, и сын, и старик,— враги, он сейчас спросит: зачем Ольга в доме у него? И забьет, забьет вопросами и застит все дело бог весть какими придумками!

— Коли по-всякому можно толковать, то и вовсе толковать не к чему...

— А все-таки — как же было?

— Так что и не было ничего. Дом спихнули, но и то сказать — мы, мужики, гуртом того натворим, что одному после сроду не рассказать.

— Не рассказать?

— Даже ни в коем случае...

Следователь на край стола руку протянул, бумаги подвинул:

— Подпишите протокол, Чаузов.

— А прочитайте сперва, как написано?

Написано было вроде все ладно — лишнего ничего и про кошку рассказано. И вообще пустяк какой-то: кто-то на кого-то ломиком замахнулся, кто-то кого-то толкнул, а тот уже дом пихнул под яр.

Подписался.

— Писать-то мы не шибко часто пишем. Редко когда...

Про себя подумал: «Однако ладно получилось: ничего не было...»

И на улице, у крыльца, когда мужики Степана окружили, стиснули так, что и не продохнуться, стали спрашивать: как, что? — он им тоже ответил:

— Отбился я вроде бы, мужики. Нонче отбился!

Глава шестая

Удивительные были у Степана кони...

Он и на колхозный баз не ходил, не глядел на них, какими они там без хозяина стали. Чтобы душу им в себе не терзать.

Но ведь мимо своего-то двора не пройдешь?! Свой-то двор и колхозником — все равно не минуешь!

И вот каждый раз, в избу ли, с избы ли, а они тебе двое мнятся, два меринка, немолодые уже, разномастные,— Серко и Рыжка. Будто на старом своем месте все еще в ограде стоят, сено жуют.

Они росту были разного, а вот поди ты — ходили в одной упряжке, будто вместе в ней и родились!

Нрава тоже были совсем разного: Серый — нетревожный был конь, на нем верно что молоко возить и не расплескаешь, и к работе очень пристрастный, в хомут мордой так и суется, но ума, сказать, в нем не очень-то было.

Рыжий, тот рыжий и был, верно что хитрюга, росту маленького, только у него и забот, что свернуть куда-нибудь с дороги.

Но это они каждый сам по себе, а вместе — как одна душа об восьми ногах, вместе они друг перед дружкой старались в любом деле.

И ежели один дома был, а другой с пашни возвращался — ржать начинали друг дружке едва ли не от поскотины, а когда два или три дня до того не виделись, так лизались после и нюхались до той поры, пока оба на брюхо не лягут и мордой в морду не ткнутся.

Людям бы так жить между собой... А то иной раз на коней глядишь, а злость на людей берет: конская душа против человечьей лучше выходит. Может, и тебе надо было конем родиться да к хорошему хозяину угадать — вот тебе и жизнь?

К такому хозяину, как тот крутолучинский мужик Чаузов Степан. И очень просто. Этот коня сроду не обидит, напоит-накормит вовремя и ночью проведает, а стегнет когда кнутом под брюхо — так за дело. Зря — никогда. У такого любой скотине живется легко, он скотину скрозь видит и понимает. Самого себя не понимает. Который раз и вовсе на себя незряче глядит. Но и тут другой мужик на зло сорвется и на скотине свою незадачу выместит, а с Чаузовым со Степаном этого не бывало.

Ей-богу, перед своими же конями бывало даже стыдно, хотя бы потому стыдно, что, на них двоих глядя, он всегда о третьем мечтал, недоволен был — почему третьего нет коня? Третью он кобылу завести мечтал, прикидывал, с кем бы она ходила в паре — с Рыжим либо с Серко?

Трехконный — это уже был в Крутых Луках мужик стоящий, не как все. С тремя-то конями уже и на заимки уезжали, и по тракту извозом промышляли, уже жизнь начиналась с трех коней другая.

Сказать по правде, до трех коней он еще не дорос хозяйством, и денег у него не было таких на добрую кобылу — молодую, рабочую и на выезд годную, но он сам себе не очень-то любил признаваться, что тонкая у него кишка.

Он сам себе по-другому объяснял: с тремя конями, чтобы толком управиться, двух мужиков нужно. Ждать нужно, когда парнишки подрастут, и чтобы старший в школу бы не бегал, не терял бы время.

А сейчас, пока ребята малые, купить коня — это значит Клашку на другой же год в старухи загнать. Это так и есть — ей бы уже дома с ребятишками не сидеть, а на пашне в избушке жить, мужицкую работу работать вроде вдовы какой.

И Клашка об этом знала и помалкивала, когда он, бывало, о кобыле речь заводил, а он Клашку кобылой этой который раз припугивал: «Вот куплю, а тогда шкура-то у тебя на мослах тот же год натянется!» Он вроде шутил, а про себя знал: были бы деньги — купил бы кобылу, и пропала бы с Клашки ее гладь, а мослы верно что торчали бы из нее со всех сторон. Уж это как пить дать.

Удивительные у Степана были кони...

Их уже нет, месяц, как свел в колхоз, а зайдешь в конюшню — жизнь к тебе правдишная тут же притронется, зараз напомнит, что мужиком ты родился и, что бы там ни случилось, мужиком тебе и помереть, никем больше. А делать-то в конюшне вовсе нечего — разве что давить ногой остатний и мерзлый конский катыш.

Вот и нынче стоял так-то, стоял, после подумал: куда бы пойти? К Фофану бы пойти сказать, чтобы Фофан его за сеном нарядил, может, как раз угадал бы на своих конях за сеном съездить?

А получилось по-другому: к Фофану не пошел и за сеном не поехал, а у себя же на ограде зашел в мастерскую.

Сказать, какая это мастерская — амбарушка перегороженная. В одной половине сбруя когда-то висела, которая и сейчас еще там висилась, кадушки стояли из-под капусты выпростанные, тесины сухие лежали, выдержанные на случай, чтобы всегда были под рукой. А

другая половина амбарушки и называлась у него мастерской, и ключ от нее хранился отдельно от других ключей, чаще всего — при себе.

Там верстачишка был небольшой, с тисами, мех кузнечный, горн и наковальня, молотки были, точило доброе, еще отцовское, с Австро-Венгрии отцом после войны принесенное, ну а по стенке развешан инструмент столярный, шорный и для жестяной работы.

Еще на стенах мастерской этой нарисованы были углем значки разные и цифры выведены. Это запись всяким размерам велась. Чего тут не было только отмечено и отмеряно: донышки к ведрам, и подошвы к сапогам, и каблуки были нарисованы от Клашкиных шнуровых ботинок, и табуретки, и стулья, и полозья санные, и колеса самые разные.

Все эти предметы когда-то побывали здесь и отсюда ушли, а знаки об себе на стенах оставили.

Откуда она пошла, мастерская, с чего взялась — сразу и не скажешь. Бывало, приезжали в Крутые Луки мастеровые — портной либо шорник по выездной сбруе, жестянщик или коновал,— Степан сейчас к тому хозяину идет, у которого мастеровой на работу подрядился.

Приходит, на корточки садится. Цигарку за цигаркой скручивает, но и когда крутит — на свои руки глаз не опустит, а все на руки мастера глядит, оторваться боится. Все кажется, как раз в тот миг, как глазами-то своими в сторону поведешь, тот и сделает свой секрет, фокус какой-то. Не заметишь его, проморгаешь, после сколько голову ни ломай — не отгадаешь, как сделано было.

У Клашки щи простынут, она их в печь, и обратно на шесток, и снова в печь, после Васятку за отцом пошлет, но толку от этого мало: они и вдвоем так же сидеть будут. На этот счет Васятка был отцом приученный.

Бабы над Клашкой который раз посмеивались: «Не приворожила, видать, мужика-то к дому!» Клашка злится. Однако и у нее есть чем пригрозить: «Подожди вот — придешь дырку на ведре залатать!» И верно, прохудилась жестяная посудина, либо баба зазевалась, когда белье полоскала на Иртыше, и валек у нее водой унесло — куда деваться? К Чаузовой Клавдии и бежит, а та уже Степану шепнет: «Сделай, Степа, одолжение человеку...»

И надо сделать. Чтобы Клашка поменьше ругалась, когда он инструмент какой новый купит. Этот инстру-

мент — стамески, рубанки и еще сколько разных предметов — каждый имел свою историю, о каждом вспомнить можно было — когда, у кого и где куплен был, лишнее за него было плачено или дешевле цены, долго ли его покупать собирался, прицениваЛся либо с ходу взял, потому что глаза вдруг разгорелись. Что Клашка после покупки такой делала — ругалась или только чугунами сердито стукала — тоже можно было вспомнить. Клашка все ж таки чаще ругалась, обзывала его ребенком, что и без игрушек обойтись не может, даром что сам двоих ребятишек народил... Который раз глаза обещалась выцарапать, но тут надо было помолчать. Какая она хозяйка, ежели ей все равно, куда мужик деньги подевал? За это не тронь. Не то она как раз пойдет и другим бабам о несправедливости, об обиде своей скажет. А это не дело. Это уже какая семья, какой мужик, у которого баба на сторону бегает жаловаться? Хотя Клашка и не болтливая, но испытывать ее тоже ни к чему...

Вот так он и приживался, инструмент, к дому.

После к инструменту этому Степан свои рукоятки прилаживал. Фабричных и вообще чужих рукояток никак не терпел — неловкие они все были, не с руки ему. Со своей рукоятью инструмент делался вроде продолжением его пальцев, а глаза вострее как-то на работу глядели. Ломалось что в поле — валек либо постромка рвалась, а он их наскоро прилаживал и привязывал просто так, без инструмента — он тогда вроде полузрячим становился либо калекой каким и ждал, не мог дождаться, когда в мастерскую свою зайдет, когда возьмет в руки инструмент и сделает, как положено.

Бывали у него на инструмент и обиды. Редко, но бывали. Это когда он о кобыле мечтал, о третьем коне.

Не купленые, так и оставшиеся в магазине сверла и наборы стамесок делались ему тогда вовсе добрыми и справедливыми, а вот свои, за которые деньги плачены, — эти лукавством оборачивались: как бы не они, может, и в самом деле копил на кобылу? Уже половина могла бы быть скоплена, а вдруг и больше того? Но тут один уже был исход: бери инструмент и начинай что-то ладить, а тогда и обида — прочь. Еще в таком случае хорошо было послушать, как на улице Клашка с бабами разговаривает: «Что это у тебя, соседка, каблук-то скособочился? Заставь ты своего мужика либо новый сла-

дить, либо энтот починить. Или он у тебя безрукий, мужик-то?»

Что и как делается, каким инструментом — в это Клашка не вникала, но если сделано было хорошо, так она видела, что хорошо, гладила новую вещь, которую Степан изладил, ровно ребенка, и будто ненароком каждому, кто в избу входил, ее показывала.

Нынче Степан уже сколько времени инструмента не касался. Приходил в мастерскую, глядел на него, сказать — так и любовался им, в руках держал, а работать не работал. Все думал: в суматохе в нынешней начнешь какое дело, да так его и не кончишь. Ну, а ежели ты конца дела не видишь, не болеешь, чтобы и хорошо и быстро сделать, то и начинать стоит ли?

Вот успокоится жизнь — тогда. Новая начнется. Колхозная так колхозная, лишь бы успокоилась, а тогда он сразу подойник кончит. Начал уже, заготовку из оцинкованной, очень хорошей жести сделал, но получилось неладно как-то — донышко совсем кривое получилось, на один бок его повело. Он донышко это тот раз бросил и заготовку всю и пошел в колхоз записываться.

С тех пор, сколько сюда заходил, донышко на полу лежало под верстаком, он его не поднимал.

А тут — поднял.

Край-то в одном месте был обрезан неровно. В этом месте он себя не узнал — вроде не его работа была.

Заложил ножницы одним кольцом в тиски. Другое кольцо в правую руку взял, а в левую — новый жести кусок с донышком нарисованным... Ну не промазать бы! И не промазал!

После в печурку дровишек подбросил, умостился так уютно на чурбаке, стал края у донышка отгибать.

А это еще надо поглядеть, чего ради он в мастерскую свою закрывался — хорошую вещь сладить, а может, который раз и хороший придумок...

Предметы, которые он изладил в мастерской, на стенах свои значки оставили, вот какие складывались здесь придумки — те значками не обозначены. Жаль.

Ежели бы на каждой вещи было видать, что человек думал, когда ее ладил,— и вся жизнь человечья по-другому была бы делана. Тут бы предметы тоже поделились на добрые и на злые, и злые никто бы не брал ни на базаре, ни в магазине, разве что в полцены. А, к примеру, Егоркино зерно — ни одна собака бы есть не стала. Волей-неволей перестали бы люди пакостить.

Тут разное приходило ему в голову, в мастерской, и который раз кто из мужиков зайдет, на пороге потолкается, подымит и уйдет, придумки же свои только здесь оставит.

Последнее время с Митей-уполномоченным подолгу они тут сидели. Парнишка еще, но, может, потому с ним легко и говорилось, что парнишка. У взрослого за словами-то вдруг да и корысть, а у этого что может быть? Если даже и неверно скажет — все равно не для себя это у него. Сказать, так и дружба даже была между ними.

И пошла она вовсе с чудного случая, дружба эта.

Жил Митя уже недели две у Чаузовых, на сундуке в кухне ночевал, баульчик свой фанерный держал за печкой, а сядет за стол щи хлебать — на Клашку не глядит, глаза воротит.

Ну, ладно, это бы его дело, а тут Клашка один раз стиралась, за стол сесть опоздала. И только села — Митя глаза свои сразу в пол. И не поднимает. До того сидели они, о хозяйстве вели разговор, поскольку Митя в техникуме на агронома учится, а тут срезало его — замолк.

А Клашка на Митю глядела-глядела, после ложку свою бросила и розовыми от стирки пальцами вцепилась в кудрявые Митины волосы. Сердито так сказала ему:

— Ты куда глядишь, уполномоченный? И что ты увидишь, где тёмно-то? Для чего тебе глаза дадены, спрашиваю, чтобы на свет их выставлять либо по темному шариться?

Митя вовсе краской занялся, вроде Клашкиных розовых рук сделался.

— На кого же мне смотреть прикажете, Клавдия Петровна? На вас, что ли?

— А хотя бы и на меня! — ответила ему Клашка. — Темная я, что ли? Или уже до того раскосая, что и глядеть на меня тошно?

Вот она, Клашка, какое сказала Мите, и тут он совершенно уже смешался.

Мало того что смешался Митя — что-то тот раз и Степан подумал: «Рассмотреться, так Митя и в самом деле парнишечка — куда с добром. Чистенький. Разговор городской. Приятный очень. Грамотный. Мужицким потом от его не пахнет...» И припомнил даже, что Клашка-то не в первый раз уполномоченного вот так по во-

…сикам кудрявым треплет, и еще стал вспоминать, какие прежде того слова были Клашкой ему сказаны...

Ладно, что не высказал тогда Клашке какого слова, что не догадалась она, об чем он задумался. Ладно, что не сказал — все про себя да про себя. Прошло еще сколько дней, ложились они спать, и вдруг Клашка спросила:

— Степа, ты не примечаешь ли, Васятка-то наш с тобой на уполномоченного Митю очень похожий? Только что не кудрявый?!

— Выдумываешь ты все, Клавдия. Откуда что берешь?!

— Ты не перечь. Матери виднее, как тебе: не с лица, говорю, похожий, а с души. Ласковый вроде, а когда и вовсе упрямый так же. И сидит-сидит, после задумается вдруг. Одинаково у их получается... Нет, ты мне не скажи, очень похожие они...

— Ну, а хотя бы? Что из того?

— Тебе-то, может, и ничто. А я с Мити глаз не спускаю — Васятку хочу угадать, какой Васятка будет... И Васятка-то к ему тянется, все на его глядит. Так пускай и он хорошее видит. На дурное-то успеет еще наглядеться.

Вот у нее, у Клашки, какая, оказывается, была забота!

И ты скажи, как раз с того дня у Степана с Митей и дружба завязалась. У них и прежде всегда уважительный шел разговор, серьезный, а после того Митя в мастерскую стал захаживать, и сидели они там немало времени. И Митя Степана слушал терпеливо, и Степан — Митю.

У Степана слова были всякий раз одни, могли бы и надоесть, оскомину уже набить.

— Мужик сеет-пашет,— Степан говорил ему,— скотину водит. Ребятишек родит. Но по тебе, Митя, это все не так. Не та у мужика жизнь — темная, земляная. И хочешь ты мужика нарушить. Раз и навсегда нарушить хочешь его. А — не рано ли? Откудова ты знаешь, что пора для того настала? Поломать — завсегда просто, а что заместо того выдумаешь? Какую правильную жизнь? Чтобы человек и сытым был и знал бы, зачем живет? Точно это тебе известно? Что мужика надо нарушить, а колхоз сладить? Дело тут без обмана? Без ошибки? Потому что, поимей в виду, мужик — он земле хозяин. Она ведь как сделала, советская власть: не толь-

но что в Сибири — во всем государстве землю оставила за мужиком... Ей все одно, земле, какие тут слова, Митя, мы с тобой говорим... Ей дай хозяина, чтобы он ее пахал и миловал... Вот она, лежит сию минуту под снегом, вроде мертвая. Скоро таять зачнет. Отчего это? Ты скажешь: от солнца... А я скажу еще и другое: от дум от мужицких, от забот его.

— Вы детям своим желаете ли такой же жизни, как у вас? — спрашивал Митя.

Нет, не хотел этого Степан. Детям он хотел жизни лучшей. Тем более Митя говорил, какая она должна быть: справедливая вся, все будут грамотные, и машины будут за мужика тяжелую работу делать... Но машинами кто завладеет, тот и кулаком станет, а другие — у него батраками. Выходит одно — коллективно владеть машиной, то есть создать колхоз.

Сказать надо, метко ударял Митя-уполномоченный, хотя и мальчик. После еще говорил о комбайне: машина жать, и молотить, и веять будет. Комбайна Митя не видел сроду, и никто его не видел. Но как завод строят в Новосибирске, чтобы комбайны делать, это он видел своими глазами. Еще сказать, что и в газетке об том заводе не раз напечатано было — можно Мите поверить.

Время такое пошло — машинам вольная жизнь наступала. И опять же — за счет мужика.

Крутые Луки еще держались, из Крутых Лук, может, с десяток мужиков, не больше, в город подалось заводы строить, в леспромхозы — лес валить. А вот Лебяжья деревня, да и Шадрина тоже — те за год-два едва не ополовинились, землю там побросали мужики.

И вот как выходило: и оправдания тем суматошным мужикам Степан не находил, и комбайн очень его интересовал, вовсе близко к сердцу мечта западала — поработать бы на таком!

Когда Митя-уполномоченный о комбайне начинал говорить, Степан умолкал враз — боялся слово пропустить, не понять что-нибудь...

Клашка сказывала: видела нынче Митю в деревне. Приехал. Приехал, но в дом к Чаузовым не заходит что-то. Или стесняется, народу нынче много в доме стало, мешать он будет? Так зашел бы за баульчиком за своим, баульчик лежит за печкой, хозяина ждет... В мастерскую зашел бы...

А вот носок у подойника отогнуть — это самое, надо сказать, серьезное дело, тонкая работа... После ...

ободок по нему изладить, вовсе ровный, чтобы от фабричной работы отличить было невозможно, а тогда ты, значит, мастер.

Еще не все было сделано, но уже чудилось: упрекать себя не придется, все, как надо, так и получится.

Щепки в печке железной потрескивали, тепло стало в мастерской до того, что и без полушубка пот со лба на железо закапал. Железо было доброе, цинкованное, чисто серебро искрилось. Пот, капелька, упадет на него и этак даже звякнет — дз-зинь! — тоненько.

Вдруг дверь открылась — Печура Павел.

— Откудова взялся? — спросил Степан. — Мы уже и забыли, какой у нас председатель колхозу!

— Ну вот, ко времени, значит, пришел — об себе напомнить. Погляди, какой он есть, твой начальник!

А глядеть-то и не на что вовсе: он всегда-то был таловый мужичонка, Печура, — длинный, тощий, а нынче еще обшерстился по самые уши, вроде худобу свою хотел прикрыть, но ее не прикроешь — с одного места нос торчит хрящом, с другого — скулы выпирают, и зубы торчат тоже, редкие, клыкастые, как начнет говорить — они наружу суются. Руки — едва ли не по колено и туда-сюда болтаются. Но и то сказать, нелегкая эта работа нынче — председателем ходить. Хотя и до кого доведись, тоже мослы торчать станут скоро.

Пришел Печура узнать про все. Как амбар тушили, как избу Ударцева рушили, как следователь Степана допрашивал.

Пришел узнать все это не от кого-нибудь — от баб либо от Егорки Гилева и даже от Фофана Ягодки он уже обо всем этом знает, — а еще хочет узнать от Чаузова Степана. Не то чтобы они дружки, вовсе нет, но разговор между ними всегда бывал серьезный, хороший. И сейчас на такой разговор надеялся Павел.

Только нынче Степану все дела эти до печенок дошли, страсть осточертели, и говорить о них он не будет ни слова...

Павел туда-сюда, все в одну сторону метил, расспрашивал, а Степан помалкивал. После сам у Печуры спросил:

— Ну, как ты там, в городу? Доклады все постигаешь либо уже сам научился перед народом выставляться?

— Во-во-во! — вроде обрадовался Печура. — Сказать, так я передовой самый председатель считаюсь!

— Как же достиг-то?

— А просто. Что нам говорят в районе — я то же самое, только громчее, повторяю. Довольные остаются. Говорят: сознательный председатель, все как надо понимает.

— Ну, а что же ты все ж таки понял-то?

— Без колхозу, Степа, жизни все одно не будет.

— Не будет?!

— Никогда, Степа. Обратного хода нету.

— И долго вы об этом будете говорить? Об одном и об том же?

— До весны. До самого, сказать, посеву. Я сперва, как, может, и ты, думал: деревенское это дело — колхозы. Но не так выходит. Выходит, и в городе этим занимаются. Ну, зачнем пахать-сеять, тогда уже, конечно, сами по себе станем. Может, и вызовут на заседание в месяц, а то и во все лето раз. А в остальном — не им же судить, в какую землю и кого нам сеять, каких коней в плуги запрягать, а которых — в бороны! На то у нас хотя бы и Фофан есть Ягодка, чтобы правильно в хозяйстве рассудить. И другие. Вот и твой, Степа, взять совет во внимание — разве грех? Это вовсе не надо глядеть, будто ты молодой... Я уже и не чаю всей этой посевной кампании, во сне ее вижу.

— Ну, глядеть — так мое дело десятое. Это тебе распоряжаться, а мне сполнять, и весь тут закон. Все! — Постучал Степан молотком по железу подольше, подождал, покуда Печура Павел головой, мохнатым кочаном своим покачал, упрекнул кого-то.

Когда стучать перестал, Печура и в самом деле упрекнул:

— Во-во-во! Умный ты, Степа, а сказать, так и дурной! До весны-то, до посеву, все слова уже будут высказанные, а тогда мне с председателева места и уходить в самый раз. Уходить, коли я крутолучинским свой, а не враг. А какой же с меня враг — сроду нет! Я дело исделал — созвал народ в колхоз. Сам знаешь, день и ночь по избам уговаривал всячески. Год который пройдет, колхоз на ногах зачнет жить, меня тоже не забудут как первого самого агитатора нонешних, еще темных масс. А забудут — я обратно не в обиде, пущай бы только люди оправдали подход к новой жизни. Я, Степа, не обидчивый на людей — сроду нет.

Степан вовсе перестал стукать, положил молоток на верстак. Спросил:

— Это ты, значит, сам об себе рассудил?

— А кто же, как не сам? У меня понятиев много, Степа, и совесть есть — силов нету... Вот пашня пойдет, у которого колхозника плуг вкось зайдется, я ведь у такого плуг-то не вырву, не показать мне, как борозду-то прогнать по ниточке. Это тебе запросто. Ну, а ежели и поломка случилась — опять же тебе раз глянуть да раз — руку протянуть, а мне? Мне, гляди, делов на неделю.

— Ну, сказать тебе, Павло, оно так и есть. Правильно ты об себе говоришь. Фофан-то Ягодка как вступил в колхоз — с того самого дня он и есть правдишный председатель, а не ты.

— Фофан, Степа, тоже негодный для этого. Насовсем — негодный.

— Фофан? Ягодка? И негодный?!

— Нисколько даже. Кроме как на первый случа́й. Не более того. И опять же добрый он слишком, Фофан.

— Ты, Павло, вконец заговорился в городу-то. Вот как!

— И ничуть. Он ведь, Фофан-то, правда что, ежели поутру споткнется где об ягодку — то после цельный день об ей думать уже будет. Мало того, и прибежит еще к ей помиловаться разов десять на тот же день, как не более.

— Значит, коли пристрастен, то плохо? И добрый — обратно плохо?

— Который раз — очень даже. Он, Фофан, все бы уговаривать. А где заставить — там его нету. Я по себе знаю — век добрым был, ну и что? Какой из меня хозяин? Какого там я добра-то нажил? Только что и толку — дожил до перелому к новой жизни. Дождался. А то бы и не знал, зачем жил, чего делал. А тут не об моем добре идет — об добре общем. Тут хозяин нужен вовсе правильный!

— Один тебе злой, другой добрый очень. Хозяин-то...

— Правда что. Очень к этому, к колхозу, мерку надо подбирать хитрую. На мужика мерка прежде не мерянная, но и другой теперь у нас нету — по чей находить надо человека.

— В городу поищи. Там на любой, сказать, аршин, на любую метру.

— Придется, Степа. Своих не найдем, то придется. Только я считаю: найдем одного. Крутолучинского. Вот тебя и найдем, Степа. И определим.

[illegible] по железу снова постучал дробно. Громко [illegible], вроде колокольного звона на пасху.

— Слыхал? Вот так я тебе, Павел, и скажу: мне в [illegible]ари идти и то сподручнее.

А на Печуре звон этот как за упокой отозвался, он долгое время молча стоял, руки сложил на груди, вроде перед покойником. После к Степану вплотную подошел, в лицо ему задышал:

— Не до смеха, Степа. И обратно скажу, вовсе не до смеха. Ты понятие за колхоз имей, ты почуй — голова-то на тебе — не за себя только ее носить, а и за других тоже. Ты не об том сейчас думай: хорошо ли это либо плохо — колхоз, а об том, как в ем лучше исделать, в колхозе. Он есть уже, и он будет, ни ты, ни я от его не уйдем. Я по совести с тобой, Степа, и ты единого слова во мне не найдешь, чтобы не по совести было. Я тебя, Степа, уважаю очень, хотя ты и вовсе против меня молодой, а завсегда я думал, что таких мужиков поболе в государстве, как ты,— и мы любому капиталу, сколь хотят, столь наперед очков и дадим!

— Ты покуда совестишься, меня, гляди-ка, следователь ужо и засудит.

— Во-во-во! Дурной ты, Степа, хотя и умный. Сказывали мне: следователю доказывать взялся. Он тебе подсказку не дает ли, как отвечать? Дает, поди-ка, а ты свое гнешь. А ты соглашайся, Степа. Говорит он: «Виноватый!» — ты враз и соглашайся, повторяй за им: «Только в этом и виноватый, а более — ни в чем!» Да кто нонче не виноватый? Колхозником-то чистеньким никто покамест еще не родился, а все его требуют, всем его подай. Не подал — вот и виноватый. Тут бы перешагнуть скорее через период времени, до весны, сказать, когда сеять будет дело, а не между собой царапаться, а дальше и пойдем, и пойдем, и пойдем — до самой до счастливой жизни!.. Вот как ты рассуждай! Как человек, для колхозу очень нужный. На тебя же другие глядят и не просто глаза пялют — ждут от Чаузова правдишной работы, думают: раз Чаузов в колхозе — этот ворочать будет. Он будет, и я за им. Ведь пуще всего боятся — никто не потянет наперед; кажный думает: мне не боле других надо, хребтину-то свою до времени на печи поберегу. А об Чаузове об Степане такого в мыслях нет ни у кого. И не может быть.

Степан промолчал. Печура же поболтал длинными своими руками, спросил:

— А может, ты уже и понимаешь про это, Степа? А?

— По мне, этот придумок вовсе зря.

— Зря ли? Мне говорили: пожар-то был, ты наперед всех пошел в огонь.

— Ну и что? Я и на Ямки вперед всех бегал. Не от ума же это — скорее с дурости.

— Не скажи. Не скажи, Степа. Твоя бы изба горела — ты бы ребятишек вытащил, еще какое добро, а потом и в сторонку отошел бы. Пожалел бы себя за лопотину, за бабьи ухваты тратить. Один бы горел — один добро свое спасал, один бы и сам спасался. А тут общее зерно горело, и ты, наперед кинувшись, того не забыл, что не один ты, что за тобой и другие в огонь-то полезут. И ведь верно, полезли ведь...

Подумал Степан. Вспомнил, как было дело на пожаре. И как в избе Ударцева Лександра было. И как он себя после упрекал, что дурнее его не нашлось везде наперед лезть.

— Кто его знает, Павло... Кто его знает, ходишь по земле-то — аршин при себе не носишь, чтобы как шагнул, так и смерял. А то сказать — как смерял, так и шагнул бы.

— Верно — аршин такой никем еще не выдуманный. А сказать — так и сроду никто из людей до такого не додумается. Но и без ума жить — тоже негодно. И за тебя я боюсь, Степа, шибко боюсь, как бы ты, умный, без ума чего не выдумал... Фофана-то Ягодку я вот уже в город заместо себя услал — пускай посидит, доклады послушает... Ему — в пользу. Он ведь, Фофан-то, тоже умный и хозяин, особенно взять в саду — куда с добром, а случись какая политика — он ту же минуту ровно ребенок замешкается.

— И, значит, ты его от греха — в город? Гляжу я, Павло, на тебя — ты и в самом деле прошел курса́ на председателя!

— Высокие, Степа, прошел я курса́... Я ведь не только как мне говорят, так и слушаю — я еще и гляжу кругом-то себя глазами. Зорко гляжу. И как бы Ю-рист этот не взял тебя уже под следствие — я бы и тебя тоже на какой период времени из Крутых Лук нарядил бы подальше.

— Обратно — в город?

— Не-ет... Доклады слушать — это, прямо сказать, Степа, — тебе не по силам. Вовсе нет. Я бы тебя да вот

сле и Нечая Хромого — в лес нарядил. Лес чтобы вы рубили под новую-то колхозную конюшню.

— А хозяин ты верно что таловый, Павло... Тут как раз дорога бы потаяла, и мы бы в том лесу, двое мужиков здоровых, до самого до тепла с боку на бок кантовались бы.

— И хорошо бы, Степа! И очень аккуратно получилось бы! Той порой Клавдия твоя с Ольгой вдвоем пожили бы, а ты бы, хозяин, и знать об этом вовсе ничего не знал. И Ю-рист тебя не спрашивал бы. И никто тобой не интересовался бы до самого до посеву. Это ли — не аккуратно?!

Опять поболтал длинными своими руками Павел Печура. Руки у него длинные, тонкие, не крестьянские вроде руки — не ухватистые. Переселенцами были еще его дед и бабка с Белоруссии, и все они от земли, а вот скажи, не земляной он человек, Павел, не на крестьянскую колодку деланный. Где другому на день работы — Печура верно что три с утра до ночи пластается, а толку — чуть. Над ним и не смеялся никто в деревне, только когда пошел он по дворам за колхоз агитировать, тогда засмеялись: «Печура-то хитрый, шельма, оказался — ему с его руками да с ухваткой как раз чтобы другие поробили!» И получился из него агитатор наоборот. А потом вот как было: председателей со всех деревень в город каждый божий день стали вызывать, когда и неделю не выпускали их из города, от бани до бани... Завыли председатели, и в которых деревнях мужики в колхоз согласны, а председателем никто не хочет. Один из Лебяжки из деревни бросил печать колхозную и убежал невесть куда, как тот поджигатель Ударцев Лександра. И то сказать, какой это мужик, что и дома не живет, а все только доклады в городе слушает? Ведь с этих докладов свой двор начисто разоришь и колхоз весь тоже запросто — после людям в глаза не посмотришь. С докладов хлебушко не родится. А Печура Павел тут-то и вызвался добровольно на председателя и действительно из города не вылазил, доклады слушал и до весны сидеть и слушать обещался безропотно. Терпеливо долю свою нес, а ведь у него, у вдовца, ребятишек двое было — мальчонка и девчонка.

Любил же он ребятишек своих — это пуще, чем другая баба любит, а вот скажи, сидел за весь колхоз в городе, домой не заявлялся.

Ребятишки его измаялись окончательно. Телка им

кормить нечем, самим жевать нечего, в школу сбегать не в чем. Какое там в школу — на двор выскочить, так они сперва печурку растопят да ноги накалят, покуда кожа терпит,— после уже с горячими-то ногами им и на снегу полегче.

А еще нашлись злыдни — стукались им по ночам в окошки, грозились малуху завалить.

Ладно уже бабы восстали, объявили, коли заметят этих пугал, то будут судить их своим бабьим судом и для начала глаза выцарапают, а ребятишек печуровских, хотя и худо и бедно, стали прикармливать.

Нет, не было в Печуре в Павле корысти. Не было вот ни на столько! Прислонился он к верстаку, голову опустил. Видать, по привычке: в малухе своей привык гнуться, ну и приходил куда в помещение — опять же сгибался, хотя бы до потолка рукой не достать было. Стоял молчал, на Степана глядел. Неловко становилось — на ребятенков так-то смотрят, да и то на сопливых. Видать было — что-то еще хотел сказать Печура. Долгое время собирался. После заговорил:

— Мечтаю я, Степа, об Крутолучинском колхозе и днем и во сне непрестанно. Мечтаю еще так: чтобы ты был за председателя, Фофан — хозяйством бы заведовал, а я — партейными делами всеми. Я бы через партейный взгляд, через бо-ольшую идею вас усматривал бы...

— Ты гляди, усмотритель какой! И для чего же это тебе нужно?

— А это не мне, Степа, нужно. Это — тебе нужно. Я бы через год, разве только чуть поболее того — тебе бы уже и партейную рекомендацию писал. Для вступления.

— Рассудил! Просто как!

— Не просто, Степа... Сделать этакое с тобой — вовсе не просто. Но — ясно, как.

— А как же это?

— Да делать в колхозе все правильно. Все — по справедливости. И тебя на ту же справедливость наталкивать. А тогда через год — ты тепленький будешь партеец. Ну, если не полный, так кандидат — обязательно... Вот какая у меня мечта... А теперь спрошу я, Степа: верно ли, что следователь-то об Ольге Ударцевой у тебя выспрашивал,— почто она у тебя в дому оказалась?

— Было...

[illegible], и правда, куда бы ее в другой дом. Родственники же у ее в Крутых Луках живые?

Об этом разговору между нами нету, Печура. Как все случилось — обратно не повернешь.

— Степа,— сказал снова Печура тихо, шепотом даже.— Степа, я вот ребятишек рóдных не жалею. Рóдных ведь.— И еще раз повторил: — Рóдных.

— Ты вот нонче мне же обо мне объяснял, Печура. Было? Объяснял, какой мужик Чаузов Степан?

— Это конечно. Не завсегда человеку самого себя запросто видать.

— А того не поймешь — что другому, может, и можно, то мне нельзя?

Ушел Печура Павел незаметно как-то, после уже снова просунул в мастерскую непокрытую кудлатую голову.

— Ты подумай, Степа...

Глава седьмая

Вторник только еще, а ребятишки Ольгины уже вовсе прижились к чужому дому. Старшая девчонка и та попривыкла. Балуются. Другой раз приходится и шумнуть на них, словно ты им отец родной. И Клашка на них нет-нет тоже шумнет, и ее они слушаются, а меньше всего им забот, что мать говорит.

Ольга с Клашкой любую работу в четыре руки делают, да еще им девчонка помогает.

Ольга как обещала на санках привезти муки куль да картошек два — так и привезла. Привезла и все, видать, собиралась Степану сама, не через Клашку, объяснить об себе, что и как: что до теплой дороги думает жить, что к родственникам своим в Крутых Луках нельзя ей идти. Еще видать, слышала и она, что следователь Степана об ней допрашивал.

А какой между ними может быть разговор?

Сказать правду — надо ей хоть куда, а деваться вон из чаузовской избы.

Ну, а ежели ей об этом не говорить — так лучше не говорить с ней ни о чем. И молчал Степан, и Ольга тоже молчала.

Статная баба Ольга, белая, глазищами вокруг себя водит медленно и вроде все-то понимает, а еще на нее поглядеть — будто она морозом за душу прихваченная.

не вскрикнет, не поторопится, против Клашки так и не живая вовсе.

И почто она за шелудивого мужичонку пошла, за Ударцева Лександру? И как он бросил такую и ребятишек, будто щенят, чужому подкинул?

Какая же это жизнь была в том дому ударцевском, который под яр спихнули?

Все думы да вопросы. А надо было бы подойник окончательно довести до дела. Невеликая работа, а начатая — бросить ее нельзя. И после завтрака сразу Степан направился в мастерскую, но тут мимо двора прошел улицей Нечай Хромой и крикнул через прясло:

— По сено, Степа, нонче наряжают колхозничков. Давай, Степа, по сено...

— Постой, Нечай! — крикнул вслед ему Степан.— В избу забегу, велю бабе краюшку какую завернуть и подадимся вместе! Постой!

Нечай, покуда мимо прясла ковылял, цельный доклад сказал:

— А за постой, Степа, только вон сторожу в сельпе платют, да солдатам ихняя пайка идет, покуда они столбами стоят. Коли хошь — беги со мной, поделимся напополам моим куском.

Степан в сенки забежал, сорвал с гвоздя тулуп, веревку взял подпоясаться, крикнул Клашке, чтоб не ждала скоро, а еще вилы-тройчатки захватил. Догнал Нечая, сказал, запыхавшись:

— Допрежь — как человек: коня запрягаешь, бывало, после в сани бросишь, что надо, понужнул и поехал. А нонче все наоборот — сперва на баз колхозный со всем припасом беги, после запрягать. До того чудно — в ум не возьмешь!

И верно, шибко неловко было идти: в тулупе не побежишь, он за спину через плечо закинутый и с плеча падает, ты его рукой обратно да обратно, другая рука — вилы тащит, а еще по тебе веревка болтается, вроде на кобелишке каком худом. Хозяин с кобелишки шкуру наладится обдирать, а тот едва живой вырвался и с веревкой на шее по деревне тягу дает. Понять нельзя, кто ты есть — мужик ли, или погорелец какой, или еще сказать, беженец окончательный с самой России прибежал? А ведь привыкать этак-то надо — на колхозный баз со всей своей сбруей и с припасом каждое утро пороть...

Из которых окошек бабы выглядывают либо с коромыслами по улице идут — глаза в сторону воротят, будто не замечают тебя. Правда, что срамота! Но и то сказать, мужики-то при чем? Сами, что ли, выдумали этак вот по деревне в сбруе бегать?

Нечай молчал, и Степан его спросил:

— Обратно на колхоз будешь лаяться?— Очень ему хотелось, чтобы Нечай слово какое покрепче высказал.

А Нечай дух перевел и ответил:

— А на его хоть весь изլайся, на колхоз,— все одно тебе в ём жить и кусок с его зарабливать. Вот как.

— Это тебя кто же научил? Нешто Фофан?

— А тебя кто? Нешто Ю-рист?

— Меня — никто.

— То-то ты со мной на пару хлещешь, вроде настеганный.

Еще пробежали сколько, Нечай снова сказал:

— Вчерашний цельный день слушал, как ты все по железу-то звяк да звяк. Чего ладишь?

— Бабе подойник. А что, скажи, тебе-то?

— Как это что? Лед-то вот-вот тронется, а сено-то за рекой! А ты все бряк да бряк — и заботы тебе другой нету.

— На то есть Фофан, чтобы нарядить за сеном...

— Ну, ежели мужик Степа Чаузов без наряда не смекнет, что нонче делать надобно, тогда, правда что, весь крутолучинский колхоз седни же в могилу закопать и в самый раз получится!

— И этот на Чаузова Степана тоже кивает! Что Печура Павел, что Нечай Хромой — одного нашли ответчика за крутолучинский колхоз!

Еще другие мужики, увидев Нечая со Степаном, вслед за ними на баз побежали.

Конюха же на базу никого к коням не пускали — встали двое поперек дверей и у каждого кнут в руке, а из конюшни другие двое уже захомутанных коней выводят и кому повод в руку сунут — тот уже не имеет права от коня этого отказываться, идет и запрягает в сани. Сани длинным рядом повдоль прясла выстроены и какие с краю оказались — в те и запрягай без разговору, хотя бы они коню и вовсе по росту не приходятся. Запряг, отвел в сторону, после того начинай все снова — договорились, что каждый на трех поедет. Ну, которые мужики все ж таки надежды не потеряли хотя бы и в чужих санях, да на своих бывших конях съездить —

водят коней в поводу, кричат, что меняются. Базар так базар. Место перед базом тесное, кони ржут, мужики лаются.

И — по-разному лаются, коней всячески обзывают.

— У-у-у, гадюка бесхвостая!

— А ко мне — толстомордый угадал! Найбольший хомут до зенок достает, далее не лезет!

— У меня другой край: не конь, одна задница. Холку шшупаю-шшупаю — не найду! Впору седелку за хвост цеплять.

— Так вы, ребята, сложитесь — кольхоз и получится! Хомут есть на что надеть, зад есть, чтоб кнутом полоскать, а середкой в кольхозе разве заботятся? Год минул, как никто ей не интересуется!

— Эй, мужики! Правую переднюю гнедой масти никто не подбирал? Меринишка чей-то потерял, после того мне на трех достался!

Однако запрягли таким манером все, одному только чересседельника не хватило, так Степан веревку свою, которую подпоясаться взял из дома, отдал. Веревка заместо чересседельника как раз и пришлась, ни рубить ее, ни надвязывать не надо. Поматерились еще сколько и поехали.

Степану Егорки Гилева кобылешка угадала, а других два коня позади у него было, тех даже и не признал чьи. Не стал разглядывать, а то как раз начнешь своих Серого с Рыжим искать.

Когда ехали улицей, один дорогу ему уступил и другой, поглядел Степан — и уже впереди всех едет. Ну, ладно, коли так.

Встал в рост. Тулуп сбросил, в полушубке остался. Шапку покрепче надвинул и воротник поднял. Ногами ловчее к саням приладился, одну ногу вперед, другую чуть назад, и обе малость в коленях согнул, вроде бы на пружины стал. Попробовал — крепко стоит, надежно.

Два пальца в рот заложил, духу набрался — свистнул, как следует быть. Кобылешка гилевская сжалась вся, после рванулась, он ее еще два раза кнутом пожарче вытянул. Рукавицу только успел на руку надеть — и тут вот он, взвоз к реке. Взвоз этот Ивановским взвозом вовсе зря и назывался, он крутой был очень и по нему только вниз ездили, а вверх да с грузом совсем другим поднимались местом, от деревни в сторону, зато удобное было то место, пологое. По Иртышу выше.

Кобылешка наметом шла, задними копытами по передку саней хлестала, от саней и щепки летели, но и то сказать — и на своих конях так-то приходилось тут ездить, и от своих саней тоже, бывало, щепа летела.

По этому месту вниз да на простых — иначе крутолучинские сроду не ездили; про того мужика, который здесь шагом спускался, говорили, что он коней боится. Здесь «тпру!» не кричали.

Поворот был там впереди еще один на спуске, очень вредный поворот... На своем бы Сером либо Рыжем Степану его минуть — раз плюнуть, а эта кобылешка, язви ее, чего доброго, испугается, на дыбки перед обрывом надумает встать, а задние кони навалятся, и это уже точно — все внизу будут... Чтобы кобылешка такого не надумала, Степан ее еще раз кнутом вытянул и гикнул погромчее, и она уши прижала и уже вовсе по-собачьи скокнула...

Вниз с обрыва снег посыпался, и с дороги ошметки полетели, воротник ими тоже зараз набился до отказу, но теперь Степан уже и назад поглядывал — как там, не сорвался ли кто под кручу? Но это уже известно — первый проехал, а другие кони идут по следу, только их не дергай, не понужай. И мужики не дергали и не понужали, а завернувшись в тулупы, лежали в санях, их там, ровно мешки какие, из стороны в сторону подбрасывало.

По льду, по ровной дороге, тихо-мирно поехали.

Уже с другой стороны Иртыша Степан назад глянул. Всех своих надо было обождать, чтобы не врозь, а гужом дальше, в глубь острова, к стогам тронуться.

Подводы растянулись чуть что не от берега до берега, но задние торопились, догоняли передних.

А вот версты, видать, за три выше по Иртышу обоз с сеном уже шел в обратную сторону. Вот на тот обоз Степан как глянул, так и глаз оторвать не мог.

Там, ниже, калманские со своих лугов уже возвращались груженые. Калман — село от Крутых Лук считается двенадцать верст, но то считалось только, а верных пятнадцать было, грань же и на высоком берегу, и на лугах была у них общая. Луговая грань вовсе была у крутолучинских под носом, только драться там было неловко с калманскими: снег на лугах лежал и неловко ходить. Драться бегали на Лисьи Ямки, на суходол.

Нынче калманские везли сено со своего дальнего участка, и как везли: подвод, может, пятьдесят, того

больше, одна за другой шли, и даже вроде бы скрип от них сюда слышался...

Такие обозы с новобранцами и то не собирались. Далеко, а видать, как вблизи, только что кони все кажутся в одну масть, и росту все одинакового, и головами трясут — тоже как одна... Воза — вот они, легко сказать, который больше, который меньше, дровень только не видать под ними, лошади будто прямо по снегу по гладкому, с ледяной искрой, возы эти волокут.

Мужиков не сразу видно, они на возах распластались, наверху, и, должно быть, в небо глядят, глазами-то наперед в таком обозе глядеть незачем, а вот на одном возу посередке обоза, ты скажи, умостились сразу трое, а один так все время руками машет, ровно жук какой. А догадаться можно — это один доказывает, а двое слушают, посменваются, верно, над ним, не соглашаются. Может, там свой Нечай либо свой Фофан о колхозе доказывает. И даже сомнений нет, что так оно и есть. Этак вот по всей Сибири сейчас мужики колхозные перед ледоходом свое еще единоличное сено из-за рек с лугов спешат увезти, и вот так же спорят, и вот так же на возах лежат, в небо глядят либо, в сено уткнувшись, думают...

Об чем думают — ясно.

Однако они, калманцы, сегодня рано управились за сеном съездить — как при единоличной жизни. А обоз силен, велик у них верно, что глаз от такого не оторвешь.

Они, калманские, далеко не каждый год на свои луга дорогу топтали, крутолучинской пользовались. Через тот пологий спуск и ездили по сено, от Крутолучья верстах в трех по Иртышу. Крюк у них выходил верст семь, может, и десять, но и то сказать, взвоз был удобный, и дорога эта всегда была куда лучше накатана: крутолучинские по ней не только по сено, а еще и по дрова всю зиму ездили в бор, за реку.

Разминулись нынче обозами, а то как тут рассудили бы, кому в снег с дороги свертывать? Крутолучинским? Так они хозяева, по своей дороге едут. Калманским? Они груженые. Тут бы слово за слово начали, а уже чем бы кончили — это господу самому богу неизвестно.

И как ехал Степан Чаузов на передней, то как раз с него обратно же все должно было начаться и получиться.

А [illegible] вот как — те едут в эту [illegible]
[illegible]

Сразу, когда все свои до кучи на берегу [illegible] собрались, кто-то догадку высказал: может, знают калманские стожок с крутолучинским [illegible] ли и едут, надсмехаются? Может, на двух [illegible] рельке сбегать, следы на снегу проверить, а [illegible] покуда здесь, на берегу. На тот случай, может, если калманских догнать придется, сено [illegible] ды всем подряд хорошо разукрасить?

А еще кто-то высказался, что и ждать нечего, и [illegible] ды глядеть незачем: время не теряя, догнать калманских, возов с пяток крайних с заду у них отбить — и квиты...

Когда стали слушать, кто же это говорит,— это Ероха Тепляков оказался, мужик вовсе смиренный, сроду не драчливый, и щуплый вовсе.

У него спросили, что это он вдруг? Ероха [illegible]

— Так ить, мужики, у их кольхоз и у нас кольхоз, может, в остатний раз по старому обычаю только и посчитаться?..

А ведь, помимо всего прочего, он, Ероха этот, всей душой за колхоз стоял.

Все ж таки вспоминать стали, кто кому в последний раз вред изладил и чья нынче очередь? Ежели очередь калманских, так они случай такой вряд ли пропустят: ордой едут, народом, и себя в силе чувствуют.

Вспоминали-вспоминали и, скажи ты, не вспомнили: жизнь нынешняя которые дела вовсе от памяти отшибла.

А Степан сказал, что навряд ли все ж таки калманские хотя и ордой, а с крутолучинским сеном и по крутолучинской же дороге поехали бы. Навряд ли. Они бы тогда напрямик подались, не поглядели бы, что прямая дорога мало топтана. Они бы ее, дорогу, покуда тут на простых ехали, запросто своим обозом протолкали бы.

Ну, как сказал это — не стали больше вспоминать, кто кому обязан, путем дальше тронулись...

Тронулись, а Степан стал думать о калманских мужиках. Деревня Калман — куда беднее Крутых Лук, калманские мужики новоселов со всей России принимали, а народ, скажи, там дружнее. И с колхозом там волынки нету, как в Крутых Луках.

Проехали неподалеку от грани — верно, калманские

около крутолучинских стожков и близко не были. И то рассудить: какая это задача всем обозом стожок либо два увезти? Похвастаться вовсе нечем. И опять же — перед кем? Всей же деревней тут были!

Ну и ладно, что калманских не тронули.

Как это получается: собираться всем ехать — коней разбирать на базу да запрягать — правда что маета, а уже поехали да взялись работать — сроду каждый по отдельности того бы не сделал, как все вместе сделают!

Рассудили, кому в какой конец острова ехать, и к каждому стожку втроем-вчетвером приступали. Это удивление просто, как на четырех-то вилах стожок тает! Одни в розвальни мечут, а другой уже по снегу к следующему стожку тропку топчет... Кони вовсе недовольные оставались: только к стожку приладится пожевать, а у него уже из-под носа сено вилами выхватывают, супонь снова затягивают и чересседельник — пошел, милай, дальше!

Ну, по снегу от стожка к стожку коней с сеном гонять правда что несподручно, так стали воза выводить на дорогу, и там уже кони по уши в сено залазили — им даже удобнее получилось, не то что из плотного, лежалого стожка брать. На простых же все дальше ехали и дальше, к самым крайним покосам... Спорили, друг другу доказывали, где ближе к тем дальним стожкам и на какой воз сколько положить, чтобы побольше взять и коня не замаять, и кто ловчее бастрик затянет, интересно было, а уже метали на воза — от каждого пар валил вроде из бани, с полка только что будто бы слезли. Тут Степану было вовсе по душе.

Стожки самые крайние, которые в кустах были поставлены, сильно забуранило, они не то что по колено — по самый пуп в снегу стояли. И маковка тоже вся снегом завалена.

А лопат-то на четверых была одна. Хотя снег и плотный и на вилах держится, а все ж таки брать его вилами можно с грехом, где возьмешь, а где кусок и рассыплется.

Так Степан что удумал: опетляли стожок вожжами, за концы потянули — бж-жик!— снег с макушки, как ножом подрезанный, шанежкой сполз. Бери руками его — и в сторону.

А сено в эту пору, перед весной, ужасно бывает пахучее. Как будто бабы его на праздник вместе со сдобным в печках испекли.

Очень словитое сено, сам бы ел, а не скотину кормил. Нечай Хромой так и сказал, что брюхо у него этого сена просит, ворчит, будто кот на сливки, а в рот брал — не жуется.

— Это же господь бог оплошку дал: сено косить человека научил, а жевать — нет, не научил! — печалился Нечай, а изо рта торчала у него зеленая еще, совсем свежая былинка.— И вовсе напрасно: это какая была бы мужику — крестьянину польза — умом не представить, когда бы он сеном умел питаться?!

— Не горюй, дядя Нечай! Может, еще и научишься! — Успокоили его.

Они стог на воза сметали и надумали закурить, вилы в снег поставили, Нечай же все не закуривал, все с былинкой баловался. После былинкой плюнул, за кисетом полез и еще сказал:

— А вот, мужики, в африканских государствах, в тех зимы вовсе нету. Хотя на крещенье, хотя на масленку — все одно лето и лето.

Ероху Теплякова эта весть задела, он вздохнул, подумал и сказал:

— Ну, нет, у нас в Сибири куды-ы справедливее сделано: лето есть и зима вот есть, как положено. И ничего — идеть покудова жизнь. А подумать какая это жизнь у африканских мужиков, ежели круглый год страда и страда?!

На это Ерохе никто не ответил, а Нечай все же беседу вел:

— С двух концов жизнь к человеку подступает: от брюха и от головы... Вот пойдет по земле овсюг, коровенки без сена останутся, ребятишки без молока, и тут брюхо у начальства заговорит, скажет ему: «Ты, дорогой мой начальник, спросил бы все ж таки у мужика: как так получилось? Почему? Как это пахать-сеять надо, как хозяйство вести, чтобы без хлебушка не деться и без молочка для ребятишек?» И по-другому подумать: ежели человек сроду будет сыт, одет, обут, забот не будет, как хлебушко делается,— откуда мысли в голове такой зародятся? Об чем? Разве такие будут, от сытости напридуманные, что их ввек руками не сробишь...

Ну, с Нечаем не спорили нынче и даже не очень его слушали — с пожаром с этим от работы, видать, отбились, истомились по ней и нынче покурить-то друг дружке не давали, торопились, будто нахлестанные.

И Нечай торопился тоже и едва ли не больше других, цигарку свернул, а курить не стал, так незажженную обратно в кисет и кинул. Загадки бросил свои. Работа слов не любит. Она — всем загадкам ответ.

Нечай-то хромой-хромой, а тройчатку в стог воткнет да через короткую свою ногу, через коленку на черенок надавит — так навильник-то у него — добрая копна. Он ее над головой над самой низко несет, будто на плечах, после в розвальни метнет, и ловко этак угадывает — травинка одна мимо не ляжет. И старый, и седой уже, и хромый — а работник. В любом деле колхозу в тягость не будет, нет...

Когда вернулись с сеном, сметали его перед конюшней и пошли по домам, напоследок все говорили: скорее бы весна, что ли. Попробовать бы этой колхозной-то работы, как же оно все-таки должно получиться?

Дома Клашка удивилась: скоро как обернулись. На стол щи потащила с загнетки, а после того Степан обычно тулуп на пол стелил либо на печку лез отдохнуть — с морозу, со щей горячих морило очень. Нынче ко сну нисколько не тянуло. То ли не устал он вовсе, то ли еще чего бы руками делать хотелось.

Вспомнил: подойник так и брошен у него в мастерской. Пошел, печурку там растопил и только к подойнику приладил ушко — по ограде кто-то слышно — топ-топ — идет.

Кого бы это обратно могло принести?

Это Егорка был Гилев. Вошел, дверь за собой прикрыл, поглядел округ и тихо так сказал:

— Степа, а Степа, тебя Лександра Ударцев к себе вызывает нонче.

— Кто???

— Ударцев. Лександр. Непонятно, что ли, говорю?

— Вовсе непонятно!

На Егорке усов уже обратно нету, морда голая, и видно, боится он. Вздрагивает, вроде кто его по морде бить по голой замахивается.

— Где же он, Лександра твой, хоронится?

— Хоронится не знаю где, а ждать тебя будет в избушке в моей, на пашне... Сёдни же вечером.

— И не убёг — значит, где-то тут и вьется? А куда же он коня с кошевкой подевал?

— Об коне не сказывал, не знаю. А тебе велел с им свидеться.

— Где же он тебя-то настиг — в избушке прямо?

— Да в леску рядом... Я за подоньями запряг ехать, только сметал да тронулся — он тут как есть.

— А зачем я ему?

— Говорю же: не сказывал.

— Ну, а ежели я приду да башку ему прошибу насмерть — он опасается? Либо он там не один?

— Ну, ты же Ольгу-то взял к себе? С ребятишками? Вот он, видать, и осмелел насчет тебя... А один-то он — это верно.

— Откудова знаешь?

— После объехал круг леса — наследил-то он один. Пеший.

— Когда было-то дело?

— Сёдни и было. Мужики на ту сторону за сеном подались, а я на конюшню опоздал, прибег, коня выпросил вроде догнать вас, а сам по свои подонья подался. На твоем Рыжем и ездил.

— Ты скажи, а я на твоей на кобыленке...

— Вот так, вот так, Степа... Так и было все.

— Чудно... Чо же ему от меня надобно? Лександре?

— Вот не знаю, Степа... Ты поди — сам обговори.

— Нужон мне Лександра твой. Только что на самом деле отмутузить его. Больше ни для чего.

Егорка сказал:

— Ну, я пойду, однако! — Постоял, опять сказал: — Ну, я, однако, пойду...— А сам еще не уходил. Опять глянул на дверь, послушал, нет ли кого на ограде, после подошел к Степану вплотную и прошептал: — Ты с Лександрой-то так... Не очень на его замахивайся. А вдруг он правда что не один?

— С кем же?

— И то, может быть, их много там таких.

— Каких?

— Что ты меня пытаешь? Малой, что ли, сам-то думать? Которых за болото ссылали, так, считаешь, никто и не убег обратно?

— Ну, а тогда почто я им нужон-то всем?

— А по то, Степа, что выручить они хочут тебя из беды.

— Из какой, скажи?

— Следователь-то, Ю-рист, допрашивал тебя? Ольгой-то упрекал? Они тебе этого не простят. Они тебя за болота закатают... Ю-ристы.

— Откудова же они знают об Ю-ристе?

— У их, Степа, везде свои. Они не просто так. Они сами огонька-то пустят и мужиков на это же подымут.

— А после чего?

— Когда после?

— Ну, после огонька?

— Это им лучше видеть, чем мне. А тобой, Степа, они очень, видать, интересуются.

— Очень даже?

— Им такого мужика к себе приохотить...

Стоит Егорка у верстака и то за один инструмент руками хватится, то за другой. Будто нюхает. Будто они как раз для него и куплены были, инструменты. А вот долото, скажем, ежели к Егорке применить — так для того разве, чтобы трахнуть его по башке. После за ноги из мастерской вытащить...

И Степан в самом деле из рук Егорки долото вырвал, обратно его поставил в гнездо. Сказал:

— Вон ты куды... Кто бы подумать мог?.. Против кого идти — это очень даже просто. Колхозный амбар стоит — иди против его и спали. Кобыла отбилась — ее промежду глаз топором. Человек, к случаю попал — и его так же. Против — это запросто. А за что? Спроси — за что? Скажешь — за жизнь. А за какую? Которая была — мы ее сами нарушили, когда колчаков прогоняли. Ту нарушили, эту не сладили, а тут Егорки с Лександрой Ударцевым вон куда глядят? — Снова вынул долото из гнезда, надвинулся на Егорку:— Ты скажи: кого ж я вот этим должон стукнуть, а? Кабы советская власть против меня офицера выслала с кокардой, с эполетами, с пушкой — я бы его, веришь не веришь, а достал бы каким стежком подлиньше. Из-за угла либо как, но достал бы. А теперь кого я доставать буду? Печуру Павла? Либо Фофана? Она же, советская власть, что ни делает — все мужицкими руками. И никто ее не спалит и не спихнет. И я своим детям не враг, когда она им жизнь обещает. Кого же бить-то? А?

— Я в ответе, что ли? — усмехнулся Егорка.— Зыркаешь вроде пьяный, без памяти.

— Бить-то до смерти надо тебя, Егорка. От таких, как ты, вреда — как ни от кого боле! Тебе бы усь да усь — науськать одних на других, после глядеть, что из того получилось?! Нет ли тебе выгоды? Я и не хочу, а все ж таки кому-то, видать, поперек стану, и мне тоже кто-то будет поперек, только уж пущай это мы сами по себе будем, без твоего уськанья. И гляжу я, может, до-

прежь того, как встать кому поперек, сперва тебя пришибить? Ведь очень просто — пришибить, в прорубь на Иртыше кинуть, никто тебя не пожалеет, шелудивого!

Егорка через порог выскочил, уже из-за двери сказал:

— Дурной ты, Степа! Я ж не об себе! Я в общем! Ну, бывай здоров. Я пошел.— После повеселел: — А ведь доказывать ты на меня не побежишь! Не таков мужик! Не побежишь сроду! — и калиткой стукнул.

Остался Степан один. Раз-другой по железу ударил и молоток бросил...

А ну их к черту, всех мужиков крутолучинских, а может, и всех людей! Спросить: что им от Степана Чаузова надо? Каждый со своим к нему лезет — и Печура Павел, и Хромой Нечай, и еще Гилев Егорка! Нечай, так тот вроде со всеми вслух разговаривает, а молча — со Степаном. Как свои байки сказывать, так и косит глазом в Степанову сторону. Ударцев Лександра — выродок, пошел пóтом-кровью выращенное зерно палить. И обратно ему тоже дело есть до Степана Чаузова! В гилевскую избушку вызывает — не иначе будет поджог свой замаливать. За отца прощения просить, что тот едва Степана не убил, за Ольгу с ребятишками, чтобы не сгонял их со двора. Деньги у Лександры могут быть, деньги будет совать на Ольгино пропитание...

Что Егорка Гилев, что Лександра Ударцев — одно только звание мужики, а просто сказать: сволочи. Тут мужицкое дело решается — о земле, о скоте, о хлебе, о ребятишках, ты в этом деле свое защищай, упирайся, но чужое жечь, другим жизнь путать, разбойничать — вот за это ломиком-то по башкам надо бы стукать!

Мужику правдишному забота — от таких подальше уйти, не видеть таких и не слышать... Ото всего бы нынче уйти на какое время, слов бы ничьих не слышать — ни умных, ни глупых... От слов хлеб не растет и скотина не плодится. От слов голова уже замутилась и своей-то ее не признаешь, вроде с чужого на твоих плечах голова...

Запереться бы в избе, сказать Клавдии, чтобы отвечала всем: захворал мужик, с печи не слазит. Так ведь и в своем доме нынче не утаишься — Ольга там. У той — тоже слова невысказанные, она тоже случая ждет их Степану сказать. А после того, как известил Егорка Гилев об Лександре, и вовсе непонятно стало — о чем и как с Ольгой говорить?

И вместо того чтобы на печь — пошел Степан на собрание. Доклад слушал. Ю-рист доклад говорить нынче будет на другом краю деревни, в избе-читальне.

Правда что подковать бы надо мужиков-то — ведь это сколь они нынче обутков в колхозе стопчут? И что она за жизнь такая — дня одного срока не дает? Дала бы срок, неделю хотя бы, сено повозить, вилами его пометать, за конями походить... Неделю пожить, будто бы и не случилось ничего,— на колхозную конюшню пешим, с тулупами в руках не бегать, и чтобы ночи той не было, в которую Ударцев пожар сделал, и Ю-рист чтобы тебя не допрашивал, и Егорка Гилев вокруг не бегал, не нюхал бы тебя, и чтобы в избе твоей твоя семья была, Клавдия со своими ребятишками и никого больше...

Чтобы оглянуться кругом. О себе вспомнить, какой ты на самом деле мужик, Чаузов Степан Яковлевич? А еще до весны бы дожить, до пахоты, до настоящей работы.

Вместо того каждый день и час каждый жизнь тебя мотает, все с тебя требует, и ведь не сдержишься — в самом деле станешь такой жизни поперек. Не надо бы этого, а сделаешь?

Сказать по правде, не ходить на собрание тоже нельзя. Собрание назвали — о колхозе, но это название только, потому что о колхозе слова далеко наперед уже все выговорены. О зерне — вот о чем Ю-рист собирался разговор вести. И даже не о зерне уже, а о хлебушке. О том куске, который Клавдия на стол три раза на день кладет да в четвертый ребятишки сами, глядишь, уволокут с горки на печь и там счавкают. Это он еще по себе помнит — на печи да в тепле краюшка куда вкуснее делается. Теперь эту краюшку Ю-рист на зерно хочет перевести заместо того, которое в пожаре сгорело, и еще взять много сверх этого.

Нет чтобы приехал, сказал: «Мужики, погорели вы — даем вам помощь!»— другой разговор: «Дай и еще раз дай!»

Наказ Печура из города привез — сеять пшеницы куда больше против того, как общее собрание колхоза записало. Теперь за это добровольно проголосовать надо и семена дать. Для этой цели и будет Ю-рист докладывать.

Об этом Печура сказать Степану ничего не сказал, хотя и приходил к нему в мастерскую. Тогда не сказал,

[illegible]же, не доходя до избы одного переулка, будто невзначай встретил:

— На собрание, Степша?

— Угу...— сказал Степан, но остановился: он хотя и шалопутный мужичонка, Павел этот Печура, но к людям добрый и обижать его, мимо пройти, вовсе не за что.

— Ты бы, Степа, подумал об своей жизни... А? Правое слово... Я тебе об том не напрасно говорил.

Пошли вместе. Павел тихо шел, не торопился, шапку свою, воронье гнездо, вправо скособочил, чтобы на Степана левым глазом лучше глядеть.

— Я думаю, Павел. Как с утра зачну думать — и до поздней ночи. Я-то думаю, да делают-то за меня другие. Вот как.

— И ты делай.

— Кабы знатьё — что и как...

— А то, Степа, доказать непременно нужно, что сознательный ты крестьянин.

— Это как же? Может, вон как Егорка Гилев — на побегушки к следователю приладиться? Я об Егоркиной сознательности шибко понял. Знаю. Поболе других нонче знаю.

— Нет, Степа, тебе сознательность надо личную проявить. Очень тебе надо это сделать — поверь ты мне!

— Ну хотя бы поверил? Дале что?

Печура с ноги сбился, после снова в ногу со Степаном пошел, спросил:

— Зерно у тебя есть еще? Хлеб, сказать?

Степан на ходу Павла за грудки взял, спросил, не останавливаясь:

— Вон ты подо что подбиваешься?!

— Подбиваюсь, Степа... — сознался Печура.— Подбиваюсь всеми силами своими. Но не для себя. Для тебя.— Сорвал Степанову руку с облезлого своего армячишки, пошел на него грудью, зашептал: — Для тебя! Тебе этого не простится — Ольгу Ударцеву кормить, а на семена не дать! Не простится!

— Ты не простишь?

— Поимей, Степа, совесть — не обо мне же речь, об тебе! Я тебя сроду любил, сказывал уже об этом. И я бы тебе больше сказал, но правов не имею — закрыто об тебе говорено было. Скажу только: будут у тебя зерно требовать — Христом-богом прошу, не упрямься. В избу твою приду, на коленки перед тобой паду, но толь-

[illegible] не понимавай пороха! Нужон ты, Степа, в колхозе, [illegible] и то зерно, которое у тебя же берут. Еще больше того.

— Ребятишек я голодными не оставлю. И сам босый-голодный я никому не нужный — ни себе, ни, сказать, колхозу.

— Может, и поголодают малость, но живыми ребятишки будут. Помни. Либо Ударцевым Лександрой вторым хочешь сделаться?

— Я, Павло, мужик есть. Им и буду. Другому чему у меня неоткудова взяться. Я не Ударцев, чтобы бечь и чужое палить. Но и взялись жизнь ладить — давайте ладить с умом, а не по злобе́. На злобу́ сорвемся — то ли я, то ли на меня кто — толку не будет ни тому, сказать, ни другому. Разве третьему кому. И ты пойми, что покуда у меня дом свой — в том дому я и свой предел имею: сколь мог — отдал, а теперь — ни зернышка. И на кого я тут похожий буду — это вовсе для меня неинтересно.

Еще прошли, еще сказал Степан Печуре:

— В колхоз меня привели — ладно. Что было, то было. А привели ужо — так не мотай мне морду-то туда-сюда. Худую кобыленку и то уздой задергаешь, она с шагу сбилась и вовсе стала. А я — конь еще незаезженный, береги меня. Почто ты ко мне добровольно-принудительно без конца и краю льнешь? Вот обратно — план по севу обязательный из городу привез, а требуешь, чтобы я за его добровольно голосовал? И семян под его дал? А я не дам. И еще скажу: не дам! Правильно Нечай Хромой говорит: разори меня до краю, тогда и все твое. А ежели ты мне индивидуальный двор оставил с бабой, с ребятишками, то и я хоть какой, а хозяин в ём. А то разделили меня напополам, одну половину колхозу, другую, куда меньше первой, самому мне оставили, но я эту, меньшую, все одно больше чую .. И слова твои — вовсе ни при чем. Я не богомолец какой за словом ходить... И то сказать, в Сибири богомольцев этих не шибко было, которые люди слонялись бо́сые по дорогам — так, варначишки, сказать, а не богомольцы...

— Ты, Степа, в нервы ударился. Сроду я об тебе такого не подумал бы.

— Это ты — об нервах. А я — об жизни.

— Ну, гляди, Степа. Сёдни гляди, на завтра не откладывай!

Народу было в избе-читальне — не продохнуться. На ногах стояли уже. Но Степан все ж таки исхитрился, голову из сенок просунул, его тут же кто-то и признал, крикнул, чтобы лез скрозь. Коли долезет — место ему найдется.

Он пробился-таки. Локотков Пётра и мужики с ним рядом — друг к дружке вовсе прижались, и места чуть показалось на лавке. Степан покруче сел — еще их сдвинул.

Пётра мужикам рассказывал про Егорку Гилева — как он в кладовке сидел запертый, скулил, просился, чтобы выпустили, чтобы он Степана догнал и следователю его представил.

Мужики каждый по отдельности об Егорке высказывались, всякими званиями его называли, но того не знали они, каков еще Егорка...

После поговорили о сене, как за сеном нынче здорово съездили, и опять не знали они, об чем собрание будет. Догадывались, но толком нет — не знали.

А начала все не было — Ю-риста ждали...

Наконец-то он явился. Все притихли, еще тесниться стали, чтобы пропустить его к красному столу, а он нет чтобы на свое место — пожелал с народом поговорить. Ему надо было показать, что он с народом заодно. Ну и приходил бы раньше, показывал, а теперь мало того что себе — и другим заботу сделал.

Которые мужики сильно за колхоз были — на первых скамейках сидели, верно, всех раньше пришли. Но и они на Ю-риста с интересом глядели — как он будет говорить, от мужиков отбиваться и подход к ним искать. Мало того — случай выпадет, так и они тоже не пропустят словечко загнуть, либо вопрос поставить, а после поглядеть, как Ю-рист этот — шибко ученый — ездить станет.

Теперь, ежели он среди мужиков примостился слушать, то и должен услышать. И понять должен, что мужики крутолучинские не мешком пуганные, что и у них мысли в голове.

Тут все поглядели, с кем он угадал на лавку сесть, кому с ним выпало разговор вести. С ним или промеж собой, но для него, чтобы слушал.

И оказалось, мужики-то рядом с Ю-ристом вовсе не говорливые были. Так, малость только, если бы их и

[illegible], то не на долгое время. Конечно, можно было с задней лавки к нему Нечая Хромого пропихнуть, но тут Ю-рист сразу бы понял, что мужики своего уполномоченного к нему приставляют.

К тому же неизвестно еще, как дело обернется, когда вопросы и ответы пойдут,— может, тогда Нечай само собой понадобится.

Ероха Тепляков был рядом с Ю-ристом и Сема Фофанов — брат двоюродный Фофана Ягодки.

Они поглядели кругом — видят, подмоги им не будет. Самим надо управляться. Посопели, еще друг на дружку и на Ю-риста поглядели — начали.

Ероха вроде полез наперед, а Семен его за полушубок:

— Лезешь-то куды скрозь народ? До бога разве? Так ведь сказывают, нонче нету уже бога-то. Не иначе в колхоз прешь?!

Тихо стало в избе, слушать все стали, что Ероха ответит. Кое-где разговаривали еще, но вовсе тихо.

Ероха сказал:

— Я и без колхозу сроду был пролетарский крестьянин. Кого еще от меня надоть?

— Ты не хвастай породой-то от сохи! — будто рассердился Сема.— Один мужик вон хвастал-хвастал — после на его поглядели, а он уже на ладонь буржуазной шерстью обросший!

— И что же это за шерсть по ём пошла?

— Несознательность всякая. Исть-пить захотел каждый день досыта.

— Ты скажи, что выдумал! Это не иначе ему классовый враг внушение сделал. Ну, а ишшо?

— Захотел — что сробил, то, дескать, и мое!

— Его, поди-ка да-алеко за болото выселили?

— Дальше-то некуда...

— Ну ишшо бы! Так ему и надоть, падле!

— Ясное дело. Все несознательность деревенская. В городе вот — этакой несознательности да-авно уже нету. Там самые малые ребятишки и те на социализм в окошки уже глядят. Особенно, сказать, которые повыше других живут.

Тут еще кто-то встрял из народу:

— Видать, срок настал нам, деревенским, в городе жить. Вплотную с рабочим классом смыкаться.

Но это уже за так прошло — никто и не заметил. На Ю-риста глядели.

Всегда на них, на приезжих докладчиков, после такого вот мужицкого разговору интересно поглядеть.

Который вид делает, будто как есть ничего не понял — сидит и лыбится во весь свой рот. Который очень задумчивый делается, не шелохнется, не вздохнет — погружен и ничего не слышал. А другой в лице весь переменится, только что на него бы шайку холодной воды плеснуть.

А Ю-рист сидел, слушал, никак себя не показывал. Вроде ждал: «А ну, давайте, мужики, давайте!.. Настанет и мой черед!»

Такие тоже бывали. И не раз. Только после ни разу на мужицкие побасенки так и не отвечали. Будто побасенок этих не было. Будто нечаянно об них забылось.

Ю-рист ждал, а Сема с Ерохой жалобно так кругом глядели: «Не взыщите, мужики, больше у нас заряду нету... Давайте подмогу!»

И только к ним с задней лавки кто-то проталкиваться начал — Ю-рист поднялся и за красный стол полез.

Полез и все на Сему с Ерохой поглядывал, вроде грозился: «Вот я вам сейчас! Сейчас осрамлю принародно!» Правду, нет ли, Ю-рист этот так и сделает? Все другие, бывало,— сначала о мировой революции, после о союзе рабочих и крестьян, еще после — о классовой борьбе, а под самый конец — о крестьянах. На побасенки же отвечать у них и вовсе времени не оставалось.

А тут Ю-рист сел за красный стол, бечевку от очков повертел и сказал:

— Ерофей Иванович и Семен Петрович, начали вы между собой интересный разговор, и за это вам спасибо! Мне остается разговор этот продолжить...

Видать было — Сему с Ерохой в жар бросило: знал он уже их по имени-отчеству...

— Значит, так вы сказали: есть-пить всегда досыта хотел человек и еще получать все, что сам заработал, и за это его сослали? Так я понял?

Кто-то крикнул погромче:

— Шутковали между собою мужики! Нешто и это по декрету запрещенное?

— Почему же запрещенное? — спросил Ю-рист.— Ни в коем случае! Я для себя хотел узнать: если шутка — и я пошучу, и только. Если всерьез — и я должен отвечать серьезно... Как хотите, так и будет!

Сам на Сему с Ерохой глядит. Те смешались пуще. Народ им не подсказывает — дело ихнее. Заставь их

[illegible], что [illegible] говорили [illegible] — [illegible] [illegible], [illegible] Ю-рист дело повернет. Ю-рист ведь. [illegible]

— Мы,— сказал Сема Фофанов.— мы что же... Мы [illegible], как все. Как все, так и мы.

Засмеялись в избе, а кто-то рассердился, видать.

— По правде,— надоть на сурьез повернуть дело. Дело и вовсе не шутейное!

На этот голос другой ответил:

— Помалкивай знай. Не ты за ленок взятый!

Еще кто-то надумал дело совсем запутать, чтобы Сему с Ерохой выручить, и заорал диким голосом:

— Почто пролетариев всех стран в одно сгоняют, а мужиков — нет? Нешто нельзя мужика тронуть? А ежели я поперек всего хочу с германцем в один колхоз записаться?

— Значит, шутить будем? — спросил Ю-рист, но ему сказали:

— Мы энтому германцу в своем колхозе должность определим: на луну брехать.

Ероха же на Сему еще раз глянул и махнул рукой:

— Давай, товарищ докладчик, на сурьез!

— Вот вы, Ерофей Иванович,— спросил тогда Ю-рист,— вы об этом тоже мечтали всегда, чтобы сытым быть и обутым?

Ероха смешался, Ю-рист ему сказал:

— А я точно знаю, Ерофей Иванович. И могу вам подсказать: во сне видели себя богатым, будто три лошади у вас, а то и десять...

— Десять не было сроду!..

— ...и свои лошади, и еще соседские тоже будто бы вашими стали. И сами вы работник, и еще наняты работники у вас будто бы в хозяйстве. Вот так... Не спорьте, так. И, значит, мечта и цель жизни у вас всегда была одна — разбогатеть. Во что бы то ни стало разбогатеть. Но ведь богатый — он ведь всегда за счет чьей-то бедности появляется?! Только во сне вы, конечно, не додумались о том, почему ваш работник своего хозяйства не имеет? Из-за чего он к вам нанялся? Иной раз и своего соседа батраком, может, видели. Семена Петровича Фофанова не доводилось вам видеть? Своим батраком?

— Сроду не было! — сказал Ероха.— Как перед богом!

— Но ведь могло бы и в самом деле случиться!

— И не могло бы вовсе!

— А случилось — вы что же, отказались бы? Не [illegible]тесь. Потому что и наоборот вполне могло быть: вы бы стали батраком у Семена Фофанова, и он бы то-же против этого не возражал.

..Вот как он их поддел обоих, Ю-рист! А? Как он под мужиков подо всех подъехал, мастак! Вот и видать сразу: не просто следователь — Ю-рист! Даже и самому веселее, что такой Ю-рист тебя допрашивал, а не сапог какой-нибудь поношенный!

— Это верно,— говорил Ю-рист,— каждый человек должен быть сыт, обут, одет. А дальше что?

— Дальше видать будет!

— Вот это «видать будет» советская власть навсегда в свои руки взяла. Чтобы у людей не было желания сделать соседа своим батраком, чтобы жить по справедливости. А кто против справедливости? — Помолчал Ю-рист...— Никого нет? Несправедливую мысль на народе высказать трудно. Она один на один с нами ютится. Все-то вместе мы лучше, чем по отдельности каждый.

Ю-рист из-под стекол на Степана будто бы поглядел. А может, показалось только...

— Мечтали о богатстве... Но ведь и о справедливости тоже. За нее мужики боролись, восстания устраивали. В Сибирь от помещиков убегали. В Сибири воевали с Колчаком. После всего этого какой же мечте ход дадим — той или этой? О батраках или о справедливости?

Говорил Ю-рист негромко, руками не размахивал, кулаками об стол не стукал. Присмирели мужики...

А Степан к Ю-ристу боком сидел, и слова эти его тоже вроде бы сбоку обходили. Слов хороших много научились нынче говорить, а дела? Завтра ты ко мне, Ю-рист, из-за Ольги Ударцевой обратно будешь прискребаться? А когда ты о зерне заговоришь, чтобы я последнее отдал?.. Уговоры все. Все-то нынче друг дружку уговаривают: городские — мужиков, мужики — баб своих, а бабам на долю уже скотина остается... Клашка тут недавно корову доила, корова смирённая-смиренная, а взяла да и лягнулась в подойник копытом. Так Клавдия ее сколь тоже уговаривала, после пригрозила в колхоз отвести. И опять было, как тот раз на допросе: Ю-рист к нему подход искал, с той, с другой стороны заходил, а

Степан глядел зорко — не проворонить бы, не дать себя словами опутать.

— Возражений против справедливости нет...— говорил между тем Ю-рист.— Кроме одного: почему это никому другому доля такая не выпала, как нынешнему мужику? И воевать — ему. И голодать — ему. И вот еще первые колхозы устраивать — опять ему. Несправедливо это — все на одних и тех же?

И как он, Ю-рист этот, и в самом деле мужиков за ленки брал?! Мужики все разом охнули. Так же оно и было: кто против справедливой жизни? Никого нету! Кто против того, чтобы не самим бы ее ладить, эту жизнь справедливую, не на себе ее испытывать? Обратно никого!

— На месте мы стоять не можем. Остановимся — мировой капитал и собственный наш нэп тотчас нас назад отбросят. Мы сами себя назад столкнем, если сегодня же решительно не уничтожим наше стремление к наживе, к личному богатству. Так история нам говорит.

— Туды-т ее, историю! — вздохнул Пётра Локотков.— Хочь бы без истории сколь пожить! А то она все наперед тебя лезет...

Степан с Пётрой согласился — он правильно сказал, Пётра. Вдруг — когда это он успел, Ю-рист? — уже о скотине разговор ведет:

— ...издавна в русской деревне выпасы были общественные и скот пасли тоже сообща. И получалось гораздо лучше того, если бы каждый хозяин сам по себе пас. Значит, и дальше надо искать, что же можно делать всем вместе, коллективно?

— Корова-то, однако, молоко несет своему хозяину, а не чужому!— снова подал голос Локотков, а Ю-рист ответил:

— Но если вы хотели молоко продать и городские товары получить — вы несли его на маслодельный завод. А чей это был завод в Крутых Луках?

— Ничей... Сказать — общественный!

— Опять пришли к общественному! И посмотрите — какие сильные маслодельные союзы у нас появились! Животноводческие товарищества? Куда же мы идем? В какую сторону?

«...Обратно пришли к Печуре Павлу,— подумал Степан,— потому что до колхоза Печура был в Крутых Луках казначеем союза. Вспомнить, так долго очень спорили, кого выбрать, а после разом решили — Печуру. Он

…ейный, ему красть-воровать никак невозможно! И при… Печура два потайных кармана к своей драной лопо… не: один правдишный, а другой ложный, керенскими … колчаковскими бумажками набитый. Даже на ночь он … лопотину с себя не сбрасывал. В город ездил платить … за товары, так на него никто не мог и подумать, будто он при деньгах... Но — обратно спросить — какой Печура Павел мужик? На Печуре Крутые Луки держатся? И государство все?» Поискал Печуру глазами, а он — вот он! — сбоку и позади через ряд. И тоже — глаз со Степана не спускает, и кивает ему головой лохматой, и просит, просит о чем-то с души с самой... Отвернулся Степан от этого взгляда...

— А магазины? — дальше спрашивал Ю-рист. — Хлебные магазины? Ведь ссыпали в магазин с каждой десятины посева, а раздавали в голодный год по едокам? Опять — общественное и опять справедливое дело. Посмотрите на себя, где вы все вместе, там соблюдаются интересы каждого, а не отдельного хозяина. А супряги устраивали? А помочи? А школу строили или вот эту избу-читальню?

И вдруг из угла голос Нечая Хромого донесся:

— Ты гляди — жизнь-то какая у нас была хо-орошая! Мало все нам — от добра-то добра ищем!

Кто-то из мужиков даже по-бабьи взвизгнул, а Нечай еще и не кончил, еще сказал:

— Иль жизнь-то нам нипочем, нам история нужна? Так она, история-то, тоже, поди-кось, не кобыла, чтобы ее туды-сюды дергать?

Глядеть стали на Ю-риста, а что он теперь скажет?

Он сказал:

— Советская власть даст деревне машины. Из русской отсталой деревни она самую передовую в мире хочет сделать. Без машин этого не сделаешь. Никогда! А кто машину приобретает? Кто богатый? Значит, советская власть богатея сделает и сама же батрака ему подарит? Помещиков в Сибири не было — будут. И только колхоз, владея машинами, никому не принесет разорения, а человеческую жизнь — всем. Это ленинский план кооперации! Вот это — история!

Тут опять голос подали:

— План-то есть — Ленина-товарища нету...

А Степан подумал: то же самое толковал о машинах в мастерской Митя-уполномоченный. Или сговорились они с Ю-ристом? Или знали, что от машины Сте-

[illegible] который раз куда больше тревоги было, чем от коней? Спрашивал себя уже не раз Степан: «Кто еще в Крутых Луках машину так же чует, как я?» Он первую сноповязалку в Шадрино ездил глядеть, а когда в Крутых Луках и на Овчинниковских заимках тоже сноповязалки эти появились — убегал от них прочь, не дразниться чтобы, не зариться, не проситься на машине круг какой проехать хотя бы и на запятках где... Но об этом он с Клавдией даже не говорил. О чем говорить-то?! Жизнь бы прожил, а дальше самосброски в хозяйстве своем не пошел! Сроду!

Машина не конь. От коня хлебом пахнет и по́том, его по холке потрепал — и мнится уже, будто таких же вот ласковых, понятливых три у тебя, пять — того больше.

Машина молчит, к тебе не льнет, а все равно спрашивает: «Сколько посеву сеешь, чтобы расчет был меня купить? И сколько ты заплатить можешь за меня?» И тут ясно и понятно: принадлежать она тебе вовсе не должна... А глаз ты с нее все равно не спускаешь. И запах ее железный — все равно чуешь.

Допрос Ю-рист снимал со Степана — Степан так-то не заморгал, не захлопал шарами, ровно мальчонка какой. А тут убил-таки Ю-рист его! Виду хотя бы не показать, что убил. Сказать бы Ю-ристу поперек! Крикнуть бы что?!

И скажет. И крикнет.

Хорошо обещаешь, Ю-рист? Так по-хорошему его и делай, хорошее-то. А иначе где-нигде мы с тобой сшибемся, где-нигде, а надо будет против тебя выдержать. Не выдержишь — ты и в самом деле, как ту негодную кобылешку, меня вожжами задергаешь. После объясняй: из-за хорошего задергал либо из-за плохого?! Сегодня отступи перед ним, перед Ю-ристом, а завтра он обратно что выдумает? А в пятницу? А в субботу?

И хотя убил Ю-рист Степана, но только не насовсем убил, голову с него не снял. Голова покуда еще своя у него.

Сидел Степан и ждал... Ждал, когда о семенах Ю-рист спросит. Дышать в избе-читальне вовсе невозможно стало, однако дышали.

Лампу под потолком засветили.

При лампе разглядел Степан: сразу за Печурой Павлом сидел Митя-уполномоченный. Приехал, значит, и в самом деле в Крутые Луки Митя, но к Степану на квар-

тиру не зашел, баульчик свой фанерный не взял. Узнал, видать, что Ольга у него в доме, и не захотел прийти...

А за Митей еще одного разглядел Степан человека, не сразу признал. А это Корякин был. Корякин из крутолучинских мужиков, самый был первый председатель комбеда. После пошел и пошел по службе. Уже и не мужик, а начальник. Уже в Крутые Луки пожаловал ес-ли — так не для того, чтобы, скажем, по сено за реку съездить. Тужурка на нем не то чтобы новая, но городская. И личность стала не мужицкая: безбородый, и глядеть на него — очень строгий. Замученный еще... Верно, по деревням ездит, из кошевки не вылазит. И молодой ли, старый ли — не сразу поймешь.

Вот оно, какое собрание-то нынче — Корякин здесь. Этот зря не приедет. Нет. Будет что-то, если Ю-риста мало одного и Мити-уполномоченного мало, а еще приехал Корякин!

Был Корякин головастый, но только вовсе не по-мужичьи слаженный.

Он и в партизанах был долгое время и с Пятой армией ушел Колчака окончательно воевать, после ходил еще на Врангеля, а вернулся — бабу свою постриг под мужика, картуз на нее надел тоже мужичий, и пошли они вдвоем в таком виде агитировать против бога, против кулаков, против попов. По деревням ездили и показывали между собой равенство, какое должно быть при новой жизни. Верст на сто в окружности Корякин этот всех попов объехал, спорил с ними принародно — есть бог либо нету бога, и сказать надо, боялись попы его хуже черта рогатого.

На тракту, за Шадриной где-то, стреляли в них сразу с двух обрезов, но они живые остались и своего не бросили. И не то что говорун бы какой, а больше ничего — любую крестьянскую работу мог Корякин руками делать, но вместо того он книжки читал и бабу читать учил. Дружбу же водил в Крутых Луках с Печурой Павлом.

Когда уехал в город насовсем, Печура постарел враз, руками стал с той поры махать шибче и говорить громче. Переживал, что без дружка остался.

И хотя живет Корякин в городе уже долгое время со своей стриженой бабой — мужика он скрозь глядит по сю пору. Это не Ю-рист, он, к примеру, про кошку спрашивать не будет и об том, как ты газетку читаешь

и мясо ешь ли каждый день — тоже нет. Про твою жизнь у тебя не спросит, он ее сам знает.

И давно он задумал жизнь эту на другой лад повернуть, и нету слова того, чтобы Корякину стало поперек: он враз перешагнет.

Это вовсе не надо глядеть, что человек, как все,— силы в нем без конца... И еще у него власть.

Вот оно какое — собрание нынче...

Так...

Ну что же, поглядеть надо. Подождать надо. И хотя верно, что тошно уже в помещении от дыма табачного, надо еще закурить.

Ждут все...

Каждый по-своему ждет... Один — слов еще от Ю-риста об справедливости ждет, другой — когда собрание кончится. Печура Павел от Степана чего-то ждет, а Степан — когда о новом плане посева речь зайдет, о семенах...

Уже о пожаре сказал Ю-рист, о классовом враге. Ладно...

О Степане Чаузове сказал: сил Чаузов не пожалел, чтобы семена спасти. Ладно...

— И вот,— сказал Ю-рист,— люди сознательные, люди преданные нашему делу, колхозному строю, я думаю, подадут пример — из своих личных запасов пополнят семенной фонд колхоза. Для обеспечения нового плана сева.

Замолчал...

Он замолчал, и никто не говорил... Лампа под потолком мигала, мужики под лампой сопели.

Так долгое время было...

— Пуд! — сказал Печура Павел. Он поднялся с лавки, стоял и руками шапчонку свою, воронье гнездо, вертел и мял. Будто не от себя пуд отдавал, а Христом-богом у кого-то вымаливал. Правда что вот-вот на коленки готовый был упасть.

— Надоть, мужики, бабам наказать, чтобы они не кормили печуровских-то ребятишек, куска не давали им,— сказал кто-то. — Пуд-то Печуре вовсе лишний!

А это дурак какой-то сказал, больше никто. Голоса не разобрать — чей такой? Это хуже бабы мужик сказать мог, не иначе. Не хочешь от себя отдавать — не отдавай, но и Печуру попрекать не смей. И ребятишки его здесь ни при чем.

От попрека этого в горле заскребло.

Печура еще раз сказал:

— Пуд!

Э-эх, Печура, Печура!.. Как бы скинуться вот сейчас по пуду всем, по два и по три даже, а после знать, что никто хлеба твоего больше требовать не будет. Поперек колена никто тебя ломать не вздумает! Как бы знать об этом, о чем бы тогда и разговор!

Ю-рист тоже за столом стоял, очки дергал. Вдруг обернулся и прямо к Степану:

— А теперь хочу спросить Чаузова: если Печура вносит пуд, сколько он может внести?

Поднялся и Степан. Постоял. Поглядел.

— Ни зернышка. — И снова сел.

— Вопрос у меня есть к гражданину Чаузову...

Степан оглянулся, а это Корякин ставит вопрос. Молчал, молчал и вот заговорил:

— Вопрос такой: Чаузову есть чем кормить жену классового врага и поджигателя с тремя ребятишками. С тремя! А внести в семенной фонд колхоза у него и зернышка нету. Как это понять? Как объяснить? Гражданин Чаузов?

Подумал Степан, как ответить.

— Потому и нету, что едоков прибавилось. Подойти как следоват — с меня на семена-то и в самом деле по этой причине не кажный спросит. Которому и стыдно будет спросить. Об остальном товарищ Ю-рист с меня допрос уже сымал. И все у его в бумагу записано.

— Значит, ни зерна? — еще спросил Корякин.

— Ни единого...

Кончилось собрание. Пуд один был на семена записан.

Мужики ушли, двери распахнули, холодом с улицы потянуло.

Печура Павел поднялся на скамью, лампу снял с потолка и поставил ее на красный стол. Сам чуть в стороне сел на табурет, руки запустил в лохматую свою голову.

— Заседание тройки по довыявлению кулачества считаем открытым! — сказал Корякин. — Пиши, Дмитрий, протокол...

За столом сидел Корякин, по одну сторону от него — Митя-уполномоченный, по другую — следователь.

— Ну? — поглядел Корякин на того и на другого. — Какие еще будут соображения по Чаузову? Вопрос ясен? Пиши, Дмитрий: «Постановили...»

— Товарищ Корякин,— сказал Печура, подвинув табуретку чуть ближе к столу,— не ошибиться бы, товарищ Корякин... Вот он видишь как — не дал зерна, а сам-то, может, и больше значит для колхоза, чем зерно его?.. Вы же его знаете, Чаузова, на одной улице жили с ним, товарищ Корякин. Его бы только в работу как можно скорее, а после он уже себя покажет! Он не тот вовсе будет... И как мы колхозникам объясним?.. Перекосу как бы не было с нашей стороны, товарищ Корякин. Перекос человеку сделать на всю жизнь — это легко. После того трудно бывает...

Корякин поднял удивленное лицо:

— Какие могут быть объяснения? Неясный вопрос? Хвалят тебя в районе, товарищ Печура, хвалят все как передового, а оказывается, тебе до оппортунизма — один шаг! Да, знаю я Чаузова Степана, знаю вот с таких лет! — Показал чуть-чуть над столом. — И скажу: если бы советская власть его не остановила, он бы кулаком вот каким стал!

— Но ведь остановила? — спросил следователь, не поднимая головы и подкручивая фитиль мигающей лампы. — Все-таки остановила? Для чего? Чтобы потом снова в кулаки зачислить?

— Всю жизнь за ним следить и его останавливать невозможно. Для него никогда и бедняк-то человеком не был. Это сегодня и сказалось. Проявилась его собственническая сущность.

— А жену он взял из самой бедной семьи. Не ошибаюсь я? — спросил следователь.

— Нет. Не ошибаетесь,— ответил Митя. — Но она никогда не забывала о своей классовой принадлежности. Она влияла на мужа положительно. Хотя, должно быть, этого влияния оказалось недостаточно.

— Вот именно,— подтвердил Корякин. — Жена не могла повлиять, ты, что ли, Печура, возьмешь на всю жизнь за него ответственность? Он жену-то погубил. Активисткой могла бы стать. Женским организатором. В районном масштабе или больше, а теперь?

— Да! — снова согласился Митя. — Она вполне бы могла. Ей бы среднее образование.

Следователь подкрутил наконец фитиль, и лампа засветила поярче.

— Но он же колхозник? Чаузов? Он же вступил? И не последним?

— Тем хуже для нас. Замаскировался и будет разлагать изнутри. И саботажничать, как сегодня саботажничал. Срывать любое мероприятие. Еще будем ждать таких же случаев? Или — хватит с нас?

Следователь вытер пальцы о бумажку, бумажку смял и бросил под стол.

— Чаузов воевал за Советскую власть...— сказал он.

Печура вскочил с табуретки.

— Так и есть — воевал! Они с Христоней с Федоренковым шпалы повынимали из-под железки. На повороте как раз. Полный состав теплушек с колчаками ушел под откос. Такое в результате случилось крушение!

Положив обе руки на стол, следователь внимательно глядел в огонь лампы. Два огонька мерцали в стеклах его пенсне, и только за этими огоньками где-то в глубине иногда появлялись глаза, потерявшие вдруг цвет, небольшие и неподвижные. Пальцы рук следователь крепко сплел между собой и как будто не мог их разнять, а от усилий в руках и на лице его — высоколобном и морщинистом — морщины становились глубже, плотнее сжимались губы.

Корякин поглядел на следователя, встал из-за стола, прошелся туда-сюда, топая огромными валенками по скрипучим половицам, и остановился за его спиной.

— Ну? — спросил Корякин.— Ну — что еще?

— Ничего...— ответил следователь, не оборачиваясь.— Нельзя не анализировать факты.

— Знаю! — кивнул Корякин.— Для этого, для анализирования, нужно высшее образование?

— Образование нужно. И вся жизнь наша тоже нужна.

— Знаю! Книжечки свои вспоминаете, которые о земском суде написали. Политическую работу среди крестьянских масс во время ссылки. Партийный стаж.

— Вспоминаю и это.

— А я скажу: вы меня и стажем своим со сталинского курса не свернете! Того больше — не допущу, чтобы и вы пошатнулись!

— А вы не забыли «Ответ товарищам колхозникам»? А «Головокружение от успехов»?

— Теперь я скажу: а в чем Сталин видит успех нашего дела? В чем успех можно видеть, если не в этом самом подходе к середняку? Будете возражать? Не бу-

дете? Правильно, потому что — диалектика... — Корякин усмехнулся, постучал пальцем себе по лбу. — Так вот — с протоколом вашего допроса я ознакомился. И сразу понял: наводили Чаузова на классовую платформу. Будто он с Ударцевым, как с врагом, хотел расправиться! И ничего у вас не вышло — он Ударцева за врага признать не захотел. Вы подумали — засудить Чаузова, дать ему каких-нибудь полгода за разорение имущества классового врага, а после пускай, мол, вернется как ни в чем не бывало?! Не вышло. И — не выйдет. Повторяю: носитель он индивидуализма и собственничества. Он всегда между нами и сознательным трудящимся колхозником стоять будет. Ваш же протокол допроса начисто Чаузова обнажает. Мужики все показывают, будто Егорка Гилев подстрекателем был, когда Ударцева рушили, а Чаузова они берегут, сказать прямо — выгораживают. Смешно, Егорка Гилев — всем голова! Я на пожаре не был, но ясно себе представляю, кто за кем шел. Нынче Чаузов Степан шел пожар тушить, а завтра он пойдет колхоз рушить, и некоторые мужики его на этот случай берегут! Таких, как Чаузов, навсегда надо от масс изолировать, избавиться от их влияния. Вот вы объяснили мужикам про пастьбу, про хлебный магазин, про маслодельное товарищество. Да об этом они лучше нас с вами знают! Но я не увидел, где вы нанесли сокрушительный удар по мелкобуржуазной сущности? Не было такого удара с вашей стороны! А ведь колхоз создаем, и атмосфера в колхозе должна быть абсолютно чистая...

Корякин чуть приподнялся на носки, потом качнулся на пятках своих огромных валенок и вдруг тихо, мечтательно сказал:

— Вот как весной капель падает — кап-кап! Кап-кап! И ничто-то её не замутит, ни сориночки в ней нету! Будто слеза ребячья. — Погладил следователя по плечу. — Вот какую мы нынче создаем идеологию! Чтобы через пятилетку или, может, там через две мужики сами же над собой смеялись — какие, дескать, у нас были нечеловеческие устремления к частной собственности! Подумать только — зерна по три пуда на круг для своего же колхоза пожалели?! Ну, а на сегодня — борьба! И я не просто про Чаузова говорю — я действием доказал его кулацкую сущность.

— Действием? Как?! — спросил следователь. — Конкретно?

— Конкретно — я к нему одного тут мужика послал.

...сказать, что Ударцев Александр его к себе ждет. Сегодня вечером на пашне и ждет. В избушке.

— Позвольте, но Ударцева здесь поблизости нет. Это же точно известно!

— И мне — точно.

— Так... Понимаю... — Следователь поглядел на Мишу, на Печуру Павла. — Так... Но Чаузов в избушку к Ударцеву не пошел! Ведь не пошел, он же был сегодня на собрании?

— Не пошел. Точно. Но ведь и мне, или, скажем, вот вам, или Печуре он же не сказал, что Ударцев здесь скрывается? Его ждет? Не признался? Не сделал этого? Пиши, Дмитрий...

— У меня есть особое мнение, товарищ Корякин...— сказал следователь.

Корякин удивился:

— То есть как?

— Я с вами не согласен.

— Ну, что же — мнение каждый может иметь. Каждый. Но не советую. Тем более вы не только следователь, а еще и уполномоченный. Совершенно не советую. По-дружески. К тому же мы — большинство, а вы — меньшинство. Пиши, Дмитрий......

Глава девятая

...Ах вы цветики-цветочки!

И вовсе не те беззаботные, дармовые, что сами собой расцветают от солнца средь травы и хлебов, расцветают и вянут в ту пору, когда все-то расцветает, все вянет, а другие — неизвестной в полях и лугах породы, безымянные, те, что нарождаются, когда убран уже хлеб и засыпан в закрома, когда вдруг поверит мужик своим глазам, на хлеб этот поглядев, поверит своим рукам, хлеб этот пощупав, а за тем вслед вспомнит и о цветочках этих... Вспомнит и призовет к себе в избу художника-маляра с двумя, а то и с тремя банками пахучей краски, подернутой глянцевой, этакой вкусной корочкой, с двумя, а то и с тремя кистями и с трафаретом...

И велит хозяйке маляр-художник палить в кошачью или какую другую черепушку керосину, чтоб отмочить в нем засохшие свои кисти, и разукрасит ими дверь, а то и полати, а то еще и по кромке печи наладит он цветов, а то и на дверях, и на полатях, и на печи сразу... Мало

что, если сверх договора поднесут маляру-художнику косушку — он на память еще и на табуретке, на которой сидел, косушку в рот опрокидывая, тоже цветики излагал.

И живут после те цветы в избе лето и зиму, слушают избу днем и ночью — все ее шорохи, все ее слова и песни, и вздохи, и крик ребячий, и ругань и даже кто о чем в избе помечтал, они и это слушают. И все-таки они знают, как люди здесь рождались, как умирали...

Чего только не придумал человек: скотину домашнюю, заводскую машину, икону. Воевать придумал между собой, бить друг друга смертным боем, а вот меры своим тревогам, думам своим не установил... Нету им никакой меры, а коли хочешь об ней догадаться — гляди и гляди на те цветочки, они будто бы ее знают.

В избе Степана Чаузова они на дверях были нарисованные. цветики,— голубые по темно-красному и еще красные по голубому на матке через всю избу протянулись... И похоже было, что вот жили в Крутых Луках мужики с давних-давних пор, с далеких времен — чуть что не с самого Ермака, вольные мужики и беглые с уральских Демидовских заводов, с российских волостей и губерний, и все они копили и копили думы о мужицкой своей жизни, от прадедов к правнукам тянулись те мысли и дотянулись они до этой вот двери, до голубой с красными цветами этой матки... Дотянулись они сюда, и ты, Степа Чаузов, решай, что она такое — мужичья жизнь? Что она? Куда ее свернуло? Как ею и дальше жить? И — жить ли?

Долгое-долгое утро было в четверг, когда сидел и молча всматривался в цветочки эти Чаузов Степан.

Свои ребятишки, одетые уже, сидели на узлах, а Ольгины — с печи глазами пялились. Понимали, нет ли, что произошло? Своих Клашка молоком напоила прямо из ковшика: «Когда-то еще молочка попьете теперь? От своей-то коровы, может, и в жизни никогда не придется?!» Они пили — она их еще заставляла пить. Теперь сидят — одурели вроде с молока...

Клавдия с Ольгой еще одно, последнее рядно зашивали с барахлишком, торопились, ревели обе молча.

А Степан, на них глядя, пошел по дому с плоскогубцами — где бы чего оторвать нужное?

От ухвата железо оторвал, от коромысла — крючья, шпингалеты были на окнах — их тоже снял. Кольцо на западне было — кольцо вывернул.

Деревянное — все можно самому сладить, а железки эти хоть и не мудрые, но после локти будешь кусать, что не догадался их прихватить.

И даже вроде печалиться некогда было. Не до того было. Злость там или еще что такое — это на после, чтобы после за свою судьбу кого-то ругать, а не себя: сам все сделал правильно, как мог, так и сделал, другого ничего придумать нельзя было.

Встал на табуретку, принялся крюк из матки вырывать. Матка крепкая была, он ее сам ставил и сам бревно для нее выбирал когда-то, чтобы ни трещинки в бревне не было, она крюк держала цепко, гудела вся, краска голубая с нее сыпалась, а крюк едва подавался... Степан уже и кочергу согнул, вырывая ею крюк, и самого от натуги в пот кинуло...

Это сколько же годов тому назад крюк был кузнецом скован, если и Степан-то сам в той зыбке качался, которая на крюке висела? А вспомнить, может, и отец Степана тоже сосунком, на спинке лежа, из зыбки на крюк этот глазенки пялил?

Спалить бы избу свою сейчас, керосином бы по углам плеснуть — и спичку туда, а вместо того крюк из матки вырываешь...

Клавдия одну икону, самую малую, темную, еще матерью ей подаренную, за пазуху себе сунула...

Может, еще и не все на подводу погрузят, что бабы зашили. Может, по дороге, пока доставят до места, что-то бросить придется. И на этот случай Степан велел бабам одежу на взрослых зашить отдельно. С одежой мешок бросить можно будет вперед всех других, обойдутся и тем, что на себе, опять же работники — они везде нужны, и голыми-босыми работников не оставят, а вот чем они будут есть-пить, чем горячий чугунок будут забрать — ухватом либо рукой голой, чем избу снутри закинут от чужих людей — это никому не интересно... Жить надо будет... Вот Ольга Ударцева — живет. Без слезинки. А — баба.

Сколько оно будет, болото это, от Крутых Лук? Пятьсот верст? Тысячу? Так нешто за тысячу верст за городом Тобольском Степан Чаузов не мужик уже? Не работник и не жилец? Ребятишкам своим не кормилец?

Зашили последний узел бабы. Сами оделись. Разоренную избу оглядели. И Степан снова поглядел на дверь, на цветочки голубые. Дверь эту навешивал — думал: его стариком древним скрозь ее ногами наперед

вынесут, а вот — сам выходит прочь... Живой вроде. Цветики, цветочки...

На прилавке Митя-уполномоченный сидел, молчал, не хотел, чтобы замечали его. А его и не замечали. Сам об себе пусть заботится, какой из него человек выйдет.

Одной только Ольге Митя мешал. Видать, она говорить хотела со Степаном, а Митя ей мешал. А что нынче говорить, если по сей день ничего между ними сказано так и не было?

Нынче уже поздно.

Не забыть бы чего, еще какой шпингалет...

Митя посопел у печки и вышел. Уполномоченный он, при службе. Может, и совсем ушел бы, но нельзя.

Только вышел Митя — Ольга перед Степаном на колени пала. Ее дом рушили — молчала, а тут заревела на всю избу, затрясло ее, она за Степановы ноги схватилась:

— Через меня все случилось, Степан Яковлевич! Прости ты меня, Степан Яковлевич, и ты, Клавдия, бога ради прости! И ребятишки ваши вырастут — пущай не поймут, будто знала я, как случится, когда в дом ваш взошла!

Степан ее с полу сорвал, на ноги поставил:

— Ревешь бестолково. Не корова ведь... Кто тебя упрекает?

Ольга глаза подолом протерла, тихо заговорила и торопливо — вот-вот Митя-уполномоченный мог вернуться.

— Не хотела я после той ночи к Ударцевым, к родственникам, пойти. Они же не люди, хуже зверьев! Деньги у их и золото, а деньгам ходу власть не дает, вот и озверели. Об деньгах своих день и ночь шептались, хворь их брала от забот, а я боялась тех денег коснуться, слова об них услышать страсть боялась! Они потому и взяли меня с тракта, со степей с самых, чтобы я в Крутых Луках чужой была, не сказывала бы никому об их жизни... После пожара я почему к вам пошла? Думала — они везде меня достанут, а Чаузова Степана побоятся. Тебя тронуть, Степан, не просто: объяснить же людям нужно, за что и как?! Ежели зря — то и обиду за тебя люди не простят... Так я думала-то. И обратно от Печуры от Павла к тебе уважение видела, от Фофана Кузьмы... Клавдия, какими слезами мне плакать перед тобой?!

Уже и на цветы бы не глядел Степан, которые на

теряя нарисованные, и на Ольгу. И на Митю-уполномоченного не замахнуться бы, как он снова в двери войдет...

Уже времени-то оставалось ничего в своем доме побыть, а все еще людям то ли от Степана что-то надо, то ли они ему что-то хотят объяснить? Он тоже хотел было сказать Ольге, что Лександр ее тут где-то бродит, вокруг Крутых Лук, а только для чего ей об этом знать? Он, может, Лександра-то, и видеть ее не хочет, повоет, как пес бездомный, шелудивый, и убежит. Ей от того радости немного...

Промолчал... Скорее бы побросать в сани узлы, сундучишко, ребятишек, а после того все уже не в твоей власти. Куда повезут, что с тобой будут делать,— дело не твое. На месте будешь за болотом — вот тогда уже снова за жизнь хватайся, за невеселую землю, за избу какую-никакую... Вернее всего, с землянки начинать придется...

Сказал Ольге:

— Ну, отдал бы я вчерась зерно, а дальше что? На другом бы на чем не уступил, не так сказал бы. И в аккурат — то же на то и вышло бы...

Может, и еще что сказал бы, но тут Митя снова в избу вошел. А этому что обратно надо? У него какие слова в горле застряли?

Он видишь что надумал — глазами в Клавдию уперся и тихо так называет:

— Клавдия Петровна!

Та не услышала — не до него ей. Он снова повторил:

— Клавдия Петровна!

— Ну! Кого тебе? — спросила Клавдия и, как сидела за столом, рук от лица не отняла...

— Вы, Клавдия Петровна, поскольку происходите из совсем другой классовой прослойки, могли бы заявление подать... И заявление могли бы рассмотреть положительно. И вас в Крутых Луках оставить. Даже вместе с детьми.

Она не сразу поняла, о чем Митя-уполномоченный говорит, а когда поняла, руки отняла от лица, поглядела на него:

— Кутенок ты разнесчастный! А я-то за тобой ходила, на стол тебе подавала, портки твои штопала, и все зря. Неужто зря?! Души в тебе ничуть не прибавилось? Степан вот пришибет тебя сейчас, кутенка, а я и слова не скажу — пущай пришибет!

Отвернулась.

А Митю в ту минуту правда что взять бы за ноги и головой об пол...

И не жалко. Своих ребятишек пожалеть надо было — как раз через это они и вовсе могли бы без отца остаться.

— Я, Клавдия Петровна,— проговорил Митя,— считал долгом вам об этом сказать. Не мог не сказать.

Шпингалет надо еще один отвинтить. И крюк от зыбки...

Нечай Хромой пришел в тулупе, с кнутом.

Пришел — сказал:

— Собрался, Степа? К новой жизни?

— Давай понужать, что ли...

Нечай избу оглядел, на печку сунулся — может, нужное что оставлено. В ограду вышел. А когда вернулся, ящичек принес небольшой с гвоздями-пятидюймовками.

— Ты как же это, Степа, а? Забыл? С этих с гвоздев, может, как раз тебе и начинать все приведется? А я, слышь, сам назвался тебя на станцию отвезть. Сам. Кто-никто повезет, а коли так — пущай я. Соседи мы. И дружки обратно.— Помолчал, у Мити спросил: — А вот скажи, уполномоченный товарищ,— правда ли, будто Чаузов Степан, крутолучинский мужик, кулак и людям вражина?

— Нет,— сказал Митя.— Чаузов — кулак не настоящий.

— А почто же ты его высылаешь по-настоящему?

— Переделка всей жизни, товарищ Нечаев. И люди разделились на два противоположных лагеря: одни — «за», другие — «против». А кто-то еще и посередине. И такого вот среднего самый какой-то ничтожный случай может толкнуть туда или сюда. Здесь — такой случай. Он.

— А ты себя по случа́ю сослал бы за болото? Себя — не Чаузова! Глянется тебе так-то? Себе перекос сделать?

— А я не боюсь, товарищ Нечаев,— ответил Митя.— Я ничего не боюсь — что меня кулак убьет или еще хуже — советская власть за кулака нечаянно примет и за болото сошлет. Лес рубят — щепки летят... Я честно служу делу.

«Ты гляди, однако, какой он парень — этот Митя?» —

подумал Степан, но какой он — так и не ответил себе. Глянул на Клавдию.

Из-под шали, опущенной на брови, она тоже кинула взгляд на Митю:

— О честности говоришь?! Честное-то правдой дается, не разбоем!

— Разбой — это, Клавдия Петровна, для себя, для личного обогащения. А здесь — борьба за светлое будущее. Ваши слезы — последние слезы. Может быть, еще пройдет лет пять — потом классовой борьбы у нас не будет, установится полная справедливость. И слез не будет уже. Никогда!

— Понятно как объясняешь...— вздохнул Нечай.— Вовсе понятно. Только сильно торопишься. Но ты не гляди, будто вот я, к примеру, седой да хромый... Такие и живут на земле — ни война, ни голодуха их не берет. Живут и обещанное помнят... Ну — понужаем, что ли?

Ольга на крыльцо выскочила в полушалке в Клашкином, а ребятишки ее — кто в чем, меньшой и вовсе босиком... Как получилось: Ольга в дому осталась, а Чаузовых уже в нем нету?! Долго ли только Ольге в чаузовском доме поживется? Едва ли долго... Может — неделю. А может — час какой...

Полкашка головой своей нескладной туда-сюда по ограде тыкался. Его на цепь закинули, чтобы за хозяевами не увязался.

Вещички в пароконные розвальни побросать — одной минуты дело.

Тронулись...

Свои, деревенские, у ворот стояли. Баба взвыла какая-то — на нее прикрикнули:

— По живому ревешь, будто по покойнику. Замолчь, а то как раз и сбудется. И за болотом, подикось, земля!

По дороге за санями Терентий-глухонемой, Егорки Гилева родной брат, увязался было... Мычал, руками что-то показывал, никак не мог понять — что такое случилось?

Где ему, глухому и немому, было понять?

Капель была — первая в году. С крыш сосульки нависли, и капли — крупные такие — в наледь на земле ударялись, звенели: кап-кап! Кап-кап!

НАШИ ЛОШАДИ

Повесть

Игреневая лошадка Семы Кочкина, перепрыгнув через камень, первой ступила на ровную-ровную и ярко-зеленую поляну и вся, от головы до хвоста, распрямилась и обрадовалась. Она как бы представилась кому-то: «А вот и я! Жива-здорова! Игреневая!» И повела глазом на своего седока, на Сему Кочкина, а тот закричал «ура!».

Мы все «ура!» троекратно подхватили.

Рядом, в каком-нибудь десятке метров от нас, вырвавшись из ущелья, пенилась и гудела река Аргут, так сильно, так победно, что мы не услышали своих голосов, но это ничуть нам не помешало,— мы видели наше «ура!» на лицах друг друга.

Мы все были живы! И зелень, и открытость, и приветливость большой поляны четверть часа назад могла быть не более чем нашей мечтой, почти невероятной и неисполнимой, но вот она явилась в реальности, наша великая мечта,— часто ли это случается в жизни? — и мы только-только не сходили с ума от этого явления...

От этого земного уюта, от совершенной безопасности земли, которую мы так редко замечаем, если нам ничего не грозит.

Ну теперь-то мы его прекрасно видели — прямо в лицо,— это земное совершенство, которого четверть часа назад, карабкаясь на своих лошадках головокружительной тропой, мы были полностью лишены.

Лишены и чувствовали себя за что-то наказанными.

За что — теперь нам было уже все равно. Мы знай себе плыли на своей ровной и зеленой лужайке, словно на ковре-самолете, словно на парусной шхуне, плыли

нно туда, куда хотели,— в свое дальнейшее существование.

Наши лошади, вздрагивая, нервно и жадно хватали траву — реакция на все то, что с ними только что происходило. Лошади деловито торопились продолжать свою жизнь на этой чудесной земле, а люди были суетны, растерянны и не знали, что в своей радости делать, как себя вести, о чем думать и что вокруг себя видеть.

И отвесная скала, через которую мы только что перевалили, уже показалась нам совсем обыкновенной — ничего особенного, как все скалы, так и эта скала, а все скалы и горы, окружающие нас, оставшись без нас, потеряв над нами власть, тоже предстали перед нами довольно обыкновенными, точно такими, каких много на свете. Они, правда, были картинно красивы, эти горы, в свете еще не созревшего солнечного заката, наделенного дневною синевой, в яркой зелени своих подножий, в причудливых, а в то же время вполне законных и на вечные времена неизменных очертаниях своих темных, а местами и обледеневших вершин...

Пусть будут красивы, если им так нравится!

Мы были сейчас снисходительны ко всему на свете, и к красоте тоже.

Мы отъехали от Аргута немного в сторону, чтобы лучше слышать друг друга, и — вполне естественно — наши взоры обратились к нашему шефу, к начальнику экспедиции Владиславу Кузьмичу Богоевскому. Что он скажет? И какие с его стороны последуют ценные указания?

— Кто говорил, что тропа непроходима? — воскликнул Владислав Кузьмич.— Кто говорил — не спустимся? Кто говорил — надо поехать в обход? Кто говорил — надо бессмысленно потерять почти двое суток?

Очень-то нам нужно было теперь вспоминать, кто все это говорил! Может, и никто, может, Богоевский все это сам выдумал? Только что? Впрочем, мы и к Богоевскому тоже были снисходительны. И вот улыбались, а больше ничего. И позволяли Богоевскому и дальше горячо рассуждать по поводу нашего «суворовского броска».

Но тут Сема Кочкин проговорил:

— А ведь Ворожцова-то, Кости-то, нет!

— Этого не может быть! — ответил Семе Богоевский другим, очень требовательным голосом.— Понятно? Не мо-жет!

Но это было: не было Кости Ворожцова.
А с его отсутствием не было и нас: если все мы здесь, на этой поляне, а один потерян нами неизвестно почему, неизвестно как, тогда какие же это «мы»?
Мы стали вспоминать и вспомнили: Костя-то ехал по тропе последним! Замыкающим!
Мы смотрели друг на друга, а все вместе — на Богоевского. Он должен был что-то разъяснить. Что-то решить. И предпринять.
Может быть, он погрозит нам пальцем и рассмеется: вот какая произошла шутка!
Владислав Кузьмич пальцем не грозил.
И все это случилось...
Но, оказывается, случилось еще не все: Верочка Баклаева тронула свою лошадь и, не успели мы что-то сообразить, скрылась с наших глаз.
Была — и не стало! И Верочки тоже не стало!
Сумасшествие???
«Конечно, мы ведь давно знаем, что Верочка Баклаева — сумасшедшая девчонка!» — подумали мы в тот же миг, но легче нам от этого не стало. Ничуть.
Мы не видели, каким образом исчез Костя Ворожцов, но как произошло исчезновение Верочки, видели все: она тронула лошадь и вернулась к берегу Аргута; склонившись в седле, она стала смотреть вверх и влево — туда, где, огибая каменные глыбы, едва заметная тропа круто взбегала на скалу, а может быть, падала со скалы вниз, — все зависело от того, что предстояло здесь человеку — подняться вверх или спуститься с высоты. В том, как внимательно рассматривала Верочка тропу, мы не заметили ничего особенного — она волновалась, ожидая Костю Ворожцова. Естественно!
Но вдруг она хлестнула лошадь и с места взяла вверх, показалась в выступах скалы раз, другой, третий — и все. И скрылась!
Странная все-таки вещь наше сознание — оно тут же изменило самому себе, и вот уже мы были уверены, что Костя, живой-здоровый, самое большее через десять минут обязательно вернулся бы к нам, если бы не Верочка. И все кончилось бы благополучно и радостно. А теперь? Теперь все иначе и несравненно хуже: каким образом они разминутся на тропе? Когда их лошади сойдутся лоб в лоб? Как разъедутся двое, если и одному-то протиснуться возможности почти не было! Фокус ведь был и невероятность, а вовсе не возможность!

Эту картину — две лошади лоб в лоб — опять не один из нас кто-нибудь придумал — она возникла в сознании каждого.

Самое первое, что после этой догадки произошло,— Богоевский принялся ругать Верочку, грозиться уволить ее из института навсегда и объяснять нам, какой он, профессор Богоевский, умнейший человек и крупный ученый и какие безмозглые наряду с ним и даже рядом с ним все еще существуют люди! И как это ему больно — это несоответствие.

Раскрыв этот парадокс, Богоевский задумался. Задумался и ни слова о том — что же нам делать?

Это объяснил нам «предок» Валентин Яковлевич.

Человек фантастического возраста, Валентин Яковлевич все еще не только числился в штатах института, но и нормально работал, из года в год ездил в экспедиции, и нынче он снова был с нами и сказал нам:

— Одному нужно пойти на тропу и взять с собой веревки. Может быть, он и сумеет как-нибудь помочь тем двоим. А не сумеет — вернется и скажет нам, как там обстоит дело!

— Один возьмет веревки и пойдет на тропу,— согласились мы.— А остальные? Остальные тоже должны что-то делать? Они тоже не могут без дела!

— Ждать, а больше ничего! — ответил Валентин Яковлевич. И показал нам, как это делается: расседлал свою лошадь, спутал ее и лег на землю, положив под голову седло. За бесконечную свою жизнь Валентин Яковлевич научился ждать.

На тропу, захватив веревки, пошел Сема Кочкин.

Итак, мы были здесь и там... Здесь — на ровной и просторной лужайке, и там — на крутой узкой тропе. Здесь мы изнемогали от ожидания и неподвижности, там — от головокружительной высоты и крутизны.

Очень может быть, что, разделенные на части, мы действительно уже перестали существовать как «мы». Какие-то осколки были вместо «нас», не более того.

Мы ждали очень долго, покуда вернулся Сема Кочкин, опутанный веревками с головы и почти до ног. Еще Сема волочил на плечах седло.

Он бросил седло к ногам Богоевского и сказал:

— Идут!

— И-и-идут! — завопил Богоевский.— Безобразие! Ты что, Кочкин, лишился дара речи и не можешь объяснить, что это значит «идут»?!

— Придут — увидите, что это значит! — сказал Сема.

А значило это вот что: Верочка сошла с тропы увешанная гербарными папками, сияющая, словно новейший медный пятак, а спустя минуту появился Костя Ворожцов — тоже с седлом на плечах и злой как собака. Он был увешан мешочками, в которые мы собирали лекарственные травы, штук двадцать было на нем этих мешочков. И вот что все это значило: Верочка и Костя встретились на тропе, но не в самом узком месте, а там, где можно было сойти с лошадей и с трудом, но расседлать их. Одного нельзя было там сделать — развести лошадей.

Финал: все мы были здесь, все вместе, но две наши лошади оставались там.

Новая ситуация...

Пустяком она могла быть для нас, эта ситуация, пустяком и ничем другим: все мы благополучно сошли с тропы, и только две наши лошади остались там, наверху.

Вероятнее всего, лошади были нашим жертвоприношением случаю, который вызволил всех нас из беды. На то они и были лошадьми — сначала возили нас, а потом ради нас же должны были погибнуть где-нибудь на тропе.

Ведь неблагородно для лошади умереть от старости, с потускневшей и шершавой шкурой, с выпавшими зубами.

Неблагородно быть расстрелянной из мелкокалиберки в лоб, а потом кормить своим телом жадных и вонючих черно-бурых лисиц на звероводческой ферме.

Но смерть лошади на красивой горной тропе — какие могут быть претензии? Какие и у кого? Это ли не благородно?

Однако же вот что оказалось, какой оказался пустяк: мы не могли уйти от наших лошадей. Не могли, и только!

Никто из нас не мог сказать: «Пусть остаются, черт с ними! Обойдемся! Дорога впереди спокойная, а у нас есть одна запасная лошадь! Седлайте оставшихся лошадей — еще один-два перехода, и мы кончаем наше путешествие!»

Нет, мы так не сделали. Мы приняли другое решение: спуститься берегом Аргута к ближайшему броду — два километра, переправиться на противоположный бе-

рег, снова подняться и разбить лагерь как раз напротив наших лошадей.

Мы должны были их видеть.

Мы понимали, что не сможем им помочь, но все равно видеть их нам было необходимо.

Так мы решили, и Богоевский, лозунгом которого было неизменное «скорее, скорее!», не возражал, он первым это решение высказал вслух. Собственно, это было его решение.

Какая кинолента: наш переход по тропе, наше отчаяние, когда мы потеряли Костю Ворожцова, наше смятение, когда на тропе скрылась Верочка Баклаева, наше ожидание, когда на тропу ушел Сема Кочкин, наша радость, когда все трое они вернулись...

Здесь кино потухло, в зале — а зрительным залом был весь тот белый свет с горами и лесами, который окружал нас,— снова зажегся уже заметно потускневший день.

Зрители — а мы были теперь уже не участниками фильма, а только его зрителями — заседлали лошадей и поехали к броду, к тому месту, где Аргут широко разливался по каменистой долине, перед тем как снова ринуться в темное ущелье.

На запасной лошади ехали двое: злой как собака Костя Ворожцов, а позади него сияющая Верочка.

Мы легко миновали брод, снова поднялись вверх по течению и разбили лагерь как раз против наших лошадей, так тихо, так спокойно стоявших высоко на тропе, будто бы ничего совершенно не случилось ни с ними, ни с нами.

И тут мы опять стали созерцателями этого теперь уже неподвижного кино с участием двух наших лошадей в главных, второстепенных и третьестепенных ролях...

Надолго ли? Очевидно, до самого конца этой неподвижности.

Между лагерем, который мы разбили, и нашими лошадьми расстояние по прямой семьдесят метров, не больше.

Эти семьдесят метров простирались круто вверх, в пределах этих же метров бушует Аргут.

Тропы не видно совсем, и наши лошади казались искусственно прикрепленными к отвесной плоскости скалы на той стороне Аргута.

В бинокль легко различались подробности — вот Рыжий Кости Ворожцова вздрагивает кожей, а у Красавки, серенькой кобылки Верочки Баклаевой, опускаются веки. Красавка стесняется, когда мы рассматриваем ее в бинокль.

Лошади спокойны там, наверху, и погружены в глубокое раздумье.

Можно было представить себе, будто они стоят вот так неподвижно уже много-много дней, уже привыкли к своему стоянию и психологически вполне подготовлены к такому же вот странно неподвижному и бесконечному будущему.

Любые их движения бесполезны на узкой и с той и с другой стороны перегороженной камнями тропе. Они это глубоко поняли и не пытаются изменить свое положение — опуститься на колени, чтобы сберечь силы, или спятиться назад, или столкнуть друг друга с тропы. Совершенно никаких намерений не было у них.

Никакого испуга, никакого волнения, никакого намерения. Они существовали, но в них уже не существовало, кажется, ни слуха, ни зрения, ни нервов, ни мышления.

Сумерки сгустились, и очень кстати — мы хотели отдохнуть от наших лошадей, от Рыжего и Красавки, от безупречного их спокойствия.

Мы молчали, полагая, что будем молчать много дней подряд.

Но мы очень и очень ошиблись — на другой день с утра мы необыкновенно разговорились. Как никогда прежде.

Утром Богоевский спросил у Семы Кочкина:

— Сема! Какая лошадь, по-твоему, слабее? Правая? Левая?

С расстояния семидесяти метров Богоевский ткнул указательным пальцем сначала в Рыжего, потом в Красавку, и мы поняли смысл вопроса. Мы к этому вопросу были готовы: чтобы освободить тропу для сильной лошади, слабая должна была погибнуть. Через пять минут. И еще раньше.

Богоевский недаром обратился к Семе: мы ведь всегда удивлялись, почему Сема не уйдет в стрелковый спорт? На сто метров он бил из мелкокалиберки только в яблочко, но Сема, при том, что ему было отнюдь не

какое желание отличиться и даже прославиться, был совершенно лишен спортивного духа. И отличия и славу он хотел бы иметь, но только — без утомительного соревнования.

Не переставая жевать консервированную фрикадельку «Турист», Сема ответил шефу:

— Левая... Красавка.

И мы все так же думали — Рыжий был сильнее Красавки, а Красавка умнее и слабее Рыжего.

— В левую и стреляй! — Богоевский глядел на Сему в упор.— Для верности — с оптикой! С оптическим прицелом, я имею в виду!

— Приказ? Устный? — спросил Сема.

— Могу отдать письменный!

— Не буду. Ни по устному, ни по письменному.

— Ты на службе, Кочкин!

— У-бой лошадей не входит в мои служебные обязанности!

Богоевский поморщился — слово «у-бой» ему не понравилось. Потому что не понравилось, он его повторил:

— У-бой лошадей не входит в обязанности канцелярии. А в экспедиции все может быть. У-бой лошадей — тоже.

— Не гуманно, шеф. А Кочкин по природе — гуманист. Почти до мозга костей.

— Не знал!

— Начальники должны знать своих подчиненных,— отвечал Сема, хотя и относился к шефу с большим пиететом.

— Это окончательно, товарищ Кочкин?

— Стреляйте сами, товарищ Владислав Кузьмич!

А вот этого Семе уже не надо было говорить — дикая мысль! Чтобы Богоевский стрелял сам?! Да как это могло прийти в Семину голову?!

Впрочем, она была дикой, эта мысль, в течение нескольких минут. Минуты через две-три мы подумали: «А почему бы и нет? В экспедиции все на равных. В экспедиции «мы»— это все мы! И почему бы Богоевскому лично не заняться у-боем лошадей?»

В общем, разговор Богоевского с Семой кончился ничем.

Зато с него-то и начались все другие разговоры.

Нет, мы никогда особенно не ссорились и ни в чем друг друга не упрекали. Мы молчаливо, но довольно высоко ценили себя перед многими другими людьми.

Многие другие не были связаны с природой, а мы — были. Многие другие кроме стен своих институтов не знали ничего, а мы знали горы, степи, леса и травы. Причем травы прежде всего лекарственные, значит, наши знания были возвышенны и гуманны.

Были у нас и другие, практические и красивые, преимущества.

Геологов, например, можно было послать в экспедицию и ранней весной и поздней осенью, а на буровые работы даже и зимой, а нас — только летом, в самое приятное и благородное время года, в июне — июле, во время цветения и благоухания трав...

И вообще «мы» — лаборатория лекарственных растений Биологического института — были здоровым коллективом. Во всяком случае, мы, во-первых, всегда ручались за его здоровье, а во-вторых, очень неплохо этот коллектив знали и понимали.

Мы точно знали место нашей лаборатории и в своем институте и среди других аналогичных лабораторий Советского Союза.

Мы точно знали, с какой работой мы справимся, а с какой — нет, какие руководящие указания нам следует принимать на полном серьезе, а какие — так себе, с легкой, почти невесомой душой.

Мы отлично знали, как нужно обращаться друг к другу — кто кому и что может высказать в порядке приказа, просительно, в духе просветительства или интима. Само собой разумеется, мы никогда не путали обращения на «ты» с обращением на «вы».

И многое мы еще знали о том, что такое и кто такие «мы», но лошади поставили безупречный, с нашей точки зрения, коллектив в исключительные условия ожидания и томления; мы ждали, как решится их, лошадиная, судьба там, вверху, на узкой тропе, а тем временем томился наш интеллект. И плоть тоже томилась: она не привыкла к безделью и к почти бессмысленному ожиданию. В то же время она, эта плоть, собственной кожей переживала мучения наших лошадей.

И вот тут-то, именно в этом ожидании и в этом томлении, и возникла необходимость отдать себе кое-какой отчет, кто из нас кто? Персонально. Возможно, что такая необходимость существовала давно, но только не было повода ей проявиться, мы же умело избегали такого рода поводов.

Мы давно привыкли и умели быть «нами», а в эту

…у входило — держаться от этой необходимости подальше.

Нет, нам не нужны были ни самокритика, ни самоотчеты, но дело было в том, что в нынешнем томлении мы уже не могли избежать давней необходимости.

Может быть, нам представлялась портретная живопись прошлых веков: бороды, сквозь бороды — лица, сквозь лица — характеры, сквозь характеры — судьбы, и вот мы тоже смотрели нынче друг на друга — что за портреты?

Бород у нас не было, только у Семы Кочкина светленькая и полудетская, возникшая то ли по лености, из-за того, что в экспедиции было хлопотно бриться, то ли и в самом деле предназначенная для будущей серьезной бороды... Одна, вот этакая неопределенная бородка на всех мужчин нашей экспедиции (совсем жиденький клинышек на подбородке Валентина Яковлевича не в счет) — не маловато ли? И мы смотрели друг на друга безо всяких «сквозь», а напрямую, непосредственно.

Так и есть — нынче мы шли навстречу своим собственным портретам, характеристикам, анкетам — нам было все равно, как все это называется и обозначается.

Мы шли на «вы», как говорилось в старину. «Моя характеристика? Для нее чего-нибудь не хватает? Так вот вам это что-нибудь, вот оно, вот оно, вот!»

В конце-то концов мы все нынче оказались на равных, нам нечего было друг перед другом терять, а главное, приобретать — ни репутаций, ни авторитетов, ни путевок на курорт.

Единственное исключение из этой анархии: под № 1 сразу являлся нам строгий образ нашего шефа. Нашего Богоевского Владислава Кузьмича — ведь он-то мог нынче и приобрести, и потерять... в наших глазах.

БОГОЕВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ КУЗЬМИЧ

У детского писателя Бориса Житкова, помнится нам, есть такие слова: «Хуже нет — новые штаны: не ходишь, а штаны носишь!»

Мы сказали бы несколько иначе: «Хуже нет, когда начальник экспедиции — сам директор института!»

Начнем с того, что войдем в его положение.

Вот он сидит, директор, в своем кабинете и, начиная с весны, главным же образом — в середине лета, отправляет на юг и на север, на восток и на запад чуть ли

не десяток экспедиций... Конечно, вслух или про себя, но только ему обязательно скажут: «Кабинетный руководитель! Сам бы поездил! Сам бы узнал, почем фунт лиха! Сам бы...»

И вот директору тоже надо ехать «в поле», и он возглавляет одну из экспедиций. Но ведь ему, директору, в те же самые дни, недели и месяцы в Академию наук надо? В министерства, в главки надо? В издательства? В комиссии? В комитеты?

В собственный институт, в котором без него один только бог, да и то приблизительно, знает, что и как творится,— надо?

А санатории? А курорты? Не говоря уже о том, что в летние месяцы сыновья и дочери директора, сыновья и дочери его родных и знакомых поступают в высшие учебные заведения?

Ну конечно, в экспедиции, которую возглавляет «сам», спальные мешки всегда свеженькие, не бывшие в употреблении, зато и «скорее-скорее!» становится неизбежным злом, предначертанием экспедиционной судьбы.

Что касается Владислава Кузьмича — у него этот девиз возник в уме и в крови два года девять месяцев назад, в тот миг, когда торопливым и жадным взглядом он окинул приказ о назначении его директором института.

Это были два разных человека и две разные жизни — Богоевский до и после приказа.

Мы знали Богоевского вот уже лет восемь, все тот же рост — 182 сантиметра и тот же желтоватый цвет лица, но больше ничего общего между тем и этим Богоевским не было.

Из квартиры того Богоевского врачи не выходили ни днем ни ночью, а он — не выходил из академических и прочих поликлиник, санаториев и бюллетеней.

Только после долгих и пунктуальных переговоров с женой Богоевского мы, сотрудники его лаборатории, могли получить свидание с шефом продолжительностью сорок, максимум сорок пять минут.

«Гипертонический криз», «спазматический криз», «коронарная недостаточность», «нарушение обмена веществ», «нулевая кислотность», «пониженный гемоглобин — повышенное РОЭ»— вот каков был проблемный список нашей лаборатории, в котором, надо отдать нам должное, мы научились тонко разбираться и делать из

него прогнозы, которые оправдывались в подавляющем большинстве случаев.

Прогнозы эти всегда касались одного вопроса: когда, где и в течение скольких минут можно будет видеть шефа для получения от него ЦУ — ценных указаний?

Притом — ценных действительно, а вовсе не в насмешливо-ироническом смысле.

Так шли годы нашей жизни и труда — под знаком самых различных «кризов» нашего шефа.

И вдруг известие: прежний директор уезжает в Москву, на его место назначается... Богоевский!

Мы были потрясены, но, признаться, не до конца. Оказаться потрясенными до конца мы не успели, потому что уже на другой день в институте загремели толковые, решительные и требовательные приказы Богоевского, а еще через месяц весь институт твердо знал, что вход в кабинет нового руководителя свободен, но только — в нерабочее время, где-нибудь часов в шесть-семь, в рабочие же часы он сам вызывает к себе то одного, то другого сотрудника, сам посещает лаборатории, сам проводит ученые и другие советы и вообще везде и всюду сам.

Спустя еще год Богоевский был уже членом нескольких академических, ведомственных и межведомственных комиссий и советов в Москве и по этому поводу летал в столицу нашей Родины на понедельник-вторник, на четверг-пятницу, а то и на одну только пятницу. Все эти перелеты совершались им запросто, как будто бы он ехал в электричке из города на дачу, с дачи — в город, а чтобы не терять время в полете — читал там, держал корректуру и даже, говорили, подписывал разные служебные бумаги.

Житье при старом директоре вспоминалось нам теперь... Голубой сон — вот как вспоминалось оно!

Не то чтобы одним выходным днем вспоминались те минувшие времена, конечно, нет, но были тогда вполне нормальные рабочие дни, когда и в десять утра, и в пять вечера о любом из нас можно было сказать: «Ушел на обед», а женщинам в тот «скользящий» обеденный перерыв можно было сбегать не только в продовольственный, но и в промтоварный магазин.

А если действительно в магазине «выбросили»? Такой предмет, который и выбрасывается-то для выполнения плана торгового предприятия только в конце месяца? В конце квартала? В конце года? И даже — реже?

Или — если выброшены говяжьи сосиски?

При старом директоре мы имели все основания утверждать, что «наша лаборатория — наша крепость», теперь ворота всех крепостей были распахнуты, сквозь них каждую минуту мог войти «сам» и завести разговор не только с завом, но и с лаборантом.

Мы думали — это долго продолжаться не сможет, новая метла метет, а проходит время, и все возвращается на круги своя, в прежнюю колею, но оказалось, что прежней колеи уже нет.

Вот так: не хотел Богоевский работать в институте — не работал, хотел — работал «как зверь» (Семы Кочкина выражение). И то и другое было для Богоевского поведением вполне логичным, вполне оправданным.

Вообще мы не могли припомнить случая, чтобы Богоевский ошибался. В достижении целей, которые он ставил перед собой,— никогда.

Нынче Богоевский завел нас на сумасшедшую тропу — и это была его первая ошибка.

Он позволил нам задержаться около наших лошадей — вторая.

Две ошибки подряд, и притом на глазах всех нас,— не много ли для Богоевского! Слишком много!

И, должно быть, поэтому мы и занялись его портретом. Его ошибки стали нашим стимулом в этом занятии.

Именно с него мы начали...

Лиха беда начало!

Итак, мы вполне объективно отметили, что Богоевский во все времена и серьезно был нужен институту. Даже когда он, бывало, не выходил из кайфа.

Кайфовать-то он кайфовал, на собраниях и заседаниях его никогда не бывало — «болен», но в то же время периодически выяснялось, что в таком-то академическом журнале опубликована его статья, в таком-то издательстве — книга, а еще где-то он редактор сборника или соавтор учебника.

Так что же ему еще-то нужно было, какого черта, когда он пошел на должность директора?

Ведь годика через два-три он обязательно вышел бы в членкоры, а теперь?

Теперь он взял на себя обязательства доказать, что он не только серьезный ученый, но и умелый руководитель. Лишний экзамен назначил себе Владислав Кузь-

мич. И — нелегкий. И — деликатный: наш прежний директор занимает в Москве пост, как теперь он-то посмотрит на картину: при нем институт был как все институты, не хуже, не лучше других, при Богоевском — по всем показателям выходит вперед?

Ах как, ах как сильно захотелось Владиславу Кузьмичу вскарабкаться на пьедестальчик!

Он вскарабкался.

А в это время на берегу Аргута Сема Кочкин объясняет Косте Ворожцову:

— Знаешь ли ты, Костя, что начальство не любит, когда кто-нибудь говорит умнее, чем оно?

А Костя в ответ удивляется:

— Наив! Начальству никогда не придет в голову, будто кто-нибудь говорит умнее, чем оно!

И в заключение вечером, около костра, Богоевский уже сам себе:

— Лет через пять-шесть умру... В полной апатии к чрезмерному количеству ничего не значащих слов. Которые произносятся неизвестно ради чего...

У Семы снова вопрос:

— Даже когда объявляют: «Слово предоставляется...»?

— Ах, если бы только...— вздыхает Богоевский... Вздыхает, молчит, а потом возвращается к прежней теме: — Для тебя, Семен, самый счастливый человек — папа римский...

— Почему папа?

— Папа несколько раз в день видит свое непосредственное начальство распятым!

Итак, мы твердо знаем: Богоевский задумался...

«А-а-а, голубчик, задумался!» И мы рассматриваем его, задумавшегося. В упор. Картина для нас новая: мы знали Богоевского очень знающим, знали умелым, но задумавшимся — никогда!

Этот задумавшийся Богоевский рассказывает о себе:

— Тридцать три года и четыре месяца назад я простудился. На заседании ученого совета. Потный сел около форточки. Воспаление легких. Смертельное. Едва выкарабкался. Молодой был и здоровый кандидат наук, но пенициллина-то еще не было!

Теперь — второй случай. В сорок восьмом году. Я в одной московской приемной перехватываю одного человека и подписываю у него справочку. На сереньком таком листочке. О том, что я — не вейсманист и не морга-

вест. А двое моих коллег таких справочек не имели. Так сколько они пережили! Один столько пережил, что и жить-то перестал, другой... А меня миновало! Нет, робяты,— Владислав Кузьмич с особым, скорее всего доверительным, значением произносит слово «робяты»,— от каких случайностей зависит наша жизнь и здравие — уму непостижимо! Следствие? Хотите знать? А вот: когда случай срабатывает на тебя — невозможно ему отказать! Ведь это так редко, так редко бывает, чтобы случай работал на тебя! На кого-нибудь то и дело, но — на тебя?! Подумать только! Бог мой, да разве можно отказываться от собственного случая?!

Странно, что Богоевский, человек логический и последовательный в достижении своих целей, придает такое значение случайности и случаю.

Его теорию по этому поводу мы знаем, слышали не раз, но все еще не привыкли к ней.

«Рождение каждого человека в этом мире — дело только случая, происхождение мира — тоже случайно, и весь мир от начала до конца аморфен. Он дает массу материала для любых сюжетов, но сам принципиально бессюжетен! Вы думаете, Шекспир — гений?! Ерунда! Истинный гений видит аморфность и хаос мира и понимает, что истина бессюжетна, и только подмастерья и разные вундеркинды придумывают сюжеты, так же как некоторые сотрудники «Огонька» — кроссворды. Из тысяч слов, конечно, можно составить кроссворд, но слова как таковые вовсе не предусматривают кроссвордов.

Особенно бессюжетна живая жизнь. Мертвые сами по себе небесные тела подчиняются сюжетам механики, но жизнь, которая происходит на земле, не имеет никаких постоянных законов, а непостоянство — это уже не закон, а скорее всего беззаконие.

Вот и среди современной растительности встречаются реликвии и, вероятно, создаются какие-то новые виды, которых мы еще не замечаем, а среди людей существуют народы, научившиеся летать в космос, и дикие племена, совершенно не знающие грамоты. Какой же это закон? Кроме того, к закону не должны быть приложены такие понятия, как «хорошо» и «плохо», а все, к чему их можно хотя бы ненадолго приложить,— это не закон, а чертовщина!»

«Во консерватизм так консерватизм!»— восхищается обычно Сема, выслушивая сентенции шефа, а мы никогда не понимаем Семиного восхищения.

И Богоевского не понимаем... Оригинальность — или оригинальничание? Убеждение или оправдание самого себя перед самим собой? И перед нами тоже?

Ведь тут же, в ту же самую минуту, Богоевский говорит:

«Нужно, чтобы от тебя исходило электричество творчества!»

«Нужно, чтобы твое собственное напряжение доставляло тебе удовольствие!»

«Нужно...» И тут, подчеркивая слова «тебе», «тебя», «твое», он излагает некоторые тезисы своего практического существования и даже стремится к самопониманию. Стремится в меру текущих потребностей — насколько это нужно сегодня, настолько Богоевский сам себя и узнает, упаси бог — на сто граммов больше! Вот это уже совершенно ни к чему!

Сема в это же время говорит не без внутреннего восхищения Богоевским, хотя для нас это восхищение всегда непонятно, мы не можем его объяснить, тем более что Сема не льстец, не подлиза какой-нибудь.

— Во даете, Владислав Кузьмич! Во даете! Во даете жизни! — восхищается он.— А у меня к вам вопрос, Владислав Кузьмич: мы действительно ищем те самые травы, которые вы считаете самыми нужными? Или не те? — И Сема взмахивает над головой деревянной палкой, да так и остается в позе человека, на кого-то замахнувшегося...

Конечно, вопрос для Богоевского больной: у него собственные взгляды на фармакологию, на перспективы ее развития, и если этих взглядов придерживаться строго, тогда нам нужно искать совсем не те травы, которые мы из года в год ищем по всей Сибири, а иногда и на Дальнем Востоке.

Богоевский пожимает плечами. Он делает это меланхолично.

— Фармакология все равно будет широко и еще долго пользоваться теми травами, которые собираем мы...— объясняет он.— Значит, будем собирать это общеизвестное и привычное для всех лекарственное сырье, не нарушая психологического и тоже лекарственного фактора привычки. Тем более будем, что мы делаем это даже лучше других, ведь мы высокие специалисты...

— Иначе говоря — выше пупа не прыгнешь? — все еще допытывается Сема, а Богоевский, тоже вполне серьезно, отвечает на вопрос вопросом:

— А где у тебя пуп, Сема? На каком месте? Это очень существенно.

— Неустранимые противоречия? — упорно продолжаем мы, а конкретно Костя Ворожцов — свое интервью с Богоевским, не теряя надежды на какое-то откровение.

— В нашем обществе неустранимых нет — устраним!.. Когда-нибудь. — Потом задумывается... — Ведь вся жизнь,— отвечает и дальше Богоевский и теперь указывает пальцем вверх, на тропу, где стоят две наши лошади, Красавка и Рыжий,— вся живая жизнь — это сплошное противоречие. Хотя бы потому, что она существует ради того, чтобы когда-нибудь погибнуть. Может быть, скоро. Например, завтра. Ну а человек — квинтэссенция жизни, и прежде всего — всех ее противоречий. Нет в жизни всего живого такого противоречия, которого лишен человек! Нет такого противоречия, которое не имело бы отношения к человеку!

Вот он — наш Богоевский, поглядите на него!

Лошади, лошади, все — они!

И хотя виноваты они, мы, наверное, все равно напрасно вот так, панибратски развесили уши, беседуя с Богоевским, напрасно предались откровенной психологии! На другой же день нашего сидения на берегу Аргута и нашего почти непрерывного смотрения на тропу, где стоят две лошади, Богоевский говорит:

— Ладно, робяты, нынче антракт в моей жизни! Я согласен. Ну потеряю недельку, подумаешь! В тюрьмах вон люди сколько теряют! Но когда вернемся в институт — я с вас эту недельку спрошу! Я с вас шкуру спущу в пятикратном размере! В библиотеках за утерянные книги в пятикратном размере берут?

— А все равно книги растаскивают! — вздыхает Сема.— Особенно художественную литературу — Распутина, Петрова. Смотря по вкусу и склонностям.

— Возьму в десятикратном. Все учту и — возьму!

Вот так. Оказывается, и своей задумчивости и своему добродушию («робяты»!) Владислав Кузьмич ведет строжайший учет! Имея в виду получить в десятикратном.

Точно ведь. «Вернемся в институт — ох лихо достанется нам, ох лихо!»— соображали мы.

Кроме этого, кроме таких-то слов, Богоевский позволял себе часами неподвижно валяться на траве, смотреть в небо и молчать!

И тогда мы обходим его стороной. Вот это уже было нам совершенно непривычно и неловко — видеть такого Богоевского! Непривычно, неловко и, кажется, страшновато. Нельзя было нам догадываться, что шеф думает о жизни вообще, например о двадцатых, тридцатых, сороковых, пятидесятых и так далее годах...

«Когда вернемся в институт — уж не придется ли нам лихо не только за нынешние денечки, но и за двадцатые — тридцатые годы? — соображали мы.— Не худо бы, конечно, отделаться пятикраткой, но надежды мало!» Мы не были вместе с Богоевским в двадцатых — тридцатых, многих из нас не было тогда на свете, и тем не менее мы чувствуем, что лихо нам будет и за те годы тоже. Как будто бы мы и не имеем к ним, давным-давно прошедшим, ни малейшего отношения, но все равно это не освобождает нас от них. Такой оборот...

В то же время мы помним обещание Богоевского — умереть через пять-шесть лет в полной апатии, и волей-неволей, а ждем от него комментариев. Ведь существенных событий и слов не бывает без комментариев.

Богоевский, конечно, не из тех людей, которые не помнят своих обещаний.

Он обещание подтверждает:

— Ну, за пять-то лет, робяты, я кое-что успею! Пять лет — это одна тысяча семьсот двадцать шесть дней, считая, что один год обязательно будет високосным! Шкуры успею с вас спустить и кое-чего другого еще сделать!

Мы помалкиваем. Мы все еще верим, что этот разговор столько же серьезный и деловой, сколько ернический и в шутку — не будем же разбираться в нем до конца.

Лучше помолчим.

Пока молчится.

Мы переходим к другим персонажам, а к Богоевскому пусть бегло, но еще вернемся — это неизбежно...

СЕМА КОЧКИН

Семе Кочкину тридцать два.

Семе Кочкину тридцать два, но он все еще — Сема, и в институте нет человека, который знал бы его отчество. Валерьянович, Витальевич, еще что-то в этом же роде — это кое-кому было известно, но не более того.

Семе нравилось такое положение дела. На это были причины.

Вероятно, их много было, этих причин генетического порядка и других, не очень известных и определенных, но одна была очевидной для всех и для Семы тоже: Сема пламенно и неизменно желал начать все сначала. А начинать все сначала больше к лицу Семе, чем Семену Валерьяновичу, Витальевичу или еще кому-нибудь другому.

Сема желал начать свою жизнь сначала далеко не в первый раз в жизни, и нынешний год как раз наблюдался такой период его биографии — то он видел себя студентом-заочником института иностранных языков и переводчиком иностранной художественной литературы, писателем или знатоком римской истории, то программистом, то автором книги о поведении дельфинов. Он всегда видел себя зримо и ощутимо, но далеко не всегда зная — кем.

Могло показаться, что Сема должен быть большим эрудитом, по меньшей мере таким же, как Костя Ворожцов, но на самом деле не так уж много он знал о тех специальностях, в которых горел желанием завтра же «начать».

Косте было очень интересно знать многое, знать без конца, но почему и зачем — ему было неизвестно, и к этой именно неизвестности у него и лежала душа.

Когда Костю спрашивали — зачем ему знать? — он отвечал:

— У каждого свое утешение...

Сема, наоборот, знал только то, к чему приводила его им же сконструированная необходимость знания, а все, что не отвечало этой необходимости, его совершенно не интересовало. Если законы Ньютона нельзя вывести за пределы механики, нельзя соединить их с чем-нибудь совсем другим, соединить каким-то подобием электросварочного шва с чем-то еще и получить таким путем новую логическую и любопытную для Семы задачу,— значит, и черт с ними, с этими законами!

Семе Кочкину они до лампочки: ими нельзя заняться вплотную!

Сема любил этим словом выражаться: «вплотную подойти», «вплотную заняться», «вплотную влюбиться».

Нет, знания не были для Семы средством утешительным, и, должно быть, все, что ему было известно в

науках, представлялось для него в таком виде, как не представлялось никому другому.

И не так все это было легкомысленно, хотя и легко,— Сема не только нам изъяснял свои соображения, он посещал высоких кибернетиков и даже их приводил в замешательство, и они начинали находить «рацзерно» в предложении перевести систематику растений на кибернетическую основу, и не только ради самой систематики, а для того, чтобы получить новый метод моделирования живой природы.

Больше того — Сема уже совратил двух молодых ученых, и они «вплотную» забросили официальные планы своей научной работы, а неофициально ломали головы над задачами, которые сформулировал перед ними Сема. А теперь и третья и, кажется, даже четвертая жертва были у него на примете.

Разумеется, своего совратителя эти люди почитали почти что гением, они упорно распространяли слухи о Семиной исключительности, а нам, его товарищам, было очень странно и как-то даже нелепо об этом слышать.

Этим двоим совращенным Сема Кочкин периодически назначал свидания у себя дома, а изредка — под сенью громадных колонн парадного и даже шикарного входа в здание нашего института, и тогда мы видели их. Во всей красе видели и наблюдали — одного смуглого, а другого блондина, одного — чуть повыше, другого — чуть пониже, как в строго назначенное время, в самом конце рабочего дня, они появлялись здесь и минуту-другую ждали Семиного выхода из огромных дверей.

Должно быть, им это было далеко не просто: ведь они тоже трудились, один в КБ, другой в каком-то хитроумного назначения институте и где-то за городом; значит, всякий раз, чтобы встретиться с Семой, им нужно было улизнуть со своей работы задолго до положенного времени.

Один смуглый, а другой блондин, они казались нам очень похожими друг на друга тем выражением почтительности, которое появлялось у них при виде Семы Кочкина. Все трое они были товарищами, и почтение тоже было товарищеским, но когда они обращались к Семе —«ты, Сема», довольно явственно слышалось нечто другое: «вы, Сема...»

И тут, при этих встречах, хотя мы и видели их со стороны, с нами тоже что-то происходило — не то заме-

[illegible]тво охватывало нас, не то смущение: разные, а [illegible] близкие друг к другу чувства.

Мы, кажется, гордились: «Вот так Сема, вот так влиятельный человек, ну давай-давай влияй, дуй до горы!» И мы же Сему упрекали: «Обманываешь, Сема, честных и, по всему видно, славных ребят! Уж кто-кто, а мы-то догадываемся, что обманываешь!» Мы чувствовали к Семе свою причастность: «Может, Сема, тебе нужен наш совет? Чтобы охмурить этих ребят окончательно?» — и мы же от Семы отчуждались: «Нет уж, давай сам! Твое дело — охмурять, мы здесь ни при чем!»

Эти оттенки чувств и функций головного мозга перемещались от одного из нас к другому, но никогда не случалось, чтобы легкомысленный Костя Ворожцов, например, только восторгался, а строгая и деловая Надежда Львовна — «Ах какая женщина!» нашей экспедиции — только возмущалась бы Семой. Тут дело обстояло несколько иначе: стоило нам заметить этих двоих, смуглого и блондина, под громадными колоннами института, каждый из нас тотчас начинал прислушиваться к самому себе: чему я-то в эту минуту подвержен — не сильной, не бог весть какой, а все-таки гордости за нашего Сему, а попутно и за себя тоже, или же — возмущению и стыду за тот обман, который я здесь подозреваю?

Кстати, именно это же смешение и смещение чувств, но только гораздо большее, мы переживали и нынче, то и дело глядя вверх, на скалы, на наших терпеливо гибнущих лошадей.

Мы опять-таки не знали, была ли в нашем ожидании их неминуемой гибели наша слабость и никчемность, или же это ожидание говорило о том, что мы душевные люди?

Мы невольно экстраполировали это состояние куда-то еще выше и еще дальше, в те пока что не наступившие события, которые рано или поздно, но все равно захватят нас. В какую-то еще неизвестную нам погибель всего белого света, должно быть, проникали мы при этом тихо, скромно и смиренно...

Но, собственно, разговор идет ведь не о нас всех, — разговор персонально о Семе.

Конечно, много бы дал нынче Сема, чтобы перед ним сию минуту появились его почитатели — один смуглый, другой блондин, один чуть повыше, другой чуть пониже. Или хотя бы один из них.

Он бы их ныне пожалел!

Сема ведь очень любил их, совращенных, жалея: «Уж эта наука — что только не делает с человеком! Между прочим, вот проблема: «Ряды психологических явлений, сопутствующих выбору научной задачи»! Ай! Чем не проблема? Вот бы заняться вплотную! Вот бы нашелся на эту проблему хороший человек?»

А ведь эту пагубную страсть к постановке проблем в Семе подогревал не кто иной, как Богоевский.

Уже довольно давно выяснилось, что они — Сема и Богоевский — на какой-то мыслительной орбите прекрасно состыковались.

«Найти в науке свою тропу — дело относительно пустяковое и даже эмпирическое,— утверждал Владислав Кузьмич.— Главное — в другом: когда тропа вывела тебя на открытое и большое поле — вот тут сориентироваться, тут определить азимут!»

Владислав Кузьмич утверждал это как бы между прочим, но Сема, который полагал это утверждение важнейшим и чувствовал себя на открытом и беспредельном поле не то Ильей Муромцем, не то Владимиром Вернадским, немедленно начинал вычислять азимуты, следуя которым целый ряд наук завтра же перейдет из современного состояния в надсовременное.

Все это продолжалось вот уже девять лет — ровно столько, сколько Сема Кочкин работал у нас в лаборатории. Никуда он от нас не уходил и ничего не начинал сначала, но все равно не только он, а все мы верили: вот-вот начнет.

И, возвращаясь из очередных отпусков, мы интересовались:

«Что новенького в лаборатории? Сема Кочкин у нас? Не ушел? Никуда?»

«Сема-никуда!»

И было в общем-то приятно, что «никуда».

Сема плюс ко всему, плюс к этим его особенностям, был еще и покладистым и аккуратным парнем. Удивительно, как сочеталась в нем его «проблематичность» с аккуратностью в исполнении любого самого малого дела: за молоком ли в ближайшую деревню из лагеря сходить, рюкзак ли заштопать, письмо ли с дороги отправить,— все забудут, ни у кого руки не доходят — у Семы дойдут.

Особенно если это было поручение «самого» Богоевского, с которым Сема до смерти любил цапаться и ко-

торого обожал: «Богоевский меня понимает! Он, а больше никто!»

Понимал Богоевский Сему или нет, но беседовали они то и дело. На удивление всему институту были эти беседы самого директора с рядовым к. б. н. (кандидатом биологических наук).

В этих беседах Богоевский никогда не употреблял слово «нужно», заменяя его словом «возможно», причем в вопросительной интонации, и тогда Сема с ума сходил от старательности: всякое доказательство того, что возможность реальна, было для него что валерьяновые капли для кошки.

Разве только атомная бомба могла его смутить, которая возможна, но вот насчет ее необходимости...

Тут логика Семе отказывала, и глаза его не так уж смело начинали глядеть на мир, на науку в целом и на ее проблемы — тоже.

Должно быть, Сема был удачливым парнем, судя по тому, как он защитил диссертацию: он выдвигал-выдвигал одну проблему за другой, и вот к одной из них — «Болезнетворность растений как признак их лекарственного значения (в математическом выражении)»— Богоевский набросал несколько страниц, а потом заставил Сему эти страницы развить — получилась вполне приличная диссертация.

Эта счастливая нечаянность еще больше убедила Сему в том, что сформулировать проблему это почти то же самое, что решить ее.

Мы не раз и не два объясняли Семе, что это далеко не одно и то же, Сема легко с нами соглашался. На словах. Но что он думал на самом деле, мы так и не знали и спрашивали себя: «Мысль человека — это он сам? Или между человеком и его мыслью нет, а то и не может быть соответствия?» Применительно к Семе ответ получался как будто отрицательный — Сема не был похож на свои мысли.

Это наше недоверие он нынче сам подогревал, выдумывая проблемы по поводу лошадей. Например:

«Механизм устойчивости лошадей при максимально возможной продолжительности их стояния»;

«Психология неподвижности у млекопитающих» и так далее и тому подобное.

Впрочем, даже и этими «проблемами» Сема раздражал нас не очень, не до конца.

Он ведь был покладист и добродушен в отношениях с нами, несколько особые отношения были у него с Костей Ворожцовым, на которого он не хотел быть похожим.

Но и тут Семе везло. Костя еще больше не хотел хоть в чем-то походить на Сему, и благодаря этому Семе было легко переложить все заботы о непохожести их друг на друга целиком на Костины плечи: кто больше хочет, тот и трудиться должен больше! Чем не логика? Логика. Да еще такая, которая нисколько не мешает дружбе!

У Семы была большая, слегка начинающая лысеть спереди голова, русая бородка по периметру округлого лица, на лице самым примечательным было то, чему и положено быть примечательностью,— голубые глаза, не совсем, не до конца, а все-таки пронизывающие собеседника внимательным взглядом.

Вид мыслителя и немножко отшельника, но был ли Сема мыслителем в самом деле, без дураков, мы ведь так и не знали. Как будто бы да, но как будто бы и нет... И хотя Сема неизменно собирался начать свою жизнь сначала, был ли он человеком сомневающимся или нет — мы не знали тоже.

Кажется, сомнения не бывают способом жизни и самоутверждения, но для Семы они были и тем и другим.

К тому же — зачем? Зачем это нам было — докапываться до психологии Семы Кочкина, до которой он и сам-то не докапывался? Создавать его рисунок, который ему самому может учинить неудобства? Ни к чему и даже бестактно! Никогда прежде мы этим не занимались.

Мы что, врачи-психиатры, что ли? Или работники отдела кадров? Или темой нашей научной работы являлось такого рода исследование?

Ни то, ни другое, ни третье...

Сема был товарищеским парнем, хорошим работником и совсем не карьерист, в худшем случае — не совсем карьерист, и аккуратен до такой степени, что постоянно подавал нам повод над этой аккуратностью подтрунивать, пустить одну-другую хохму — чего еще нам было нужно?

И даже нынче, на берегу Аргута, когда главным занятием для нас неожиданно стало взаимное портретирование,— даже нынче мы не пытались разгадать Се-

и Коваина дальше того, что нам было уже известно. В целом-то Сема был каким-то кратким, ни одна из его гипотез не то научного, не то фантастического толка не распространяла его фигуры за пределы давно известного нам контура. Ну и пусть его живет таким, какой он есть,— ему это можно.

Другое дело, что мы вспомнили: года два назад, когда после университета в нашу лабораторию пришла Верочка Баклаева, она прильнула к Семе.

Вот уж кто слушал Семины гипотезы так слушал! Вот уж кто искренне поражался Семиной аккуратности так поражался!

Мы, признаться, стали подозревать: а уж не подумывает ли наш Сема над тем, чтобы «начать вплотную» не только в области отвлеченных гипотез, но и где-то за их пределами?

Но это продолжалось недолго, в лабораторию пришла Семина жена, очень на мужа похожая: личико круглое, глазки голубые, и только фигуркой против мужа не вышла — Сема парень могучий, а эта — крохотуся. И голосок тоненький, почти детский.

Детским голоском она и спросила:

— Семен Витальевич, а это,— указала голубым взглядом на Верочку,— это твоя приятельница? Да?

Тогда мы едва ли не в первый раз и услышали обращение к Семе не только по имени, но и по отчеству.

И тогда же Верочка Баклаева оказалась в полном одиночестве. Правда, ненадолго: одиночество, отсутствие дружбы и доверительности, а может быть и любви,— все это не укладывалось в представление Верочки о самой себе, о своем собственном существовании в этом мире.

И она прильнула к Ворожцову Косте.

А Сема как раз вскоре после того и совратил своими идеями с пути истинного двух молодых научных работников.

ВЕРОЧКА БАКЛАЕВА И КОСТЯ ВОРОЖЦОВ

«Литгазета» — она чем ведь только не занимается, каких только проблем не поднимает,— так вот «Литгазета» опубликовала однажды статью не то проблемную, не то постановочную, не то какую-то еще, в которой ставился вопрос: нужны или не нужны клубы знакомств для одиноких мужчин и женщин?

Все там было, в этой статье и в связи с ней, чему положено быть: и сама статья, даже — две, «за» и «против», и сообщение о нескольких тысячах читательских откликов, и резко противоположные мнения ученых-демографов, и конкретные предложения по организации этаких клубов: чтобы была там картотека с возможно полной характеристикой одиноких мужчин и женщин, чтобы были ЭВМ на случай, если нужно будет подсчитать «совместимость» потенциальных партнеров.

Так вот, этот вопрос — о необходимости «клубов знакомств» почему-то стал нынче и для нас предметом дискуссионным, и мы пустились спорить во все тяжкие, «нужно — не нужно», «полезно — вредно», и с такой горячностью спорили, как будто оказались самыми одинокими людьми на свете и теперь собирались так или иначе устроить свои судьбы исключительно с помощью «Литературной газеты».

Личные судьбы — такой мы употребляли оборот речи.

— А что? А что? — от всей души защищала идею Верочка, но защищала очень по-своему.— Если женщина любит, она никакой ЭВМ не испугается! Женщина все равно сделает по-своему, но только сознательно: она будет знать, что ей нужно преодолеть ту несовместимость, которую ЭВМ определила!

— Вот Верка так Верка! — удивлялся Костя Ворожцов, глядя прямо в Верочкины глаза и ничуть не смущаясь при этом.— Вот дуреха так дуреха! А ты подумала, как к этому расчету отнесется твой избранник? Он, может, тот же час улетит на Дальний Восток? На Камчатку? Или в ресторан «Москва» со своими друзьями молодости?

— Я его найду. В ресторане «Москва». И на Камчатке!

— Да зачем его искать-то? Если он уже умотался от тебя? — удивляется Костя.— И все эти клубы, и все ЭВМ — они же тебе совершенно ни к чему. Они не для тех, кто любит. Они для тех, кому одиночество — факт, и этот факт любым способом надо разрешить безо всякой любви и прочих эмоций, чисто деловым путем. Хоть через картотеку, хоть через ЭВМ, хоть через черта-дьявола — любым способом! И потом, что ты, Верка, толкуешь, «если женщина любит...»? Да ни одна девчонка не знает, что такое женщина!

— Девчонка лучше это знает, чем женщина! Дев-

чонка больше женщина, чем женщина! Женщина только до тех пор и женщина, пока она девчонка! — яростно защищается Верочка, а Сема Кочкин, который поначалу не слышит разговора, теперь меланхолически прикрывает ладонями сначала одно, а потом другое ухо; исполнив же эти предохранительные меры, говорит:

— Я с тобой, Баклаева, согласен: человек всю жизнь должен искать личную судьбу. Свое умственное направление! Но только это вопрос логический. Вот я. Видишь, вот это я, и я ищу, проверяю себя—что дал мне прошедший этап моей жизни? К чему привел? На что указал? А ты, Баклаева? Да ты сумасшедшая, что ли? Ты послушай, Баклаева, какие ты без конца произносишь дикие звуки: ж-ж-ж! щш! Э-э! Вэ! эМ! Дураки вы оба с Костей, вот что, вот в чем ваша беда! Вы сами себя оглушаете, вместо того чтобы думать серьезно!

— Брось ты слушать малахольного, Верочка! — отвечает Семе Костя.— Бросим слушать его вместе! Бросили!

— Бросили!!! — взвизгивает сияющая Верочка.— Отвернись, Сема, мы тебя не хотим ни слышать, ни видеть! Отвернулся?

— Ну, а теперь возвращаемся к нашему вопросу. О клубах знакомств. Будем решать практически и житейски. Согласна? — спрашивает Костя.

И думать нечего — конечно, она согласна. Сема Кочкин глядит куда-то в сторону, Костя в момент преображается из интеллектуала в рубаху-парня.

Костя Ворожцов в первом приближении — в самом первом — такой: то интеллектуал и обладатель бесконечной информации из каких угодно областей науки и техники, а то — рубаха-парень, причем рубаха в том практическом смысле, которого Верочка должна была бы бояться обязательно, но все равно не боится.

Не боится, не опасается, не отворачивается, даже после того, как Костя объясняет ей свой взгляд на клубы знакомств:

— У меня, Веруська, как? Вот я поругался с женой да пошел, да сгройл с кем-нибудь. Ну, еще пошел к приятелю — кандидату физматнаук поговорить за жизнь, за науку и литературу. А потом — куда? Потом — обратно домой, больше все равно некуда. Ну а если по дороге на моем обратном маршруте окажется этот клуб — неужели я его миную? Это же противоестественно, и вот я уже в том клубе и справляюсь по картотеке и выбираю

чью-то карточку, какой-то гражданки, просчитывая ее на ЭВеМе на предмет нашей совместимости. Понятно, Веруська?

— Да кто тебя пустит в тот клуб? — возмущается Сема Кочкин, снова обернувшись к Косте.— Кто? Туда вход будет только холостякам, только избранным одиночкам. Разведись еще раз — тогда являйся! А без этого — граница на замке. Усвоил?

Сема и не слушает Верочкин и Костин разговор, а все равно слышит, и вот будто бы и меланхолично, без интереса, а все равно встревает.

Встревает не бог весть как удачно, а главное, напрасно — не очень-то просто поставить Костю-интеллектуала в тупик, Костю рубаху-парня — еще труднее. Костя всегда знает, что говорит, знает и на этот раз:

— Наив, Сема! Пошлый наив! Ну не пустят меня в клубную дверь — залезу в клубное окно!

— И в окно не пустят!

— Трешку вахтеру! И все! И я там! И ты подумай попутно, Сема, — вот перспектива для молодого ученого, целеустремленно ищущего свое будущее: вахтер в клубе знакомств! Пятьдесят трешек в будний день, семьдесят пять — в выходные. А сколько социологических наблюдений?! Вполне хватит на докторскую! И вообще — сколько увлекательных проблем для зрелого ума и молодого сердца!

Верочка, безусловно, поддерживает Костю и тоже впадает в его тон:

— Подумай, Сема, сам с собой! О предмете! Предмет — пальчики оближешь!

Костя же, воодушевившись, почти что всерьез:

— Итак, я в клубе! Откуда мне начать? Само собою — с картотеки. Я выбираю карточку. Затем иду, закладываю карточку в машину. Просчитываю. Убеждаюсь — в первом приближении ошибки нет, иду дальше. То есть в зал знакомств. Может быть, он актовым залом называется или — конференц, дела не меняет, там тихая музыка Чайковского и фотографии передовиков производства. Там я нахожу ту, которую только что просчитал на машине. Подхожу. Намекаю. Намекаю таким образом: «Вот вам данные нашей милой машины — почти стопроцентная теоретическая совместимость. А практическая? У вас жилплощадь изолированная?» И простиш прощай мое возвращение в дом родной, к законной супруге... Разве только изредка и между делом смогу

конную навестить, поговорить о новых веяниях в вопросах семьи и брака! И столько эти клубы наделают разводов, что никогда уже и никто не справится с одиночеством разведенных! Процесс будет необратимым и вообще в том духе, что семья — это пережиток темного прошлого! В Коммунистическом же манифесте сказано: пережиток!

— Ах какой ты молодец, Костя! — восхищается Верочка. — Какой умница! Какой эрудит!

— Циник! — заявляет Сема. Подумав, подтверждает: — Циник, и больше никто. Совершенно никто!

— Умница! — поправляет Сему сияющая Верочка. — Истинный ум не боится вывода, хотя бы и циничного! И только твой, Сема, умишко сначала прикинет, не будет ли вывод циничным, еще каким-то неподходящим, а тогда уж этот вывод объявит вслух! Ну? Раскусила тебя Баклаева?

Сема несколько растерян, но не сдается.

— У Кости вовсе не ум, Верочка, а неизменная готовность скомпрометировать любую идею! Водка тоже продается из соображений благородных — поднять настроение и моральный дух выпивающего! Слышишь — мо-раль-ный! Ведь в принципе это невозможно — снабжать людей средством разрушения морали! Говорю же тебе русским языком: Костя Ворожцов прожженный циник!

— Не циник, а практик! — доказывает Костя. — То есть человек с минимумом заблуждений! Все дело вот в чем, Веруська: когда люди ставят перед собой какую-то цель — например, избавиться от одиночества через клубы знакомств, — они все свои действия начинают рассматривать с точки зрения того результата, которого хотят добиться. Но ведь результата еще нет! И, значит, этой точки зрения тоже нет! И тут единственный здравомыслящий человек это практик: он способен угадать следствия, прямо противоположные поставленной цели. Он один стоит не на той точке зрения, которой нет. Разве французы думали о Наполеоне, когда делали свою революцию? Разве они думали о поражении, когда Наполеон повел их в Россию? Разве Гитлер думал о Наполеоне, когда повел в Россию немцев? Но ведь Наполеон был. Почему никто о нем не думал? Все перестали быть практиками, принимать в расчет опыт— вот и все. Вот в чем дело! Опыта на все на свете предостаточно, но теория вымышленного результата губит

его, этот опыт. У практика благородная миссия. И ред… Теперь сипва перехожу к нашим клубам знакомств. Кто выдумал идею? Да те же одинокие женщины, которым осточертело их одиночество! «Литературка» …зак и сообщает: на десять тысяч читательских писем по этому вопросу только несколько сот от мужчин. Потому что мужики практики, а практики потому, что им одиночество иной раз даже и приятнее. Вот они и помалкивают в тряпочку. И потихоньку ждут, когда бабы устроят им сладкую жизнь.

Сема:

— Циник, циник, циник!

Верочка снова сияет:

— Умница, умница, умница! И смелый, не боится вывода! И честный: мужики помалкивают, а Костя открыто предупреждает женщин! Костя, — спрашивает Верочка, — а у тебя хватит смелости написать обо всем в «Литгазету»? Нарушить неписаный закон мужского клана?

— Хватит! — не колеблясь утверждает Костя Ворожцов. — Писать не буду, для меня это мелко, но хватит!

— А-а-а-а!.. — взвивается Сема, — вот храбрец, вот какой!..

Но Верочка не дает слова Семе Кочкину, она рвется к новым откровениям и спрашивает Костю:

— Что такое супружеская верность?

— Условность, Веруська! Условность, а больше ровным счетом ничего!

— Комментарии? — требует Верочка.

Костя всегда знает все, знает и на этот раз: католический ксендз вообще не имеет права жениться, православный нарушает законы христианства, если он многоженец, а Магомет имел пятьсот жен. Разве все это не условность! Как условились считать, так и считают, больше ничего! Ведь вот же убийство ближнего не признается ни одной религией, ни одной моральной школой, ни одним бытом, — значит, это запрет истинный, а не условный?

В дальнейших рассуждениях Костя Ворожцов из рубахи-парня и практика почти на полчаса преображается в интеллектуала-теоретика, и — боже мой! — чего только не подсказала ему за этот краткий отрезок времени его память! Все и вся тут было — и Аспасия, жена Перикла, и Таис — подруга Александра Македонского, и гетеризм, и полиандрия, идеалистическая и марксистская точки зрения в вопросах семьи и брака, Тур-

генев, Маяковский, Чайковский, Есенин, Ясная Поляна, данные последней переписи населения СССР...

Это поражает нас, причем не само по себе, а потому, что, на какую бы тему ни зашел разговор, Костя вот так же выложит перед слушателями бог знает сколько фактов, сведений, изречений, теорий!

Костя знает о летающих тарелках, кажется, все, что можно о них знать. И о Бермудском треугольнике — тоже. И о снежном человеке.

Костя, по его собственному утверждению, «существо безусловно мыслящее», но мыслящее далеко не так, как все мы, а с некоторым презрением ко всему тому, что уже известно, и с преклонением перед неизвестностью.

Костя так и говорит, что все опознанное, все научно обоснованное — это частности, только азбука и отдельные звуки еще несложившихся слов, только утренний ленч человечества, не более того (Костя любит это слово «только», должно быть потому, что за ним стоит «не только»).

Костя пишет остроумные рассказы о сотрудниках сфантазированного им «НИИБучела» — научно-исследовательского института по разработке облика будущего человека.

Есть в этом институте «Сектор грядущего питания», есть отдел «Бучел-обувь», но главное в его тематике — моральный облик все того же «Бучела». И вот научным секторам, отделам и лабораториям нет конца, и вот они соревнуются друг с другом в создании вариантов среднеположительного, положительного и сверхположительного Бучела. Тут уж каждый эмэнэс работает локтями, оттесняя своих к о л л е г и всячески интригуя, чтобы получить премиальные и в сроки выдать на-гора идеальный образ.

Костя пишет не без блеска, но еще лучше он читает свои опусы вслух по случаю дня рождения кого-нибудь из сотрудников лаборатории, само собою разумеется, он при этом пародирует. Чаще всего — Богоевского.

Богоевский не раз слышал Костины экзерсисы, давал дельные советы, подбадривал авторское самолюбие: «Совершенствуй, Ворожцов! Улучшай своего Бучела, пока я не взял тебя за воротник!»

После такой похвалы Костя обычно заводил разговор о том, что нынче пишут все, что это массовое и отрадное явление нашей современности, что сам-то Богоевский почему не пишет? Т о л ь к о потому, что

у него нет точки опоры — то есть свободного времени! Дайте-ка ему эту самую точку! А может быть, она у него есть, может быть, он ее уже давно выкроил в своем бюджете времени — кто может поручиться? И написал что-нибудь похлестче «НИИБучела»? Богоевский Косте не отвечает. Он по этому поводу помалкивает.

Костя врожденный полемист, и вообще нам кажется, что он — довольно часто! — восходит на порог иного, уже не нашего мира.

Мир этот вот-вот возникнет из небытия, которое есть не что иное, как наше собственное незнание, ограниченность и неспособность к тому «реальному воображению», которое для Кости — его изобретение и его же хлеб насущный и повседневный.

Таков в нашем представлении Костя Ворожцов — мыслитель.

Но Костя Ворожцов житейский — это не только такой же, как все мы, человек, но «слабак» среди нас и даже примитив.

Не то чтобы он был Паганелем жюль-верновского толка, который все знает, но ничего не умеет, — Костя много и хорошо умел, его гербарий всегда бывал интересным, и лошадь он умел заседлать именно так, как нужно было на сегодняшнюю дорогу — на подъем или на спуск, и книгу он приобретал у спекулянта как будто бы ни к чему, а смотришь, через год книга эта идет на вес золота. Нет, Костя плюс ко всему был человеком умелым!

Однако же всякая умелость — это не только она сама, но и ее надежность, а Костя был человеком последовательно ненадежным.

Сегодня Костя захотел что-то сделать, проникся и остался дежурить в лагере, приготовил всем нам обед что надо, назавтра — остался дежурить снова и не приготовил ничего.

— Свинство! — заявляем мы, голодные и злые. — Ведь вот вчера ты, Костя...

— Что — вчера? Что — вчера? — отвечает нам, голодным, сытый Костя. — Вчера — ведь это не сегодня? Неужели надо объяснять? И вообще, что это за фейерверк эмоций? Как в четвертом акте оперы «Риголетто»!

Вот так.

Костя непьющий может пойти и стройть за углом «Универсама»;

Костя добрый может сжадничать из-за копейки, а

жадный Костя в один день растрясти очередную получку;

Костя энергичный может впасть в полную лень и бездеятельность на много дней, а ленивый — за несколько часов своротить горы работы;

Костя-философ может рассуждать на уровне тех собутыльников, с которыми он сторойл за углом «Универсама».

Сегодня Костя заботливый, ну прямо-таки идеальный семьянин и муж, но «завтра — это не сегодня!», и вот весной прошлого года он женился в третий раз.

Мы его не то чтобы в упор, но все-таки спрашивали: как так?

Он отвечал:

— Моей вины нет. Женщины меня любят, и только! Многие. При чем же тут я?

За то, что Костя так много знал, что он был чем-то не похож на других и недурен собою, за то, что иногда бывал добрым и обаятельным, женщины действительно его любили. Сначала полюбив его только за что-нибудь одно, потом начинали любить за все, даже за лень, за то, что он был женат три раза.

Мало того, что женщины, — мы ведь тоже Костю как-никак, а любили!

Вот он стоит на самом пороге нового, еще неизвестного нам понимания мира, заглянувший туда, куда нам заглянуть все еще не дано... Нам не завидно. Что он там, за тем порогом, делать-то будет такой, какой он есть? В то же время не будешь же относиться к человеку безучастно, ведь что-то такое делает он и за всех нас, заглядывая за тот порог? Рассуждая с пренебрежением обо всем известном и преклоняясь перед неизвестностью?

Нет, право же, мы его любим!

Мы нынче одного не хотим: чтобы Костю любила Верочка, и теперь издалека, а то и без обиняков объясняем ей, почему это нельзя.

Но Верочка каждый раз приходит в неистовство. «Он женат?! Он состоит в браке? Да знаете ли вы, глупцы, что такое брак? Вы только подумайте! Вот два человека, один — магометанин, другой — христианин, и для одного многоженство — великая честь, для другого — великий грех. Ну не глупости ли? Не бред ли собачий?» Верочка уже не помнит, что только вчера услышала эти слова от Кости, а своих слов у нее — только насчет

собачьего бреда. Она не слышит, что повторяет Костю даже в интонации, и когда мы спрашиваем ее — зачем она рассуждает о браке вообще и откуда ей знать, что это такое, не лучше ли ей думать о себе? — она отвечает:

— Для каждого человека наступает час, когда он знает все! Все, что должен знать!

Так утверждает Верочка и чувствует себя истинной.

Она уверена, что Костю еще чем-то немногим надо дополнить, и тогда он станет великим человеком. Этим немногим она, Верочка Баклаева, как раз и будет! Именно она!

— Три женщины задолго до тебя думали точно так же, как и ты, Верочка!

— А вы-то откуда знаете?

— Иначе им и нельзя было думать!

— Но это значит, что они, все трое, думали не так. Они не додумались, чего-то не поняли и к чему-то не были готовы!

— Например? К чему?

— Один и тот же мужчина может быть безупречным семьянином, мужем одной женщины и в то же время — страстным любовником другой. И пусть, если это ему дано от природы! Пусть, пусть, пусть! Я согласна!

Костя спрашивает:

— Веруська, а тебе от природы не дано быть распутной?

— Если дано — буду!

— А если дано быть старой девой? И только?

— Ты гад, Костя! — отвечает Верочка.

— Твое мнение? — спрашивает Сема Кочкин у Кости. — Прокомментируй ответ. Особенно в первой его части, то есть о распутстве?

— Весь вопрос в том — можно или нельзя от этого вопроса уйти? Если взять немного повыше. Пофилософичнее. Понравственнее. Вот как Веруська — рассуждает о браке вообще, отвлеченно, и поэтому мораль, в частности для нее, готова. На тарелочке!

— Итак, Костя, ты уходишь? От вопросов?

— Я подвергаю вопрос испытанию. Если от него можно уйти, это уже чепуха, мелочь, и только! От вопроса о том, жить или не жить, голодать — не голодать, читать — не читать, любить — не любить, не уйдешь. Ни в теорию, ни в практику. Никуда. Значит, это действительные вопросы.

— Нарушаешь правила игры! — наступает Сема, и

на этот раз наступает умело. Потому что любимый конек Кости Ворожцова: «Мораль есть правила игры, которую человек ведет с обществом, и можно быть игроком, а можно быть шулером». Вот Сема и подводит Костю к дилемме — мораль или шулерство?

Косте приходится туго, но тут на помощь ему бросается Верочка.

— Сема, — говорит она, — неужели ты думаешь доказать что-нибудь словами? Своими словами за меня — за мои чувства, за мои ощущения? За все то, что — я?

Сема смущен.

И мы смущены.

Мы-то знаем не то что Верочкину биографию — ну какая у девчонки в принципе может быть биография? — мы знаем ее родословную: Верочка воспитывалась без отца, Верочкина мать — без отца, Верочкина бабушка — без отца. Так сложилась судьба трех поколений женщин. И даже у Верочкиной прабабушки тоже было что-то неладно с замужеством.

Наше воображение без всяких затруднений рисовало нам небольшую квартирку в старинном доме на Советской улице в десяти минутах ходьбы от института, и житье-бытье в этой квартирке мы тоже угадывали — там ежечасно, ежедневно, ежегодно прямо-таки из тьмы веков накапливался потенциал неизрасходованной семейной любви, который и должна была унаследовать одна девочка. Девочка Верочка. Голубоглазая, курносенькая и современная.

Мы отчетливо представляли себе и тот вывод и тот результат, который обязана была бы сделать для себя Верочка из этих столь близких ей судеб: осторожность, осмотрительность!

Но ее вывод прямо противоположен ожидаемому нами, единственно возможному и логическому, и вот мы заняты странной и, как видно, отвлеченной арифметикой: три женщины, с которыми Костя Ворожцов состоял в браке, и другие три — Верочкины мама, бабушка и прабабушка, — это что? Это 3×3, три в квадрате. Три в квадрате — неужели еще не опыт? И не память? Мы разглядываем Верочку и убеждаемся — нет, это все еще не опыт! И все еще не память!

Мы смотрим на Костю — до сих пор симпатичного для нас человека, в меру загадочного не то парня, не то мужчину. Смотрим опять на Верочку — тоже привлекательную, белокуренькую, голубоглазую, джинсовую де-

рочку-женщину... Она ведь уверяет, будто знает о женщинах больше, чем они знают о самих себе!

Мы замечаем в Верочкином лице какую-то некрасивость и странность ее слишком развитых губ и хотим угадать. может, это наследственное? Может, это и есть причина тех судеб, через которые прошли три предшествующие Верочке поколения женщин?

А Верочка тем временем продолжает яростно защищать Костю, она все готова принять только на себя одну, всю нынешнюю ситуацию, и даже не понимает, что допустила перебор: Косте не в радость, когда мужчина во цвете лет, эрудит — и вдруг оказался под защитой девчонки!

Девчонка от него без ума — это естественно, но быть под ее покровительством?! Это, пожалуй, и ужасно!

Во всяком случае это неприятность...

К тому же и мы тоже знаем, что делаем,— мы улыбаемся, мы подначиваем:

— Так-так, Верочка! Учись выручать Костю. Учись— пригодится!

Мы используем шанс: «Хорошо тому живется, кто за каменной стеной — за молодкой голубой!»

Костя мрачнеет, но тут нашей стороной допускается некоторый перебор — Верочка все поняла и сердито грозит нам сперва одной, а потом и сразу двумя руками.

— У-у-у, провокаторы!

Находится с ответом одна Надежда Львовна, умная и умудренная женщина нашей экспедиции.

— Ты глупая! — объясняет она Верочке.— До того глупа, что и представить невозможно! Ту думаешь, будто мужчинам, хотя бы вот и Косте, нужна твоя страсть? Да ничего подобного! Они боятся страсти и эмоций как огня! На кой черт они Косте?! Ему знаешь что подавай? Эстетику, вот что! Обходительную эстетику, ласковенькую, умненькую! А куда-а-а тебе до всего этого, Верка! Вот спроси Костю: почему он разводился со своими женами? Да потому, что ему не хватало в них эстетики. Ласковой и внимательной! Правильно, Костя, я понимаю?

— Может быть, и правильно, однако...

— Что — «однако»?

— Слишком много знающая женщина... тоже лишена эстетики... Такая будет мне все объяснять, да? А я не люблю объяснений!

— Квалификация женщины — это ее умение молчать, Костенька. Или ты не знал? Помолчать — это, конечно, важно и для мужчины, но для женщины это дело ее жизни...

— Все равно проговорится! Рано или поздно. И вот, пожалуйста: жена, которая знает все — от производственных отношений в современном обществе до отношений полного интима! Каково?

— А ты этого очень боишься? Этих знаний?

— Конечно!

— Ах какой первозданный мальчик! Не придуриваешься?

Так объясняет Верочке положение дел Надежда Львовна, знающая женщина. Но даже и эти объяснения Верочке нипочем. И Надежде Львовне она также угрожает:

— У-у-у, провокаторы!

Наши споры и рассуждения вовсе не сосредоточиваются на какой-то час или на два часа. Мы бродим около наших палаток, мы готовим пищу на костре и моем посуду в Аргуте, мы — и, вероятно, это главное, что мы делаем,— поминутно рассматриваем наших лошадей на тропе... Как там они стоят в мучительной неподвижности, в безмолвном ожидании своих судеб? А время от времени мы спорим и рассуждаем между собой. Причем не знаем точно — а имеем ли мы право спорить и рассуждать? Если это право у нас есть, тогда зачем оно нам? Ведь всякое право должно отвечать на вопрос: зачем оно?

Еще мы ждем, когда же Верочка пошлет нас всех к черту?

Она не посылает.

Спорит, горячится, нервничает, чуть не плачет (а может быть, уже и плачет, но только мы этого не замечаем), а «к черту!» бережет на самый последний случай.

Так ей нужно.

И нам тоже это нужно, ведь Верочка все еще подает нам надежду, что самого-то последнего случая, может быть, и не случится. Может быть.

Ведь Костя тоже все еще в борении с самим собой: он уже не может отвергнуть Верочку, но еще не потерял способности кое-что соображать.

Сообразит ли?

Вечером у костра Сема, примостившись как раз напротив Богоевского, объявляет:

— Романс «Не упрекай меня без нужды».

Потом он принимает артистическую позу или думает, что принимает, поскольку наклоняет голову и закатывает глаза. Потом поет тоненьким голоском:

Не упрекай меня без нужды.
Я критике не поддаюсь,
И замечаний многократных
Я совершенно не боюсь!

Это вызов. И не только Богоевскому, но и Косте Ворожцову: Костя мастер всяческих импровизаций, это его амплуа, и он, конечно, сочтет, что Сема суется в чужой огород.

И действительно, едва Сема заканчивает: «Не боюсь!»— как тут же Костя задает ему новую тему:

— Не пой, красавица, при мне!

Сема вздыхает и уходит в себя. Мы все видим, что ему приходится туго, но подсказать никто не имеет права. Таковы наши давние правила.

Не пой, красавица, при мне,
Не пой, а думай головой,
Что можно нынче тебе петь,
А что нет-нет
И — нет! —

выходит Сема из цейтнота. Не бог весть как, но выходит. Мы аплодируем: надо поддерживать слабейшего. Тоже наше правило.

Итак, Сема проходит первый тур, и теперь его очередь задать Косте тему.

— Вернись, я все прощу! — требует он.

Вернись, я все прощу, —

с ходу подхватывает Костя.

Упреки, подозренья.
Мы в корне перестроим наши отношенья,
Мы создадим их на других основах,
Передовой семьей мы будем снова, снова!

Не то чтобы очень здорово, но быстро. В наших оценках быстрота имеет первостепенное значение.

Сема имеет право задать еще одну тему, и, показывая глазами на Верочку, он ее задает:

— Мне минуло шестнадцать лет.

Мне минуло шестнадцать лет,
Кого люблю, того здесь нет!
Передо мной явися ты,
Не то не сносишь головы! —

выдает Костя и глубокомысленно замолкает, но тут уже и Верочка заявляет с вызовом:

— Дальше, Костя! Дальше, дальше, а то засчитаю тебе поражение! Слабó, Костя?

И вот он весь передо мной,
Такой-сякой и рассякой
И с непокрытой головой!

— Еще, дальше! — упорствует Верочка.— Слабó, да?!

И тут сообщила я ему,
Как горячо его люблю.

Верочка бурно аплодирует. Богоевский и все остальные помалкивают. «Битва акынов» продолжается.

Как и следовало ожидать, безусловную победу одерживает Костя, а потом воцаряется тишина.

Неловкая тишина...

Или мы все виноваты в чем-то и перед кем-то?

Которые постарше — виноваты перед Верочкой?

Верочка — виновата перед старшими?

Все друг перед другом?

ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ — НАШ ПРЕДОК

Когда Верочка и Костя верхами столкнулись на тропе и все мы поняли, что это действительно случилось, и страшно растерялись, первое нормальное слово среди всеобщей растерянности произнес Валентин Яковлевич — он сказал, что надо пойти по тропе пешком и посмотреть, что и как. Что там в реальной действительности? Ведь пеший может легко на тропу пойти и легко с нее вернуться!

Это было единственное разумное предложение, но Богоевский и его не понял и вот накричал что-то такое на Валентина Яковлевича, словно на мальчика.

А ведь Валентин Яковлевич был не только самым старшим среди нас, он вполне возможно, был самым старым ботаником на всем земном шаре.

Во всяком случае невозможно было представить, что

в какой-то другой точке земного шара еще один человек в возрасте далеко за восемьдесят ездит верхом наравне с молодыми по крутым горам, а собирая отличный гербарий, карабкается на вершины пешком, напевая при этом старинные русские романсы, а на отдыхе, когда все уже дрыхнут, сбитые с ног усталостью, вынимает из рюкзака томик Некрасова и глазами чувствует стихи, которые знает на память, наверное, вот уже три четверти столетия.

И так же как Некрасов был русской поэзией, так наш Валентин Яковлевич был русской ботаникой.

Дело не в том, что Валентин Яковлевич совершил в своей специальности огромные открытия, но он воплощал ботанику, он был кровью, плотью, духом и человеческим обликом этой науки.

Ведь у каждой науки должен быть какой-то конкретный облик, какое-то реальное представительство?

Нам помнится, ну хотя бы из классической литературы, что еще в недавнем прошлом так и было, и врача или юриста, инженера, педагога, ученого можно было отличить по одежде, манерам и привычкам. Вот и наш Валентин Яковлевич сосредоточивал в себе все признаки ботаника, естествоиспытателя — и бородка клинышком, и загорелое, морщинистое, интеллигентное лицо, и лупа на шнурке через шею (наверное, даже лучше сказать —«на снурке»), и сухощавая фигура путешественника, и внимательный взгляд, приопущенный к земле,— кем же еще мог быть этот человек, если не ботаником?

Чьи портреты он мог напомнить нам, если не таких русских и сибирских ботаников, как Комаров, Крылов, Верещагин?

И не только нам. Когда наша экспедиция приезжала в какой-нибудь колхоз или совхоз, нас почти обязательно спрашивали: «Геологи?» И нам приходилось отвечать, что мы не геологи. «Землемеры?» — «Нет, и не землемеры. Мы ботаники по лекарственным растениям».

Но Валентина Яковлевича никогда и никто с геологами не путал, тем более — с землемерами. О нем подругому людьми говорилось: «Старичок по травам». И только иногда возникала ошибка, однако же не принципиальная: «Старичок по лесу».

Благодаря самым различным перипетиям своей долгой жизни Валентин Яковлевич Морозов побывал в разнообразных географических точках Сибири: в степях

под Карагандой, на Колыме, под Туруханском, в Кузбассе, и специальности приобрел там самые разные — счетовода, санитара, учетчика, культработника,— однако же ничто не в силах было нарушить в нем облик ботаника. И дух ботаника.

В ботанике, а особенно в систематике и морфологии растений, которой посвятил себя Валентин Яковлевич, нет и не может быть хаоса, необозримости и дурной бесконечности — растительный мир выстраивается в четкие ряды и семейства, со свойственными только им признаками, и вот уже истый ботаник, соприкасаясь с таким порядком каждый день, удивляясь и наслаждаясь его строгостью, его целесообразностью, переносит существование порядка и на весь мир в целом. И даже на все человечество.

Во всяком случае, никакие перипетии жизни не могли поколебать этого убеждения в нашем Валентине Яковлевиче. Конечно, существование непорядка он тоже замечал, но только как в большей или меньшей мере досадные отклонения от порядка. Беспорядок для него всегда был исключением из правила, таким же, как землетрясение, тайфун или самоубийство.

И не только для Валентина Яковлевича, но и для всех нас сам факт нынешнего его существования в возрасте за восемьдесят был, кажется, следствием и подтверждением этой философии.

«Выжил ведь?»

«Выжил! Сохранился!»

«Благодаря чему?»

«Благодаря чему-нибудь... Вернее всего, вот этой философии».

Такой приблизительно внутренний диалог возникал в каждом из нас, когда мы обдумывали Валентина Яковлевича.

Вообще вот уже много лет Валентин Яковлевич был для нас не столько интересным человеком, прекрасным специалистом и все еще вполне деятельным научным работником, сколько отвлеченным понятием, скорее всего — философско-историческим.

Кажется — не может быть такого человека, а он все-таки есть!

— Кажется — декабристы, это было ужасно как давно, и, кроме книг о них, ничего другого в мире не могло сохраниться, никаких других свидетельств, но Валентин Яковлевич вдруг говорит:

— У Некрасова не совсем точно говорится о княгине Волконской. Когда я был мальчиком, племянник княгини рассказывал мне...

— Как — рассказывал???

— Посадил на колени, а потом стал рассказывать... Правда, был уже глубокий старик, но бодрый еще!

— Ну, а вот о Пушкине — у вас были такие разговоры? С людьми, которые Пушкина знали?

— Ну еще бы! Конечно! Правда, гораздо чаще у нас велись разговоры о Некрасове, Достоевском, Тургеневе... Это ведь уже петрашевские времена.

— О Толстом?

— Толстого я видел не один раз.

— Менделеева? Видели?

— Слушал его публичные лекции...

— Тимирязева?

— Климент Аркадьевич поручал мне вычитывать корректуру его работы «Солнце, жизнь и хлорофилл».

Мы преодолевали шок, и только тогда картина представлялась нам реальной...

Родители Валентина Яковлевича, люди высокого происхождения, когда-то ушли «в народ»... «Ушли по второму кругу, считая за первый — народовольцев,— пояснил Валентин Яковлевич.— В сельские учителя ушли, в уездные городки. Но там еще и первый круг оставался — люди все интеллигентные, из семей с хорошими репутациями, с обширными знакомствами в прошлом. Что же удивительного, если в детстве я с ними столкнулся?»

Вот откуда были личные воспоминания Валентина Яковлевича!

Если на то пошло, нам крупно повезло: среди нас оказался вот такой человек, и мы имели полную возможность наблюдать за ним и заимствовать от него уверенность в том самом порядке вещей, который нам не давался никак и нисколько, но мы не умели заимствовать.

Даже наблюдать и то не умели. Мы вообще очень плохо могли пользоваться возможностями, если только они не были привычными и общепринятыми. А о какой общепринятости, о какой привычке могла идти речь, если дело касается уникума?

И беседуя с Валентином Яковлевичем, мы только вот это горьковатое чувство своего неумения и чувствовали, и еще какую-то дрожь: а вдруг кто-то из нас доживет до таких вот лет? Практически — до бессмер-

тия? В принципе возможно, вот — доказательство! И нам хочется и колется, и страшно: доживешь до девяноста, а какой порядок вещей сохранишь в себе? Нет, нам нельзя доживать!

Но — как страшно! — и в этом, должно быть, и заключалась наша разобщенность с Валентином Яковлевичем: выражая во всем своем облике нечто общечеловеческое — историю людей за целый век, Валентин Яковлевич жил совершенно частной и отчужденной жизнью, и его душа, наверное, оказалась бы потрясенной, если бы вдруг узнала, что она выражает что-то другое, кроме самой себя.

Как была у Валентина Яковлевича своя зубная щетка, так была у него и его собственная душа и собственная жизнь.

Этими предметами неприятно, нельзя и некрасиво с кем-то делиться, они не для общего пользования. Они неприкосновенны даже для самых близких людей, не говоря уже о людях вообще. Правило не Валентином Яковлевичем выдумано, оно если не от бога, так, по крайней мере, опять же от человечества, так что каждый, кто претендует его бестактно нарушить, уже не с Валентином Яковлевичем будет иметь дело, а все с тем же отвлеченным человечеством...

Валентин Яковлевич изучил этот предмет, то есть свою душу, всю жизнь в совершенстве, а совершенство — это порядок, ясность и простота, а простота заключалась для него в том, что душа его была вполне определенным предметом, все три измерения которого — ширина, длина, высота — известны ему с точностью до миллиметра. Все то, что в эти измерения вмещалось, входило туда из окружающего мира,— то и было им самим, Валентином Яковлевичем. А что не вмещалось, на то он и не претендовал никогда, это ведь тоже было бы ужасной с его стороны бестактностью и неприличием! Да он умер бы от стыда, Валентин Яковлевич, совершив такую бестактность, вовлекая в себя то, что было ему не свойственно!

Однажды Надежда Львовна, будучи в расстроенных чувствах, помнится, объяснила нам, что человечество, когда-то начав с матриархата, теперь им же и кончает, что круг уже замыкается. Окончательно! Мы удивились тогда, возмутились даже: «О конце-то человечества — зачем? Об апокалипсисе?»—«А зачем и кому кошки-то мышки-то нужны? — еще более рассерди-

лась Надежда Львовна.— Небось все об этом знаете, но только помалкиваете, подавай и тут вам кошек-мышек!» — «Кто это знает, но помалкивает? Зачем голословно?! Укажите персонально — кто? Хотя бы одного укажите!» — «Хотя бы вот Валентин Яковлевич! — неожиданно ответила тогда Надежда Львовна.— Он!»

Конечно, мы тотчас к Валентину Яковлевичу: «Вы?! Это правда?!» А он: «Не только помалкиваю, но и не знаю... Не только помалкиваю, но и знать не хочу. Такое знание — это не я!»

Вот так...

А в другой раз Валентин Яковлевич сказал нам: «Самое главное в жизни — жизнь. Но мы далеко не самое главное в жизни делаем своей жизнью, а так, всякий мусор делаем ею». Потом он и еще сделал примечание, наш Валентин Яковлевич: «Я трудноват, а может быть, и косноязычен, когда говорю о чем-то самом существенном, о том, что находится вне меня и надо мной... Отсюда вывод: надо этого избегать. Этого не дано мне природой...»

Или этот образ мыслей и самочувствия возник у Валентина Яковлевича благодаря долгой-долгой жизни?

Или долгая-долгая жизнь была следствием этих мыслей и этого самочувствия?

Мы хотели выяснить вопрос, но понимали, что из ответов Валентина Яковлевича, из мудрых ответов, выяснить все равно ничего нельзя.

Тогда, может быть, из его вопросов к нам — можно? Тем более что любой серьезный вопрос к кому-то из нас или ко всем нам сразу Валентин Яковлевич обычно предварял каким-нибудь пространным рассуждением.

И вот мы старались сделать так, чтобы Валентин Яковлевич спросил нас о чем-нибудь серьезном.

Не очень часто, но это нам удавалось...

— Ну конечно, не около меня проходили поколения, а во мне и через меня! — вдруг подтверждал свою собственную и пока что не известную нам мысль Валентин Яковлевич.— Они шли и шли через меня, иные — маршем и с барабанным боем, а иные — ползком. А потом я сказал им «стоп»! и опустил шлагбаум. С тех пор прошло множество лет — и все! С тех пор я не знаю их, они — меня... Так вот о чем я хочу вас спросить: поколения все еще существуют или их уже нет? Ну конечно, возрастные группы не в счет, это явление чисто биологическое, а поколения? Вот годы шестидесятые, восьмиде-

сятые прошлого века — какие разные люди! А девятисотые, двадцатые, сороковые века нынешнего — это же разные человеческие миры! Ну, а как обстоит дело нынче? Двадцатилетия идут, а поколений, может быть, уже и нет?

— Поживем — увидим! — ответил тогда Валентину Яковлевичу Богоевский, а мы, совершенно ничего не выяснив, ни на что не ответив, поддержали Богоевского:

— Ну конечно! Поживем, а тогда и увидим!

Что мы еще отметили: хотя Валентин Яковлевич меньше всех нас волновался по поводу наших лошадей, он тоже стал разговорчивее, то одно, то другое слово говорил нам о себе самом и рассказывал, что, когда он просыпается по утрам в своем домике при городском ботаническом саду, первая мысль, которая к нему приходит,— о том, что он зажился на этом свете. Точнее: свое прожито,— значит, теперь проживается чужое... А ведь он так не любил, так не переносил чужого! Так был щепетилен на этот счет!

Ну вот, вставать ему было, значит, еще рано и не хотелось, и возникало это неприкаянное время, которое он называл ленью. По мере того как шли годы, «лень» можно было рассеять только с помощью томиков Некрасова, а когда до них доберешься-то? Лень ленью, а ведь все равно некогда, надо одинокому старику обиходить самого себя, и ему же — бежать на работу, а на работе — крутиться как белка в колесе! Ах суета! Самое противоестественное свойство человека, от нее все беды! Ведь вот в природе — нет суеты? Заяц не суетится, поэтому у него и нет проблемы самоуничтожения, подобной самоуничтожению человечества,— вот в чем дело! И зайцы жили до нас и будут жить после нас, если только мы их не уничтожим. Другого зла, пресекающего их долголетие,— нет! Зайцы не настолько глупы, чтобы уничтожать друг друга. Вот о чем не то нам, не то сам себе рассказывал иногда Валентин Яковлевич.

«Самое опасное для человека, как это ни странно думать, будто то, о чем он думает, и есть самое главное для него! Какое заблуждение!»— сказал по какому-то другому случаю Валентин Яковлевич и снова смутился, нарушив собственное правило никогда не говорить о самом главном. И вообще о «самом».

— Вы в бога верите?—спросила у Валентина Яковлевича Верочка Баклаева.

— В какого? Они ведь тоже разные — боги?

— В какого-нибудь?
— Если природа — это бог, верю. Вот старики сидели прежде на завалинках, грелись, слепые и глухие, а ведь все равно этот нагрев, это тепло солнца было их собственной жизнью. Причем не простой, а божественной. Где ее еще-то взять — такой же божественности?!
— А лошади? Наши лошади? Как вы на них нынче смотрите, Валентин Яковлевич? Мы смотрим-смотрим, а вокруг лошадиных голов будто бы нимбы. Небольшие, а все-таки. Вы нимбы видите? Глаза вам позволяют?
Валентин Яковлевич не ответил, только пожал плечами. Но мы все равно узнали, что лошади ему нынче ближе, чем всем нам остальным, вместе взятым. Все наши близости никак не стоят его одной. Одной и взаимной. Одной, но до конца естественной.

Как будто есть, существует в нашей экспедиции Валентин Яковлевич Морозов — вот он, пользуйся от него историей человечества, не откладывай хотя бы и на несколько дней.
Но как будто бы и нет его среди нас...
«Жить — это отчуждаться от жизни. Каждый отчуждается своим собственным способом...»— еще говорит он. «Лицензий на этот счет нет!»— добавляет Костя Ворожцов.

ТОВАРИЩ ПОВАЛИХИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Повалихин пришел к нам из «практической агрономии»— так сам он определял судьбу, которая привела его в исследовательский институт.
Несколько реже, преимущественно в самом хорошем расположении духа, он называл это иначе: «Я пришел к вам из руководящего состава».
А мы, в свою очередь, определяли все это дело так: Повалихин к нам не приходил, его «пришли».
На разных местах побывал наш Юрий Александрович: агрономом совхоза, главным агрономом совхоза, главным агрономом треста, главным агрономом областного управления сельского хозяйства. Потом председателем колхоза, снова главным агрономом района, заместителем предоблисполкома (это юридически, а фактически — председателем).
Где-то и когда-то, на каком-то из этих этапов, он

скал ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук,— как знал, что пригодится, как в воду глядел, потому что в конце концов получилось так, что он только кандидатом и остался. Никем больше.

Ну и раз никем больше — куда же ему были пути-дороги, если не в науку? Кандидату наук?

Юрий Александрович принял «перестановку» как дело обычное и не очень сложное. Во всяком случае, без недоумений. Его «послали», он «пошел» — разве не ясно?

Более того, он очень быстро определил свою задачу в нашем коллективе: связывать науку с производством— вот его назначение! Еще шире: связывать ее с жизнью. Кто-то ведь должен таким важным делом заниматься, без этого немыслимо!

А если должен, кто же, как не он? Человек, вдоль и поперек знающий жизнь?

И вот он загорался при слове «связь»— связь с вышестоящими, связь с нижестоящими, связь с параллельными, связь с издательствами и вообще с печатью, связь между лабораториями одного сектора, наконец.

И он действительно разбирался в вопросах связи настолько тонко и деловито, что сам Богоевский то и дело советовался с ним:

— А не написать ли нам письмецо, Юрий Александрович, в Одесский и во Владивостокский университеты? Для связи?

Кроме исполнения функций связи Юрий Александрович очень любил всех нас (кроме Богоевского) учить уму-разуму, причем обязательно со ссылкой на самого себя и свой собственный опыт:

— Вот ты, Ворожцов (Кочкин, Баклаева, Надежда Львовна). говоришь... А вот когда я был у министра по вопросу заготовки кормов, товарищ министр сказал мне...

— Когда мы в тресте оказались без семян к весеннему севу, мы...

— Когда я строил к о м п л е к с...

Нам было известно, что громадный свинооткормочный комплекс при самом деятельном участии Юрия Александровича действительно был построен, но тут же и закрыт по причине отсутствия в области кормов.

Юрия Александровича это ничуть не смущало: построен же? По плану? И в смету почти что уложились — очень редкий случай! Товарищу министру докладывали,

товарищ министр даже не поверил: «Не может быть!» И проектные показатели все были выдержаны... ко 10 тысяч тонн свинины в год! Ну?! Кто будет спорить, что не построили? Если комиссия приняла на «хорошо»?! Если по окончании строительства был торжественный митинг, который не кто иной, как Юрий Александрович открывал? Если были награды? И поздравительные телеграммы «...с успешным завершением» и «в деле дальнейшего повышения благосостояния»?

Ирония иронией, а ведь хорошая голова была у нашего Юрия Александровича. Второй Владислав Кузьмич, да и только, все дело в том, что на другой стезе.

А работоспособность?!

За каких-нибудь полгода он овладел латынью по крайней мере в объеме, необходимом для работы в нашей лаборатории, еще полгода, и фармакологическая терминология его нисколько не затрудняла.

Костя Ворожцов слегка-слегка, а взял было моду поерничать над Юрием Александровичем, но ничего не вышло.

— Знаешь, друг,— сказал Юрий Александрович,— я в вашем трудовом коллективе человек новый. Понимаю. Но как бы ты не оказался здесь новее меня: я-то работаю, а ты-то ерничаешь!

Юрий Александрович не стеснялся обращаться за консультацией по любому вопросу к любому из нас, хотя бы и к Верочке Баклаевой. Хотя бы к тому же Косте Ворожцову через пять минут после такого вот разговора с ним.

И к себе Юрий Александрович позволял обращаться в любой час дня и ночи.

Если, бывало, Богоевский скажет кому-то из нас — задержаться в лаборатории на час-два, так это ЧП, а Юрий Александрович — с готовностью! Если «надо»! Хоть до полуночи. Хоть на всю ночь! Если для «связи»— тогда о чем разговор!

Конечно, Юрий Александрович отчетливо знал, что ему-то, недавнему первому зампредоблисполкома, построившему один из крупнейших в стране свиноокормочных комплексов, «положено» гораздо больше того, что он имел в институте, очень точно он это знал, во всех деталях, но даже и отсутствие «положенного» не снижало его энергии и трудолюбия: он верил, что это самое положенное к нему еще придет. Обязательно!

В общем, несмотря на возраст, он был гораздо энер-

гичнее и проворнее нас, а умению его «выходить на связь» мы могли только удивляться.

Это так делалось Юрием Александровичем: прежде всего он объяснял человеку, с которым «вышел на связь», свою задачу осуществления контактов науки с производством, затем следовало отступление в недалекое прошлое — строительство свинооткормочного комплекса, встречи с министром, и чьи-нибудь административные широкоизвестные имена тут же упоминались, далее — элементы текущей внешней и внутренней политики и, наконец, тот конкретный разговор, ради которого имело место все предыдущее, разговор, обращенный непосредственно к данному лицу. Если это председатель колхоза,— значит, о лошадях; если завврайторготделом — о тушенке; если дело происходит не в экспедиции, а в городе и встреча имеет место с директором издательства — об издании «трудов» лаборатории, а то и всего института. Это Юрий Александрович обожал — в том или ином вопросе представлять весь — весь! — институт.

И всегда у него — о'кэй. Ну прямо как у Надежды Львовны, только гораздо деловитее и с гораздо большим общественно-политическим значением.

Нас очень удивляло, что где-то на каком-то этапе своей деятельности Юрий Александрович погорел: он казался нам несгораемым.

В нашей экспедиции он был чем-то вроде ротного старшины, завхоза, коммерческого директора и начальника управления по снабжению, и все запросто, без видимого напряжения сил или неудовольствия, и все это не мешало ему изо дня в день все больше и больше становиться настоящим научным работником. Не только не мешало, но, кажется, даже способствовало.

Он обладал неиссякаемой готовностью жить. Жить в неустанных делах, исполняя эти дела с энтузиазмом и вникая в их смысл ровно настолько, чтобы смысла хватало для исполнения этих дел сегодня.

И свое прошлое он считал безукоризненным, почти идеальным: «О вас неизвестно еще, что скажут новые поколения, а обо мне? Обо мне каждый заявит, что я выполнял свой долг на всех участках!»

И будущее никогда и ничем не было для него тревожным. Будущее, светлое и правильное, могло быть омрачено разве только отдельными недостатками. Больше ничем.

И вот такой, какой он есть, товарищ Повалихин Юрий Александрович был нам нужен. Потому что мы хотели энергии, но не завтрашней, а сегодняшней, не проблемной, а фактической, не потенциальной, а кинетической. Чтобы вот она — взял ее на ладошку, эту энергию, и пальцами почувствовал: есть! Живет! Гипнотизирует!

Даже Богоевский в этом нуждался и в нынешней экспедиции не раз вступал с Юрием Александровичем в беседы, которые напоминали встречи двух завзятых хоккеистов-болельщиков, но не: о науке ни слова, зато построенные и недостроенные комплексы, текущие трудности строительства и организации колхозного производства, расстановка специалистов, набор рабочей силы и планирование, планирование, планирование — все это они обмозговывали и вентилировали со всех сторон.

Ну и, конечно, еще вопросы воспитания молодежи.

Юрий Александрович очень любил это дело! Он утверждал, что в течение жизни он прекрасно воспитал двух дочерей, одного сына и одну жену, так что теперь все они никак не менее, чем он сам, энергичны, все наделены и другими его положительными качествами.

Нынче Юрий Александрович внимательно присматривался к нам: на ком бы из нас заострить внимание? Воспитать по мере своих сил, за сравнительно короткий отрезок времени? Он остановился на Семе Кочкине.

Он весьма серьезно, а главное, в практическом смысле принял намерения Семы начать все сначала.

— Это у тебя отчего? — спросил он Сему.

— Что — отчего?

— Ну, твое желание перестроиться и начать сначала? Неудовлетворенность достигнутым? Допущенная ошибка в выборе специальности? Недостаток трудовых навыков? Слабая комсомольская закалка?

— Нет, нет и нет — все не то! — отвечал Сема.— Наверное, Юрий Александрович, это оттого, что я во всех отношениях акселерат двадцатого века. И единственно, что меня утешает: в двадцать первом веке люди моего возраста будут еще бо́льшими акселератами!

— Брось-ка ты, Сема! «Аксельрат, аксельрат!» Что ты за аксельрацию-то прячешься? Не хотел бы прятаться — она бы тебе и в голову не пришла, и не пришла бы...

— Может быть... Может быть.

— Ну а тогда в чем дело? Ты сам-то когда-нибудь задумывался — в чем?

«Черт возьми! — подумали мы.— А мы-то ведь никогда не поставили перед Семой этого вопроса! Ну, пусть не в такой, а в другой какой-нибудь форме, пусть хоть однажды за многие годы, а все-таки этот вопрос надо было Семе задать: «Это у тебя отчего?»

Сема тоже задумался.

— Наверное, потому, что такая у меня структура мышления!

— Почему такая структура?

— А что? Неплохая! Во всяком случае вполне современная!

— На современность тоже не греши! Не сваливай на нее все недостатки, не устраняйся. Сам-то ты ни при чем, что ли? Другим так ты задачи даешь, ставишь одну за другой, а кто ты есть сам — объяснить не можешь? И чем тебе надо по-настоящему и вплотную заняться — никогда не знаешь! И не знал до сих пор! Сколько тебе лет? Точнее — с какого ты года?

— Это, наверное, вот что такое — не выработана дисциплина, а значит, и границы мышления! — догадывался Сема.

— Почему не выработаны? — продолжал нажимать Юрий Александрович.

— Проблема генетическая. Скажем, для птиц и животных это очевидно, что генетическая, для людей очевидность меньшая, но все равно это так... Это, безусловно, так, и вот вам тепленькая тема для исследователя-психолога: «Характеристики интеллекта в первом, втором и последующих поколениях»!

— А ты — о себе. О себе самом говори! О проблемах-темах я уже наслышался. Вдоволь. Теперь объясни о себе!

— Я и хочу сказать: я ведь интеллигент в первом поколении!

— И отлично! — одобрил Юрий Александрович.— Так и надо: посмотри на меня, я ведь тоже первой вполне интеллигентной генерации!— и Юрий Александрович показал себя Семе, а заодно еще раз и всем нам: свою продолговатую, дыней, голову с нечастой и слегка поседевшей растительностью, нос муромским огурчиком и энергичную улыбку.— Видал? То-то!

Сема пытался объяснить, что в интеллигенте первого поколения еще не заложена способность определения своих собственных интересов и склонностей, в частно-

сти — выбора будущей специальности, но Юрий Александрович парировал:

— Да ты на меня-то посмотри! Видел? А?

И вот так — напористостью и вопросами бесконечно простыми, но для Семы-то совершенно неожиданными — Юрий Александрович утвердил свое право воспитывать, а Сема — человек аккуратный — этому праву подчинялся.

Сема недоумевал и поеживался, словно бы на голое тело ему надевали колючую шерстяную рубашку, он подергивал себя за бородку пониже то правого, то левого уха, угадывая прихватить самый большой завиток, а все-таки подчинялся.

И могло бы, наверное, это дело пойти дальше и дальше, и Сема так и не смог бы миновать своего нежданно-негаданного ученичества, и мы, начав злорадно над Семой подсмеиваться, конечно, не остановились бы в этом занятии и продолжали бы его с нарастающим успехом, но тут вот что случилось.

— Юрий Александрович, так что же мы будем делать с нашими лошадьми?— при всех спросил Сема.— Вот так бездельничать и чего-то ждать? Терять рабочее время, пять-шесть, а то и больше дней? Срывать план научно-исследовательской работы нашего подразделения, нашей экспедиции, а потом — и всего института?! И все из-за двух каких-то лошаденок? Которых не сегодня-завтра скормят серебристым лисицам на звероферме?

Юрий Александрович задумался. Он думал очень долго, а потом отрывисто, неожиданно и решительно ответил:

— Не знаю!..

— Как это — не знаете?

— Да что я, обязан все знать, что ли? Ты в уме ли, Сема? Да разве это входит в мои обязанности?

— А если вы, товарищ Повалихин, не знаете, если вы этого простого дела решить не можете, так как же вы мне что-то такое объясняете? — до самой глубины души возмутился Сема.— Какое после этого вы имеете право меня воспитывать?

НАДЕЖДА ЛЬВОВНА — «АХ КАКАЯ ЖЕНЩИНА!»

В экспедиции наша Надежда Львовна — «Ах какая женщина!»— выезжала раз в два-три года, поэтому

никто не мог сказать, будто по возрасту или еще по каким-то причинам она уклоняется от полевых работ.

Существовала она в путешествиях непринужденно и умело: и лошадь могла заседлать и стреножить, и в кузове машины правильно расположить все снаряжение, сообразить, что может понадобиться еще не скоро, а что — уже в дороге, и выехать заранее в какой-то населенный пункт, договориться о жилье, о самоварчике, о бане — ей это тоже можно было поручить.

Конечно, она любила, чтобы кто-то помогал ей, заменял ее в хлопотах, но когда заменить некому — сделает сама, и не хуже других. И даже лучше других.

Всего лишь две недели назад, высоко в горах, на самой кромке ледников, где был тогда разбит наш лагерь, мы отметили — на широкую ногу! — сорок шестой день рождения Надежды Львовны, а это вот что значило: нынешняя экспедиция для нее — последняя. Женщин в этом возрасте институт не посылал на полевые работы.

Вот почему день рождения отмечался нами со значением, а Богоевский усердно пел и танцевал. Он лично преподнес адрес на березовой коре, и возраст именинницы был обозначен в этом адресе тот, который накануне мы окончательно установили путем общего, равного и тайного голосования: тридцать шесть годочков!

Валентин Яковлевич презентовал Надежде Львовне корзиночку из ивовых прутьев собственного художественного плетения. Истинно художественного. Мы и не знали за ним такого таланта!

Ну, а после того нам уже сам бог велел о Надежде Львовне хлопотать, проявлять к ней внимание.

Эмансипированная Надежда Львовна зажила непривычной для себя жизнью: разглядывала небо, горы и всех нас по очереди, таких для нее непривычных; ей не надо было спрашивать у нас — сыты мы или голодны, здоровы или больны?

«Женщина особенная Надежда Львовна! Ах какая Надежда Львовна!» — говорили мы с почтением.

Огромное богатство было у нее — благоразумный муж, два воспитанных сына, один маленький внучонок, и все не просто так, не случайно, а добыто ею в неустанных трудах и заботах. «С боя добыто!» — говорил Богоевский. «Правильным трудом и четкой организацией добыто!» — подтверждал Повалихин.

Мужа она увела от другой женщины в то время, когда ей самой-то было годика двадцать два, муж

[illegible] стал запивать, а Надежда Львовна стала работать над искоренением порока и добилась своего, а затем направила супруга по мебельно-торговой части, хотя по специальности он и был инженером-технологом деревообрабатывающей промышленности.

Младший сын Надежды Львовны в раннем детстве страдал костнотуберкулезным ревматизмом — она возила его в крымские санатории и тоже вылечила, старший — рано и плохо женился, мама его развела и женила снова и хорошо.

С год назад родился внучонок — Надежда Львовна его выходила и только после этого отправилась в экспедицию...

Отличная организация!

И с материальными благами все так же — все было делом ее, Надежды Львовны, рук — и дача, и «Жигули», и прочее.

При всем том Надежда Львовна прекрасно сохранилась, молода она была, да и только, сам господь-бог не стал бы спорить: ее заслуга, а чья же еще? Мы все недаром сошлись на том, чтобы считать Надежде Львовне тридцать шесть. Каждый из нас опустил в шляпу Семы Кочкина записочку с двухзначной цифрой, а среднеарифметическое вот какое получилось!

И вид ее и выражение лица о том же говорили: «Какой я считаю нужным быть, такая я и есть!»

Как это получалось? «Заботы, заботы, заботы!», «Дело, дело, дело!»— было ее неизменным девизом и ею всей тоже было — ее улыбкой, ее смехом и жестом, ее взглядом и вздохом, а в то же самое время это никогда и никого не отталкивало от нее.

Мужчины, те даже гордились, если им удавалось снискать ее расположение: «Значит, мы ничего себе ребята, если сумели эту женщину, такую деловую, развеселить!»— вот как реагировали не совсем еще пожилые мужчины на общение и знакомство с Надеждой Львовной, если это знакомство складывалось благоприятно.

Одним словом, нам очень нравилась нынешняя, экспедиционная Надежда Львовна, как в джинсовом костюмчике, так и в водолазке и вельветовых брючках и с гладкой прической. Нравилось ее нынешнее недоумение: «Ни мужа, ни сыновей, ни дачи, ни «Жигулей», а мир все равно — вот он! Нормальный! Существует!»

Однако же мир этот, существующий и нормальный, исчез для нее почти совершенно, когда наши лошади

сошлись на тропе, и мы разбили лагерь на противоположном берегу Аргута и стали ждать, чем это кончится.

Надежда Львовна ждать не могла.

Не могла и говорила Богоевскому:

— Владислав Кузьмич, дорогой, не вы мне моего сына родили, я сама постаралась. Должна ради него постараться и теперь. Я не могу сыновьями разбрасываться — мне нужно домой!

— Владислав Кузьмич, я еще никому не передоверяла забот о собственном муже — мне нужно домой!

— Владислав Кузьмич, хотя я еще не бабушка, но я бабушка, и у меня неотложные дела с внуком — мне нужно домой!

— Владислав Кузьмич, поверьте, мне еще небезразлична температура воздуха в моей спальне. У меня начат ремонт квартиры — мне нужно домой!

Ух какая у Надежды Львовны была школа, какая выучка и выправка в умении требовать, настаивать на своем!

Легкая игривость, неожиданные паузы между словами, интонация, благородно-встревоженное выражение лица — все дышало в ней этой требовательностью, все убеждало в невозможности ей отказать!

Правда, фигура ее в джинсовом костюмчике нынче не совсем соответствовала этой требовательности, ведь Надежда Львовна вела наступление на Богоевского то сидя у костра, то стоя у входа в палатку, а все ее навыки в этом смысле сложились совсем в другой обстановке, и теперь ей не хватало служебного кабинета, и кресла не хватало, сидя в котором она бы опиралась грудью на кромку письменного стола, как бы желая сократить ширину столешницы, а вместе с тем и расстояние между собой и тем должностным лицом, которое в конце концов обязано было сказать ей свое «да».

«Да» — в отношении материалов, необходимых для ремонта дачи, «да» — по поводу финского саморазмораживающегося холодильника, «да» — по случаю того или иного устройства одного из сыновей, «да» — на просьбу о санаторной путевке для мужа...

В лагере на берегу Аргута письменного стола не было, а Богоевский неожиданно утерял все внешние атрибуты начальственного лица, и вот Надежда Львовна испытывала некоторые затруднения.

Испытывала, но не терялась. Чем больше трудностей, тем выше воодушевление. «Вот видите, дорогой Владислав Кузьмич,— говорило выражение ее глаз и

голоса,— видите, какое неловкое движение правой рукой я сделала, как некстати ею взмахнула? А все из-за вас, Владислав Кузьмич! Не ставьте же меня в неловкое положение, где же оно, ваше «да»? И в то же самое время: «Я, Владислав Кузьмич, все равно своего добьюсь! Для чего же попусту мотать нервы? Себе и мне?»

Владиславу Кузьмичу требование как можно скорее возвращаться домой было словно искра в пороховую бочку — он каждую минуту мог взорваться, проклясть наших лошадей и самого себя. У кого, в самом деле, было столько же отложенных и таких же серьезных дел — заседаний и совещаний? И столь же существенных хлопот о собственной карьере?

Но Владислав Кузьмич отвечал Надежде Львовне «нет»!

Надежда Львовна не верила, что она потерпела фиаско. Наконец она резко отвернулась от Владислава Кузьмича, обратилась к нам.

— Ну, вот что, мужики!— сказала она,— если все вы бабы и не можете пристрелить одну лошадь, чтобы освободить тропу для другой, тогда это сделаю я! Объясните-ка, как нужно стрелять? Студенткой я, помнится, это умела, а теперь забыла. А ведь умела не хуже других...

— Наверно, даже лучше других, Надежда Львовна! — заметил Костя Ворожцов, в то время как все мы, остальные, растерялись. Мы не ожидали такой решительности от Надежды Львовны, хотя бы потому, что не ожидали ее ни от кого из нас.

— Я принесу мелкокалиберку! — сказал между тем Костя и живенько принес.— Винтовка заряжена, но я-то вам не верю, Надежда Львовна. На пушку берете. Психатакуете, а больше ничего. Стрелять вы не будете!

— Не хныкай, Костя. Лучше всего стрелять лежа? Да?

— Безусловно!

— И что-нибудь под винтовку подсунуть?

— На пенек положите. Вот на этот.

Надежда Львовна распласталась на земле, поправила прическу, положила винтовку на пенек. Подтянулась к прикладу.

— В какую метитесь? — спросил Костя.

— А в какую надо? Владислав Кузьмич, какую лошадь надо убрать с тропы — распорядитесь! Прицел установлен? Установи, Костя!

— Прицел установлен, Надежда Львовна! Но все равно это психическая атака!

— Наверное, все-таки лучше стрелять в правую?

— Рыжий! — подсказал Костя.

— Может быть, в левую?

— Красавка! — подсказал он же, а Надежда Львовна снова потребовала распоряжения Богоевского: в конце-то концов, кто начальник экспедиции — он или не он?

— В любую! — сказал Богоевский.— Какая больше нравится, в ту и стреляйте! — Повернулся и ушел. Должно быть, к тем счастливым и свободным лошадям, которые вот уже сколько дней безмятежно паслись на обширной лужайке метрах в двухстах от берега Аргута, ушел наш начальник.

Мы стояли вокруг распластавшейся в веселой и зеленой травке Надежды Львовны и смотрели на нее — на ее интересную фигуру и на то, как прищуривалась она левым глазом, как дышала и вздыхала, как изредка шевелила ногами.

Нет, это была вовсе не психатака, все было в самом деле, и вот мы ждали выстрела.

Никто ведь из нас не мог выстрелить ни в ту, ни в другую лошадь, а Надежда Львовна сию секунду выстрелит.

Никто из нас не мог остановить Надежду Львовну, сказав ей, как некрасиво она «Ах какая женщина...» поступает, и вот мы ждали.

Мы ждали выстрела и после того, как она спросила Костю:

— Так не выручишь меня, Ворожцов?

— Нет, не выручу, Надежда Львовна. Все-таки это психатака. Я знаю.

— Откуда знаешь?

— Я практик, Надежда Львовна. Низменный, но неизменный практик. Неисправимый. Вы разве забыли?

— И тебе не будет совестно, когда на моей совести появится пятно?

— Оно не появится! Ваше пятно! Если бы? Но даже крохотного пятнышка не появится! Вы безупречны, Надежда Львовна!

— А ведь я действительно надеялась на тебя, Костя! Почти всю жизнь надеялась!

— Да мы и знакомы-то, Надежда Львовна, всего лет семь. Точно скажу: семь с половиной.

— Разве?! Значит, я просчиталась. Серьезно просчиталась.

А наши лошади на тропе были спокойны. «Ну вот, наконец-то, — казалось, думали они там, наверху.— Наконец-то бессильные люди на что-то решились. А мы подумали — вы ни на что и никогда не решитесь...»

Рыжий был словно мертв... Удивительно, что он, уже мертвый, все еще стоял на ногах.

Красавка чуть-чуть пошевелила хвостом, ее предсмертное добродушие настолько удивило нас, что нам стало трудно смотреть на обеих лошадей.

Все-таки мы смотрели.

Они обе низко, до уровня коленных суставов, опустили головы и теперь если что-нибудь видели, так разве только роковую тропу на протяжении двух шагов и копыта на передних ногах друг друга... Еще прозрачные волны Аргута где-то внизу, под тропой, виделись им, изнывающим от жажды, и охлажденное в волнах отражение того солнца, которое изнуряло их. Так все это нам представилось — зрение наших лошадей, картина их жизни.

А Надежда Львовна, все еще лежа в траве, была по-прежнему решительна и спокойна, и красива по форме: оригинального и модернистского телосложения она была, части ее тела существовали слишком самостоятельно... Вот руки — они были при плечах, но и не вместе с ними, вот шея — и она с какой-то излишней очевидностью соединялась с плечами и головой, и тут снова не было обыкновенного, незаметного перехода от одного к другому, переход был очень заметен, и талия с бедрами соединялась словно выпуклым каким-то швом, и вся она была не столько слеплена, сколько смонтирована.

Работа по монтажу была исполнена со вкусом на современном уровне, но все-таки оставалась заметной. Заметной, может быть, в хорошем, в положительном смысле: посмотрите, как это надежно и современно сделано! Крепко и удачно! Сделано, словно в Париже, в культурном центре имени Помпиду!

И сосредоточенное лицо Надежды Львовны тоже было не в наших обычных представлениях красивым... На европейском, с повышенной белизною кожи лице ее блуждала азиатчинка — чуть раскосые глаза, чуть приплюснутый нос, еще что-то неуловимое. И прическа была гладкая, высокая, такую можно видеть на красочных табель-календарях с изображением голубой Фудзиямы

и загадочных черноволосых японочек. Между прочим, мы всегда удивлялись прическе Надежды Львовны — как ее, шикарную, в экспедиции-то можно было холить и поддерживать? Надежда Львовна над нами посмеивалась:

— Ничего не понимаете! Семь-восемь минут каждый день, и все! Дешево, сердито, эффектно!

Такой была Надежда Львовна по форме, лежа в веселой и зеленой травке, прицеливаясь из мелкокалиберной винтовки в Красавку.

А по содержанию?

Что Надежда Львовна принципиальная сторонница матриархата — такого рода содержание нам было давно известно. Она его и не скрывала никогда:

— Прямо скажем — нынче только та семья и семья, в которой руководит женщина!

Мы спрашивали:

— Надежда Львовна, вы до конца исповедуете матриархат? Непоколебимо? Или — с оговорками?

— Не исповедую, а не в первый раз утверждаю и даю себе отчет: с чего тысячи лет назад люди начали, тем должны и кончить. Всегда так бывает. И незачем напрасно расходовать энергию, скрывать общеизвестную тайну!

— Ну, если конец света, так не все ли равно — какой? Патриархат это или матриархат?

— Не все равно: человеку оставь один-единственный день жизни, он все равно будет спешно что-то делать. Сделаем же матриархат! Или хотя бы его вид! Без вида человек не человек.

— Ну, конец света — дело всех людей. И мужчин и женщин!

— Атомные взрывы — женщины, что ли, выдумали? И Освенцим? И пограничные инциденты? Наполеоны и гитлеры — женщинами, что ли, были? Нет, мужики не смогут выпутаться из истории. Впутаться — да. Выпутаться — нет!

Это — теоретические основы.

А вот основы практические.

Надежда Львовна считала самым великим произведением «Иметь и не иметь» Хемингуэя.

— Название-то!— восхищалась она.— Вся наша жизнь! Ни больше ни меньше! Каждый должен решить для себя, что он должен и может иметь и чего — нет. Решит — и все встает на свои места! И — порядок! Че-

ловеку истинно нужно все, с чем он справится сам, сво-
ими руками. Вот вам и решение проблемы собствен-
ности! Я знаю точно: с чем я сама, без посторонней по-
мощи, справлюсь, то я и должна иметь! С дачей справ-
люсь — должна иметь! С машиной справлюсь — дол-
жна иметь! С двумя сыновьями справлюсь — должна
иметь! Третий уже был бы лишним, не справилась бы. С
мужем справлюсь, а с любовником — уже нет: народ
очень капризный, требует слишком много времени и
нервов. Видите: все ясно! У меня есть ограничительный
принцип, я его осуществляю, и я душевно спокойна. Я
дарственной жизни ни на грош не видела, а всю ее сде-
лала сама! Пусть другие попробуют сделать, кому ней-
мется быть моим критиком! Попробуй ты, Костя. Или
ты, Сема?

— Мы не критики, что вы, Надежда Львовна! Не ваши критики! Мы — вообще!

— А тогда объясняйте всем и каждому, какую положительную героиню следует во мне видеть. Ведь у меня социалистический и гуманистический принцип! И реализм! В теории и в практике! Ведь я никого не эксплуатирую! Ведь я великая труженица! Разве этого мало? И разве каждый может этим похвастаться?

«Ах какая женщина!» была до сих пор Надежда Львовна.

«!!!»— отвечала она без слов.

Были, были восклицательные знаки в нашем сознании, когда мы видели Надежду Львовну и думали о ней. Были, были!.. Никто из нас не говорил о себе так, как Надежда Львовна.

Таких слов о нас, людях, мы тоже ни от кого не слышали.

И вот теперь мы смотрели во все глаза на «Ах какую!» и ждали ее выстрела. Все прошлые разговоры — только разговоры, но вот сейчас, сию секунду, последует еще и выстрел!

Мы ждали долго, покуда поняли: Костя-то прав, выстрела не будет.

А когда наконец наше понимание поняла Надежда Львовна, она отбросила мелкокалиберку в сторону, повернулась на правый бок и, продолжая лежать в зеленой и веселой травке, объяснила нам:

— Верка виновата! Если бы не ты, Верка, Костя выстрелил бы за меня! Ну а ты вытаращилась на

Костю, мужику стало не по себе. Он потерял равновесие духа и не захотел меня выручить...

Верочка Баклаева согласилась:

— Ну и вытаращилась! Ну и что? А я сию минуту еще больше вытаращусь!

— А вот это уже и вовсе мимо, Надежда Львовна!— официозно и строго заявил Костя.— Ну при чем тут Верочка? Я честно предупреждал: на меня не надейтесь!

— Мало ли что предупреждал! А я надеялась — ты же все-таки бабий угодник, Костя! На кого же тогда и надеяться? Или я уже вовсе не гожусь в бабы?

— И опять грех, опять грех! Ну прямо как у Марии-Антуанетты! Ну, немного переоценили свои возможности, с кем не бывает? Но грешить-то зачем?

Все еще лежа в траве, Надежда Львовна глубоко вздыхала.

— Ничего! Лет через десять я этакое сделаю сама, без посторонней помощи. Понадобится выстрелить — выстрелю! И глазом не моргну!

Мы удивились, а Надежда Львовна пояснила:

— Я ведь все еще молода! Вот в чем дело! И даже все еще красива. Вы все, было время, спрашивали у самих себя: «А красива ли Надежда Львовна? Да или нет?»—«Да! — отвечали вы себе.— Да, да!» То-то! Я все про вас знаю. Хорошо, что я все про вас знаю! Хорошо, что я заставила всех вас сказать это самое «да»! Когда мужчина сам по себе разевает рот — это одно. Но когда его заставляет это сделать женщина — совсем-совсем другое дело, высший класс! — Надежда Львовна потрогала указательным пальцем блестящее ложе мелкокалиберки.— Вам интересно? — И сама же ответила на свой вопрос: — Мужчины любопытны, как белки! И вот я вам скажу: я все еще биологична! Ну что у вас челюсти-то задрожали? Верка! Присмотри за нижней Костиной челюстью! Костя! Для тебя, эрудита, за биологичностью женщины кроме секса ничего не слышится! Ну и остолоп! Биологическая женщина — это когда она знает все, что думают все ее клетки. На руках, на ногах — повсюду. А они у нее думают. И серьезно. И о многих вещах! Ну, а интеллект женщины — это умение мыслями своих клеток управлять. Понятно?

Мы помолчали, потом Костя Ворожцов спросил:

— Поделитесь опытом управления, Надежда Львовна. Пожалуйста! Ваша тут какая роль? Цензора?

— Ну, как тебе сказать... не совсем. Эта роль поумнее. Я действую либерально и направляю мыслительную деятельность своих клеток в одно русло: они хотят быть хорошими, красивыми, заманчивыми — и пусть хотят! С богом! Если без лишнего баловства — тогда с богом!

— Надежда Львовна,— спросил Повалихин,— вы непонятно говорите: а бог-то тут при чем? В данном конкретном случае — он при чем?

— На всякий случай! — ответил за Надежду Львовну Костя Ворожцов.

— На всякий случай, Юрий Александрович! Надо же подстраховываться,— подтвердила Надежда Львовна.

— Ну, ну?— торопил Надежду Львовну Сема Кочкин.— Вы сказали, что лет через десять смогли бы это сделать — выстрелить в лошадь. А пока — не можете?

— И через десять, Семочка, пожалуй, не смогу! Через пятнадцать — да! Так и договорились — через пятнадцать! Ну, а до тех пор, покуда мои клетки хотят быть красивыми и выглядеть привлекательно,— до тех пор мне еще не совсем наплевать на все то, что вы обо мне думаете. И как я буду выглядеть в ваших глазах — мне тоже не наплевать. И вот я боюсь выстрелить — пропадет моя привлекательность, а куда я без нее? Нет, не могу стрелять...— Она прикрыла лицо рукой и произнесла под ладонью: — Обе лошади — паршивки! Особенно Красавка! — Потом сняла ладонь с лица и улыбнулась: — Ну, Костя? Где еще твои вопросы? Ты интересуешься?

— Интересуюсь, Надежда Львовна! Неужели на эти пятнадцать лет вы не планируете для себя никакого приключения? Ведь ваши отличные, ваши умные клетки все-таки на что-то надеются? Обо всем-то они думают, ну а надежды их тоже нельзя лишать!

— Всегда и ужасно некогда, Костенька! Всегда в прорыве! То дети, то внуки, то муж, то «Жигули»... Теперь думаю: вот уж отправлю внучонка в детский сад, может, будет полегче с регламентом.

— Конечно, конечно,— подтвердил Костя.— Пятнадцать лет дают только за самые тяжелые преступления. И то не во всех странах!

— Боишься, Костенька, состариться? Хочешь быть вечным мальчиком?

— А вы разве не хотите быть девчонкой, Надежда Львовна?

— Нет, не хочу. Не хочу, потому что обстоятельства не позволяют. Потому и не хочу.

— Всем не позволяют. И мужчинам, и женщинам.

— У мужиков какие обстоятельства? Что парень, что отец, что дед — мужику почти все равно. От него не убывает! Ну какие, например, могут быть обстоятельства у профессора Богоевского?

Владислав Кузьмич только что вернулся к нам, понял, что выстрела не произошло, и хотел узнать: каким образом его не произошло? Но тут же и нарвался на вопрос, который задала ему Надежда Львовна:

— Скажите, Владислав Кузьмич, в вашей жизни когда-нибудь случались обстоятельства? В личной?

Владислав Кузьмич не то чтобы обратил серьезное внимание на странность вопроса, он махнул рукой и сказал «а-а-а...» и не совсем, а на пол-оборота отвернулся от Надежды Львовны. И жест, и это «а-а-а», и полуоборот были у Владислава Кузьмича досадливыми.

В этот момент нами была замечена необходимость еще спросить у Надежды Львовны:

— Надежда Львовна, а были в вашей жизни моменты? Когда вы навсегда отвергли мужчину? И когда сконструировали себя именно такой, какая вы нынче есть?

— А почему это вас интересует? С какой стати?

— Нам кажется, здесь зарыта какая-то собака.

— Ах, собака... Все может быть, все может...

Надежда Львовна сперва приготовилась ответить, присела на пенек. Неторопливо она сняла травинки с плеч и рукавов своей коричневой, с золотыми блестками водолазки, поправила прическу, помолчала просто так, а потом в задумчивости и сказала, что — да, пожалуй, она может эти моменты назвать. Их было два.

— Момент первый...— объявила она, приподняв правую руку над головой.— Пятый этаж аспирантского общежития. Угловая комната. Дело к вечеру, и даже вполне вечер, темно уже. И я в этой комнате. Я пришла начать, и вот начала с того, что заревела. От страха. И от обиды. От обиды на себя: «Не понравилось! Не смогу! По природным данным и талантам ему нужно что-то умелое, умное, что-то страстное, а может и великое! Нет, нет, не смогу, не соответствую!» И вот я стала реветь. И про себя, и даже вслух. К тому же я ведь хоть

и совсем еще молодая, но замужем уже была, и вот хотела переменить всю свою жизнь от начала и до конца. А вы думаете, что — он? Чего-нибудь понял? Да ни на йоту! «Успокойся, глупенькая,— сказал он,— это совсем не страшно! Ну разве две-три минуты, а потом все войдет в норму!» И тогда я хлестнула по двери, крючок навылет, и бегом! И месяца три бегала по городу без памяти, убеждала себя в том, что я дура! Убеждала и убеждала: недотепа, не женщина, а дура, и нет ничего впереди, потому что — дура!

В конце концов я снова явилась в аспирантское общежитие. В угловую комнату на пятом этаже. Снова под вечер. Снова часов в шесть.

...А теперь — момент второй.— Надежда Львовна сделала передышку, антракт между первым и вторым моментами.— «Я сейчас, я сию минуту,— говорит он мне, когда я прихожу к нему снова.— Вот только доем дыню. Один ломтик остался! Единственный!» И в самом деле дыней он занят.

«Хочешь ломтик?» — «Мне не хочется». — «Почему? Очень вкусная! Очень!»—«Я сыта».—«Ну, тогда обожди минутку, я ее сейчас съем!» И я снова сорвала крючок с двери. И снова бегала и очень медленно ходила по городу, только уже не месяц, не два и не три месяца, а целые годы. И думала о том, что если я бессильна изменить обстоятельства, значит, мне не остается ничего другого, как изменить свое отношение к обстоятельствам. А если я не соответствую действительности, значит, нужно взять действительность в свои руки. Где только смогу, там и взять ее! Где только можно, там и любить свою собственную философию, а другие философии не ставить ни в грош!

— Теория...— вздохнули мы.

— Время... Время такое, без теории и вот еще без логики — никуда и ни шагу! — вздохнула Надежда Львовна.— Впрочем, я мужиков не виню. Я мужиков понимаю. У них на этот счет такая логика: «Вот это особа — взялась откуда-то и пришла ко мне, легла со мной, а теперь подавай ей любовь! Отвечай на ее страсть! Так ведь я ей страсти и не обещал! Страсть мне, между прочим, ни к чему! Эстетика — другое дело!» И действительно, ласковая, внимательная, чуткая эстетика — вот что мужику, когда он даже и пьяный поперек тротуара лежит, по душе! Он, мужик, почему, скажите вы мне, тоскует по любви на стороне? Потому,

что ему не хватает эстетики дома! Ему, к примеру, совершенно необходимо пожаловаться на жизнь: на жену, детей, на начальство, даже, представьте, на самого себя, но обязательно так, чтобы он был понят на самом высоком эстетическом уровне! Эстетичность для него больше имеет значения, чем гуманность и прочие там высоты. Ну, в самом деле, не для того же он находит любовницу, чтобы слушать о том, какая трудная у нее жизнь? Какие у нее хлопоты и заботы с ее собственными детьми? И с собственным начальством? Да кому это нужно? Все это, Верка, я говорю тебе который раз. Учти, если ты не совершенно глупа, Баклаева, тебе полезно! И мужикам от женщин все это тоже оч-чень полезно, а главное, необходимо слышать! Точно!

— Он, поди-ка, не ел, он жрал ту дыню, ваш аспирант? — на этот раз с искренним чувством возмущения спросил Костя, а Богоевский снова махнул рукой:

— А-а-а-а...

— Нет, почему же? Он ел свою дыню нормально. Аппетитно! Зима уже наступала, их уже мало было — дынь. И синеньким общежитским полотенчиком он руки вытирал. И торопился. Ко мне. Чтобы, не дай бог, не опоздать!

— Надежда Львовна! — воскликнул Костя теперь уже патетически,— дорогая Надежда Львовна! Я, может, и сам порядочная на этот счет свинья, но, поверьте, я бы вашему аспиранту, дынному обжоре, и сейчас хорошо бы врезал по морде! Промежду глаз — и ах как хорошо!

И Костя стукнул себя ладонью в лоб. Для вящей убедительности стукнул звучно, а Надежда Львовна засмеялась.

Вообще-то она смеялась редко, может быть, поэтому ее смех нам всегда запоминался, а тут мы подумали, что Надежда Львовна смеется совсем не так, как обычно. Не так, как это было в горах, когда мы отмечали ее день рождения, или как случалось нам слышать ее в огромной сумрачной комнате нашей лаборатории, перегороженной высокими шкафами на целый ряд отсеков. Нынешний смех представил нам Надежду Львовну давней и по-настоящему молодой — без теории матриархата, без умения делать свою жизнь своими руками.

Надежда Львовна явилась нам в возрасте Верочки Баклаевой, но только куда там было сумасшедшей Верке до этой! До этой вот, которая т а к смеялась! Верка

была топорной работы, вся на виду, а эта — фантастической! Еще юный-юный, но уже женский шарм жил в этой.

И с юным шармом Надежда Львовна, все еще вот так неожиданно смеясь, встала с пенька, протянула Косте обе руки и сквозь смех сказала:

— Дорогой! Сделай наконец одолжение, врежь тому аспиранту как следует! — Обернулась к Богоевскому и строго, уже в современном своем обличье, голосом тоже нынешним, потребовала: — Владислав Кузьмич! Подставьте-ка Косте мордочку! Подставьте ее товарищу Ворожцову!

Костя ошалело глядел мимо нас всех.

Мы все глядели на Богоевского.

— Ох и глупы! Ох и глупы!— покачивая и головой и всем корпусом, сказал Богоевский.— У меня еще есть срок, я еще пять лет проживу вашим начальником — достаточно, чтобы выбить из вас глупость и дурь! Ох и глупы — это сколько же, действительно, предстоит мне с вами работать! Чтобы поставить вас на место... Юрий Александрович! Да хоть бы вы, что ли, занялись люмпенами? Надо же кому-то ими заняться!

Потом он задумался, перестал раскачиваться, сощурил глаза.

Что-то вспоминал.

Но не вспомнил, спросил у Надежды Львовны:

— Может, и не дыня вовсе была? А что-нибудь другое? Арбуз, например?

— Ничего, кроме дыни! Ничего, кроме нее!

А так оно и было, так оно и есть — просто мы не придавали значения некоторым фактам в жизни нашей лаборатории! Но ведь чрезмерно строгий Владислав Кузьмич всегда снисходительно относился к бесконечным бюллетеням Надежды Львовны — это же был факт! Вопреки все той же строгости, она то и дело брала отпуск без сохранения содержания — факт! Владислав Кузьмич легко подписывал все и всяческие бумаги и ходатайства от имени института, испрашивая что-то для Надежды Львовны: стройматериалы для ремонта квартиры, телефон для дачи, детские ясли для внука, санаторные путевки непосредственно для Надежды Львовны — факт!

«Вот так кроссворд!»— думали мы.

Мы с детства привыкли к головоломным кроссвордам... «По горизонтали», «по вертикали» — это уже было для нас чем-то совершенно необходимым и привычным.

Должно быть, поэтому Надежда Львовна тоже представилась нам в виде не совсем обычного, а все-таки кроссворда...

МЫ

А кто такие — мы?

Все время толкуем: «мы, мы, мы, мы, мы!» — а кто это? Где это?

Богоевский высокий, желтый и умный — вот он, Надежда Львовна, составленная из рук, ног, талии, бюста, шеи и головы, — вот она, дико влюбленная Верочка — вот она, и Костя, и Сема, и Повалихин Юрий Александрович, и Валентин Яковлевич Морозов — вот они, а где же — мы?

Если бы кто-то выстроил нас в одну шеренгу и рассчитал по порядку номеров — тогда нас можно было бы увидеть: вот они! А без этого? Без счета-расчета? Сочетание общепринятого во всех языках «эм» с азиатским «ы», вот и все?

«Скажите слово, в котором четыре раза «ы». — «Ымыныны» (вместо «именины»), — вот какой существует анекдот!

Об одном из нас говорится «он» или «я», о двоих — «они», иногда и «мы», но мы-то прекрасно знаем, что двое — это еще не совсем мы...

Значит, трое?

Опять не то!

Четверо?

Впрочем, в одном душевном состоянии мы и втроем уже «мы», в другом семеро — все еще никто...

Тем не менее при всей неопределенности нас — мы существуем. Дважды: мы — физические и «мы» в качестве... в каком качестве?

Именно этот вопрос и объединял нас в «мы».

Нет, «мы» — это вовсе не сумма понятий, принадлежащих каждому из нас, потому что каждый среди нас это совсем не то, что каждый сам по себе.

Когда каждый вступает в «мы», он обязательно в чем-то теряет себя, а что-то, несомненно, для себя приобретает, и такая игра в плюсы-минусы, более того —

неистребимая потребность и потерь и приобретений — создает наше «мы».

У каждого из нас что-то есть, какие-то мысли и настроения, которые хочется потерять. Как это сделать? Надо сделать так, чтобы вместо «я» были «мы», и дело будет, безусловно, сделано.

У каждого есть мысли и настроения, которые настойчиво требуют каких-то дополнений, каких-то не очень больших, а иногда и солидных плюсов — как их приобрести?

Да точно тем же самым способом!

Мы создаем конструкцию нашего «мы» усердно и постоянно, изо дня в день, но это не лесная работа муравьев, а испытательный стенд, на котором мы с энтузиазмом исследуем только что созданные детали.

Исследуем на растяжение и сжатие, на постоянные и временные нагрузки: не даст ли очередная конструкция трещины? Не поддастся ли явлению текучести материала?

Мы создаем наши отношения иной раз только для того, чтобы нам было что исследовать. Кому-то это может показаться несерьезным, но мы вполне уверены, что отношения между людьми часто создаются ради еще менее серьезных и совсем неблагородных целей.

Все это не мешает нам иметь серьезное значение не только для самих себя, но и для других.

Правда, международных дел и собственной внешней политики у нас нет, но «вне» есть, и вот мы — человека два, три, четыре — появляемся в какой-то компании по случаю Нового года или Седьмого ноября.

Распорядок известный: оживленные приготовления к застолью, само застолье, сперва с анекдотами, потом с песнями и танцы. Предпоследний этап — приставание мужчин к чужим женам, еще лучше — к «разведенкам». Заключительный — касается прежде всего рассерженных жен, которые развозят мужей по домам.

Мы не дипломатические наблюдатели в этом распорядке, мы принимаем в нем участие, но и здесь у нас свое амплуа — мы все ребята «интересные» и никогда не растворяемся в окружающей человеческой среде. Даже если хорошо выпьем.

Мы сохраняем свое «мы» при любом стечении народа.

Правда, нас не очень-то привечало своим вниманием общество избранных интеллектуалов — физиков из со-

седнего института и лириков, не обладающих постоянной принадлежностью к какому-нибудь советскому учреждению, а так — болтавшихся туда-сюда.

Первые смотрели на нас свысока, потому что в нашей специальности не было отвлеченной теории. Следовательно, полагали они, ее не было и в нас самих. Вторые, то есть лирики, не знали, какое определение нам дать, на какую полочку положить. Ни романтики, ни прагматики, ни теоретики, ни технари — лучше с таками не связываться! Тем более орудия нашего труда — деревянные копалки, больше ничего, а лирики очень чувствительно переносят отсутствие современной автоматизации и просто механизации труда, им обязательно нужны пульты, кнопки и мерцающие экраны.

Ну и бог с ними — с физиками и с лириками, мы и сами знали себе цену! Мы-то были тем больше «мы», чем больше критических и любых других замечаний поступало в наш адрес.

Мы-то знали, что «голый эмпирик» Костя Ворожцов может поразить своей эрудицией любую компанию.

А Сема Кочкин — своей проблематикой.

А Верочка Баклаева — своей курносенькостью и современностью своих воззрений в вопросах любви, семьи и брака.

А Надежда Львовна — своей деловитостью и своей фигурой.

И даже Валентин Яковлевич немало содействовал самоутверждению нашего «мы» среди других людей: его тень помогала нам, лишь только разговор заходил о русской классике XIX века.

Главное же — мы были чем-то, были таким сочетанием нескольких «я», которым не был никто, кроме нас.

Итак, мы знали доказательства нашего существования, нас не проведешь, мы себе на уме. А иногда нам и вовсе кажется, что мы — это очень и очень лихие ребята, которые ничуть не боятся испытывать себя всякой всячиной. Правда, испытывать не столько практически, сколько теоретически. Теория — к месту или не совсем — нам тоже больше по душе. Тут мы не исключение ни среди физиков, ни среди лириков. И для нас теория — это прежде всего теория.

Ну вот, скажем, Сема Кочкин:

«Где-нибудь или даже в нигде находится интеллект, он управляет роботами первого, второго, пятого, десятого порядка, а робот № 333 — это не кто иной, как один

из кураторов Земли. Конечно, он вовсе не тот обыкновенный робот с руками, ногами и мозгами электронного устройства, который нам представить все равно что раз плюнуть. Робот № 333 — это закон земного притяжения, например. Или закон Паскаля. В самом деле, что такое законы природы, если не роботы, строго исполняющие одни и те же функции, в одном и том же ритме?»

«А дальше что?» — спрашиваем мы у Семы, потому что тонко чувствуем, когда точка поставлена, а когда еще нет.

Кроме того, дальше-то Семе придется туго, а нам только этого и нужно — ставить каждого из нас в тугое положение.

И Сема держит экзамен и не бог весть как уверенно объясняет, что молодой и слишком энергичный интеллект человечества приходит в противоречие с исходным и строго консервативным мировым и вечным интеллектом, но не прямо, не непосредственно с ним — это ему не по силам, — а с теми роботами, законами природы, которые нам доступны, воздействие которых на себя мы улавливаем.

— Конец света — это бунт роботов против человечества. Вот что это такое!

Сема изрек. Сема замолк. Конец Семе!

Но дело в том, что Сема — это не более чем Сема, а ведь среди нас существует еще и Костя Ворожцов — представитель «нас».

— Сема, — откликается Костя, — а ты знаешь такие слова: «... И смертию смерть поправ»?

Сема смущен. Он уже подозревает подвох и вызов.

— А скажи, Сема, какие слова нашего времени ты бы поставил рядом с этими? Если ты знаешь, что такое конец света, почему бы тебе не знать и этого?

Тут уже смущаемся и мы: слишком легко Костя обращается со словами, прикасаться к которым всегда бывает страшновато.

Костя и дальше подначивает Сему: дескать, это, наверно, тот самый робот № 333, чтобы выяснить нынешнюю реальную обстановку на Земле, запускает в земную атмосферу летающие тарелочки. Так, что ли?

Однако Костя и не собирается продолжать Семину идею, и поскольку он считает себя человеком эстетически одаренным, ему бы не ботаником быть, а искусствоведом, он, как бы Семе в ответ, сочиняет длинную-длинную песню без рифмы, ведь рифмы устарели:

Они родились и умирали,
Все угадав и все предугадав...
И все отдав:
Самих себя, детей и вдов...

Костя исполняет это произведение, аккомпанируя себе ударами по берестяному туеску:

Их было много, на миллионы
Пылал, кривлялся и велся счет...

— Хватит, Костя! Нам спать пора!

— Не пора!

— Тогда почитай что-нибудь из своего «Бучела»! Мы согласны тебя послушать. Полчаса. Или минут двадцать. Что-нибудь из свадебного обряда Будущего Человека.

У Повалихина Юрия Александровича другое предпочтение:

— Нет, что-нибудь по производственной линии, Костя!

А Надежду Львовну мы согласны послушать насчет матриархата. И водопровода: система водоснабжения у нее на даче из года в год требует и требует капитального ремонта.

Нет, мы не меланхолики, скорее, наоборот: и проблему водопровода, и Костиного «Бучела», и Семину теорию бунта роботов, и даже воспоминания Повалихина о строительстве свинооткормочного комплекса мы способны воспринимать с острыми комментариями, с напряжением своих сил и со скоростью, похожей на скорость жизни человека, посланного в срочную и ответственную командировку. Ну вот, когда вас командируют на пять дней в Москву, а заданий дают двадцать пять — успевай поворачиваться!

И мы успеваем и существуем как «мы», потому что среди нас всегда находится тот, на котором в данный момент сосредоточено наше внимание.

Мы — это почти всегда кто-то один из нас и все остальные.

Точнее — все остальные и один из нас.

Это динамично: все время, все время, все время у нас продолжают вырабатываться границы того круга, того многоугольника, того сложного контура, наконец, в котором происходят отношения каждого из нас с остальными и остальных с каждым. И мы определяем

[illegible] с увлечением и с болью, а [illegible] и неожиданные!

Утомительно и так неудобно долгое время не смотреть на [illegible] себя — обязательно хочется взглянуть! — но взглянуть не единолично, а через других, и вот среди нас устанавливается не то чтобы порядок чередования, но определенная последовательность в замещении той фигуры, на которой периодически сосредоточивается внимание всех нас, остальных.

Коллектив нашей лаборатории, он же — коллектив нынешней экспедиции, в общем, здоровый, а это значит, что очередность устанавливается у нас справедливо.

Если кто-то занимает внимание всех слишком долго, а кто-то лишается его совсем,— это плохо, это — болезнь и распад.

Кто следит за порядком замещения? Кто из нас — разводящий?

Не знаем.

Иногда подозреваем, но далеко не точно.

Вообще, кроме всего прочего, те границы, которые «мы»,— это еще и умение не знать друг друга, которое часто бывает труднее, чем умение знать.

Мы не имеем никакого права подходить друг к другу, словно к азбуке, незнание которой почитается за невежество, нам необходимо это незнание друг друга, и если кто-то из нас говорит: «Я поступил так-то!», или же: «Об этом я говорю откровенно, а вот об этом — ни слова!»— значит, все! Значит, так и будет, значит, мы обязаны ни о чем больше не спрашивать. Нам дано право исключить каждого из нашего «мы», но судить, но вести следствие — этого нам не дано.

И обратите внимание: ведь кто-то же написал все это, все, что написано здесь о наших лошадях?

И о нас самих?

Вполне вероятно, что автор и есть наш разводящий, но мы пока что вовсе не хотим его знать, а он вряд ли захочет выдать себя. И то и другое — потому что мы хотим сохранить себя в неприкосновенности. Так что судите и рядите обо всем этом сами по себе и как вам вздумается, а мы не хотим.

Не наше дело!

Так для нас лучше.

Хуже было другое: двое уходили от нас в другой мир, нам недоступный, не то в рай, не то в какое-то проклятье, не то навсегда, не то на одну только ночь

ции на все те ночи, которые еще предстоят нашей экспедиции.

Они уходили и тем самым предавали не только нас, но и наших лошадей... Нам было ясно, что именно в эту ночь с нашими лошадьми должно что-то случиться. Что-то окончательное.

Ну конечно, как и следовало ожидать, предателями оказались Верочка Баклаева и Костя Ворожцов.

Два года тому назад, вскоре после того как Верочка прямо со студенческой скамьи явилась в нашу лабораторию, они принялись за классические роли «ее» и «его».

Мы забеспокоились, потом успокоились: наш жизненный опыт определил, что, если между Верочкой и Костей не произошло все сразу, неожиданно, как вспышка, если они миновали ошеломление первого знакомства, с нарушением кровообращения и спазмами головного мозга,— значит, у них дружба, а дружба — это же цейтнот любви, это бесконечная ничья, это, наконец, и есть те самые «мы», среди которых, конечно, не может быть места Ромео и Джульетте.

И вот наш опыт нас обманул: уже на третий день нынешнего путешествия мы обнаружили в своей среде Джульетту.

Боже мой, и случай-то был пустяковый, крохотный мыльный пузырек, но последствия он все равно имел недвусмысленные...

На третий день путешествия — мы тогда еще на машинах ездили по трактовым дорогам, еще не забирались в горы верхом на лошадях — мы остановились около сельского магазинчика с огромным крыльцом и узенькой дверью, и Верочка купила... джинсы! Не американские, не французские, но иноземные, почти совершенно несгибаемые, со множеством швов на передней и противоположной сторонах, с четырьмя, кажется карманами и с блестящими металлическими пуговицами.

Пока Верочка совершала свою покупку, Богоевский жестоко ее торопил:

— Что за барахолка! Что за разврат! Скорее, скорее и скорее! Мы не имеем никакого права бесполезно жечь в машинах государственное горючее! Скорее! Мы не имеем права простаивать! Скорее!

И Верочка купила скорее, а когда примерила джинсы на ближайшей остановке, оказалось, что они ей безнадежно узки.

Они, наверное, потому и существовали до сих пор в сельском магазинчике, что были узки для самых тоненьких четвероклассниц.

И Верочка расстроилась донельзя и возненавидела Богоевского, а мы разделили ее эмоции.

Разделить-то разделили, но все равно никто из нас ее не успокоил. Никто, кроме Кости.

Костя сказал:

— Ты, Верка, сильно надеялась на эти джинсы?

— До упаду надеялась...

— А ты на них плюнь: надежды — это слабость человечества!

— А в чем же тогда сила?

— В смирении. Вот религии — они тем сильнее, чем смиреннее. Как только религия начинает шебутиться по государственным или еще каким-нибудь делам, устраивать крестовые походы или искоренять ереси — так она теряет себя!

Мы подумали: «Ну не дурак ли этот Костя — из-за джинсов и такая философия!»

А Верочка, должно быть, подумала иначе: «Ну не умница ли и не оригинал ли этот Костя — из-за джинсов и такая философия!»

Мы ехали по дороге у самой речки, и Верочка приподнялась в кузове и бросила в речку свои трагические джинсы:

— Пускай туда и плывут, откуда приплыли!

И поцеловала Костю, и тут же стала Джульеттой: лицо курносенькое полно вдохновения, смех исходит из натуральной глубины.

Ну, правда, Ромео пока что еще не было. Ромео, лобастый, по американским понятиям — яйцеголовый, по нашим собственным — порядочно заумный, был пока что в потенции, и мы думали: «Авось не состоится!»

«Слава богу — не состоюсь!» — искренним взглядом заверил в тот раз и себя и нас всех Костя Ворожцов и еще очень внимательно посмотрел в те горные, в те голубые дали, которые уже назывались «районом нашего обследования», в этот «район» и бежала наша торопливая машина вдоль берега небольшой и не очень бурной речушки.

Но не суждено было Костиному заверению сбыться!

Мы недолго искали причину: виноваты были наши лошади, кто же еще?

Это из-за них мы задержались на Аргуте, и вот к чему привела задержка...

Конечно, ни Ромео, ни Джульетта во все времена и эпохи ни у кого не спрашивали советов, но дело в том, что нас преследует все та же, все та же элементарная арифметика: Костя женат третий раз, а Верочка представляет третье поколение безмужних женщин, и эти «3×3» не дают нам покоя... Тревожные и печальные судьбы заключены в этом легко доступном каждому первокласснику перемножении, и теперь, откуда-то издалека, из отвлечения, они вдруг приблизились к нам, вполне реальные и даже реально осязаемые.

Конечно, они могли бы подождать, наши Ромео и Джульетта — приехали бы в институт, в город, и там, средь шума городского, кто бы их заметил? Кому бы до них было дело?

Но они больше не ждали ни минуты, и Костя вскинул на спину два спальных мешка, а Верочка Баклаева — небольшой рюкзачок, и, не говоря ни слова вслух, а молча говоря друг другу все на свете, они отвернулись от нас и пошли, и пошли, внедряясь в зеленую гущу леса, а мы поняли грубо навязанную нам обязанность видеть это.

Они заставили нас представить себе подробности своего ближайшего существования.

В общем-то мы ведь всегда считали себя передовыми и лихими ребятами, но тут произошла осечка, и нас охватило некрасивое чувство нашей расколотости на тех, которые почему-то ушли, и на остальных, которые зачем-то остались...

Ну конечно, это было не в первый раз.

В первый раз это было, когда Костя на своем Рыжем отстал от нас на тропе, а Верочка, сильно стегнув свою Красавку, поднялась обратно в гору, ему навстречу.

И вот мы остались тогда на ровной и просторной, на ярко-зеленой лужайке, а они двое снова оказались на головокружительной высоте.

Тогда мы боялись за их судьбу, подумать только, как мы переживали тогда, теперь судьба этих двоих мешала нашему существованию. Они наносили оскорбление нам и нашим лошадям, и никогда еще мы вот так же резко не делились на «тех» и на «этих».

Тогда была почти что естественная случайность, те-

ерь неестественная логика, которую мы не могли принять.

Вот так: к чему Костя Ворожцов и Верочка Баклаева шли в отношениях между собой, к тому они, по логике, и пришли.

Но мы слишком долго верили, что они к этому не придут, что не будет ни этой логики, ни этой закономерности, но вот мы убедились, что не имеем для них никакого значения, что мы есть, что нас нет — им уже все равно. Что смотреть Косте Ворожцову на своего Рыжего, а Верочке Баклаевой на свою Красавку, что не смотреть на них — тоже все равно.

Вот так мы молчаливо рассудили и поняли...

И постарались это рассуждение забыть, во всяком случае сделать так, чтобы оно нам как можно меньше мешало: что было, то было...

Прошло какое-то время, полчаса, может быть, немногим больше, и эта неожиданность сменилась другой: мы смотрели на единственную среди нас женщину, смешно сказать — даже Валентин Яковлевич взглянул в какой-то миг на нее, и товарищ Повалихин тоже бросил деловитый взгляд, и вот мы увидели ее не совсем так, как многие годы видели в институте,— нынче она была в коричневой водолазке, в синеньких и не по возрасту легкомысленных джинсах...

Надежда Львовна предстала перед нами, как всегда, четко-конструктивно: ну да — вот ноги, вот руки, вот бюст, талия и бедра, вот голова и шея. Все это чрезвычайно умело смонтировано из частей не одного, а нескольких различных комплектов женщин, но теперь, с интересом рассмотрев как следует этот монтаж, мы очень смутились: мы подумали, что Надежда Львовна тоже будет очень смущена нашим смущением, нашим интересом, нашим открытием ее заманчивой некомплектности.

Но ей все это оказалось как об стенку горох — она сама внимательно смотрела на Богоевского.

Надо же — на желтолицего, высокого и тощего, смотрела, черт возьми! Она?!

И так долго, что мы вполне успели рассмотреть ее взгляд. И, кажется, даже пофантазировать по случаю...

Взгляд Надежды Львовны соответствовал образу и подобию ее самой — он тоже был соединением разных выражений, был неодинаковой температуры — и горячим и холодноватым одновременно, был спокойным и

взволнованным, был и далеким, и непосредственно близким... Будто бы она смотрела на Богоевского с разных расстояний...

Не скоро расстояние стало постоянным, но — стало. И мы это опять заметили.

Итак, на наших глазах происходило, как сказали бы демографы, смещение возрастных групп населения земного шара — ведь Надежда Львовна была бабушкой, иначе говоря, на этом свете подрастал сын ее собственного сына, а чьим предком был Богоевский, мы толком даже и не знали!

Ах лошади, лошади! Вот еще какой эксперимент они поставили над нами!..

К ночи на всех нас, оставшихся, напала лирика, и мы стали всматриваться в звезды, рассеянные в промежутках между обуглившимися горными вершинами.

Тем двоим ушедшим, конечно, не было сейчас до звезд никакого дела, но нам пришлось этим делом заняться, и дневные мысли представились нам в ракурсе нынешней ночи.

«В соответствии с ярким сиянием звезд или в противоположность и назло этому сиянию ушли от нас Верочка Баклаева и Костя Ворожцов. Ушли, презрев арифметику! Презрев 3×3...» — спрашивали мы.

Потом:

«Почему мы так любим, так обожаем слова? Почему все на свете должно иметь для нас обозначение словом, а если нет обозначения, тогда и предмет перестает для нас существовать?! Мы всё должны уметь назвать и вот изощряемся в этом умении и больше всего на свете хотим быть умными и самостоятельными именно в словах... В словах каламбура, парадокса, библейского изречения, цитаты, признания, возмущения, отрицания, утверждения, в любых, в самых разных, но только в словах!

Вовремя и к месту сказанное слово — это для нас не только мгновение, а то мгновение вечности, в течение которого мы приобщаемся к векам и к тысячелетиям, к тем человеческим умам, которые мы только вот так на миг и можем настигнуть...

Это мгновение нашего истинного торжества: ведь удачное слово, может быть, спустя день, или месяц, или год кто-нибудь и где-нибудь повторит? А что такое повторение, если опять-таки не вечность? Пусть крохотная, а все равно — она!

Наверное, в нас существуют и другие возможности приобщения к вечности — наша кровь, например, которая унаследована нами от наших матерей, а нашими матерями — от множества предшествующих поколений, но мы ведь не понимаем этой возможности.

Мы понимаем только слова...»

В полночь:

«Если бы кто-то посмотрел на нас совершенно со стороны, он обязательно заметил бы, как мы из кожи лезем, чтобы доказать, что мы люди... Очень часто мы понимаем, что это уже ни к чему, а все равно доказываем. Наверное, потому, что со стороны взглянуть на нас некому?

Кто взглянет? Такие же существа, такие же люди, как и мы сами? Этого очень-очень мало, совершенно недостаточно! Ну, а если некому сказать: «Хватит! Ведь ни один другой предмет мира не занимается подобной глупостью, ведь существование любого предмета уже доказывает, кто он, этот предмет, и что он! Зачем камню, зайцу или солнцу доказывать, что они существуют?!

Но мы продолжаем карабкаться по своей одушевленности, словно по пожарной лестнице, лишь бы вверх — лишь бы вверх! — и, может быть, давно уже миновали ту высоту, которая нам, людям, имярек, действительно соответствует?! Проскочили ее и ничуть не заметили этого, ну, может быть, вздрогнули разок, когда кольнуло в грудную клетку: «Не здесь ли? Не здесь ли пора остановиться? Не здесь ли последний шанс остаться самими собой?» Но не остановились, не поверили робкому сигналу и маленькому событию, происшедшему в грудной клетке, продолжая карабкаться вверх, но неизвестно куда!»

«Ну до чего же мастерски, до чего умело мы изгоняем себя из естественного мира, из его лесов и гор, бесконечных прежде всего своею прекрасностью!

Нет, мы обязательно переселяемся в другую бесконечность — забот, хлопот и тревог, мы без конца конструируем отношения друг с другом и убеждены при этом, будто все это возможно когда-нибудь исполнить до конца, достигнуть во всем этом какого-то завершения!»

Чуть-чуть за полночь:

«Вот наши лошади, их одушевленность — величина постоянная, должно быть, поэтому мы испытываем к ним зависть. Постоянство — это ведь очень серьезно

для нашего времени, не так ли? И если уж мы не знаем, куда мы карабкаемся, так хотя бы точку отсчета узнать — откуда? Откуда мы начали? Узнать бы. Запомнить бы и понять!»

«Ах как давно, как давно это было! — вспоминали мы нынче те времена, когда мы, будучи первобытными людьми, приручали к себе лошадей. Сперва — чтобы ездить, а потом — чтобы переложить на них значительную часть своей работы.

Да ни за что бы мы, нынешние и цивилизованные, не смогли этого сделать: чтобы приручить дикое животное, и самому надо быть хоть немного дикарем, вполне естественным в своих отношениях ко всему живому. Только тогда и возможно взаимопонимание и доверие!

Ведь цивилизованный человек так и не приручил никого, ни одну живую душу, и пользуется лишь тем, что досталось ему от варваров! Ведь он только и смог, что поставить на конвейер производство мяса, молока, шерсти, яиц и цирковых номеров, которые веселья ради исполняют для потехи людей некоторые животные и птицы. Попугаи, например: «Попка не дурак! Дайте ему конфетку!»... Что и говорить, современный человек научился искусственно размножать мир животных и птиц, эту размноженную жизнь он затем перевозит разными видами транспорта на бойни.

Высовывая головы через решетки грузовиков и вагонов, эта жизнь мычит, хрюкает, блеет, гогочет, кудахчет — как может, так и выражает весь тот ужас, который она предчувствует, но не понимает...

А между тем нельзя себе представить, будто в этом мире у людей больше нет и не может быть верных союзников, которые пожелали бы принять самое серьезное и бескорыстное участие в человеческой жизни! Есть! Есть такие! Мы чувствовали нынче существование этих добрых, этих влекущихся к нам, людям, но отвергнутых и не понятых нами душ!»

«А с другой стороны, кто его знает — может быть, сию секунду где-то в небе над нами болтаются летающие тарелочки и с тем же сожалением, с той же тоской, с которой мы думали о наших лошадях, думают о нас? И так же, как мы не могли оставить лошадей, так не могли они оставить нас? Мы тоже были для них лошадьми, которые встретились где-то на слишком узкой тропе? Кто из нас был для них Красавкой, а кто — Рыжиком?

И вот они искали в нас свою изначальность. По-другому — свою точку отсчета... Тоже не зная, чем и когда они кончатся, хотели бы догадаться — с чего они начали? Не с нас ли?

А может быть, эти самые тарелочки умеют тосковать? Может быть, они должны тосковать? С утра до ночи — по своей изначальности? И потому, что мы для них не что иное, как предмет их тоски и печали, они и болтаются над нами, где-нибудь тут, в непроницаемо темном небе?

Может быть, они — это и есть материализованная в каком-то веществе печаль?

В веществе не от мира сего и не от таблицы Менделеева?

Не может быть, чтобы таблица Менделеева исчерпывала все на свете элементы, а значит, и вещества!

Не может быть, чтобы на этом свете было что-то «исчерпывающее»!

Вот уж все кончится с нашими лошадьми, Рыжим и Красавкой, потом кончится с нами, а тогда и тарелочки улетят в другое место Вселенной...»

А-а-а-а, черт побери, снова лошади виноваты! Снова весь белый свет сошелся на них!

Мы знали, что в нынешнюю ночь одна или обе они должны погибнуть, вот и сошелся на них весь наш белый свет...

Вчера часов около пяти вечера, только-только ушли Верочка Баклаева и Костя Ворожцов, как Верочкина лошадь Красавка опустилась на колени... Коленопреклонение.

Она совершила его не сразу, мы обратили внимание на то, что Красавка чуть-чуть, едва заметно, а все-таки двигает передними ногами, и стали смотреть на нее в бинокль; мы увидели, что она шевелит ушами и хвостом, и немного туда-сюда поворачивает голову... Ну как если бы она к чему-то приготавливалась... Мы не поняли — к чему, а потом вот оно что оказалось: она приготавливалась к тому, чтобы опуститься на колени...

Наши лошади и до этого ложились на тропу. Чаще ложилась Красавка, но стоило Рыжему сделать шаг вперед, ей навстречу, и Красавка с трудом, но поднималась снова. Наверное, она боялась, что Рыжий столкнет ее, лежащую, в Аргут или растопчет ее.

Нынешнее коленопреклонение Красавки было окончательным.

Совсем божественное получилось у нее ее коленопреклонение, медленное и неоспоримое, происшедшее в результате долгого-долгого испытания и потому вполне закономерное.

Боже мой, сколько и чего бы мы не передумали, чего бы только не выдумали, до каких бы геркулесовых столпов мысленно не дошли, если бы вот так же, встретившись на тропе, встали друг против друга, не имея никакой возможности разминуться!

Каких бы только слов о безумии, о несправедливости, о бессмысленности мира мы бы не произнесли!

Но наши лошади умели думать без слов и вот погибали естественно — та из них, которая сильнее, имела надежду остаться жить, слабая первой должна опуститься на колени, вот и все. И ничего больше. Они не распространяли свою гибель на весь остальной мир. Ни в коем случае!

Недоступное нам откровение!

Поначалу они, правда, не грубо, а робко, поупирались друг в друга лбами, потом каждая из них хотела как можно плотнее прижаться к скале, чтобы пройти вдоль нее, столкнув другую в пропасть, но это не удавалось, это было бесполезно, а полезным и разумным оказались только терпение и выносливость, и вот они обе стали терпеть и выносить жажду, голод, страх, солнечный горячий припек и боли костей, мышц, глаз, нервов, боли, которые мы, даже на расстоянии, переживали все эти дни вполне ощутимо.

В то же время мы испытывали чувство мудрости: мы не спутали наши возможности с необходимостью и не вмешались в судьбу лошадей, предоставив им всю ту свободу, которой они распорядились сами.

Редко это с нами случалось, редко мы не вмешивались во что-нибудь, имея возможность вмешаться, слишком редко мы не путали возможность с необходимостью.

Но на этот раз, на Алтае, нас осенило.

И вот наступило утро, а на тропе не оказалось наших лошадей.

Мы так привыкли и так научились видеть их там, наверху, простым глазом и в бинокль, видеть то силуэтами, то в мельчайших подробностях их смертной неподвижности, в робких движениях и в сильной конвульсивной дрожи, что теперь как будто ослепли, не увидев их, и серые скалы, на которых они еще вчера стояли, и су-

[illegible] рева Аргут, и горные дали, высвечивающие [illegible] в разнообразных вершинах — все это мы сочли за [illegible], все показалось нам невиданным.

Ну ладно, наших лошадей на тропе не было — факт. Так хотя бы нимбы остались? Которые сияли над лошадиными головами?

А почему бы нет? Говорят устно и печатают в [illegible]фотографиях, что живые существа излучают вокруг себя сияние. Кому-то удалось это сияние сфотографировать... Говорят и печатают, что сияние вокруг руки человека сохраняется, даже если лишить его руки. А наших лошадей никто не лишал чего-нибудь — ни ног, ни голов... Мы не нуждались в новых методах фотографии — мы и просто так, собственными глазами, все эти дни видели нимбы над головами наших лошадей.

Но теперь и нимбов, как мы ни вглядывались, не было!

И нам показалось, что и вообще ничего не было — даже нас самих. Наверное, каждому известно это чувство: когда теряешь что-то очень важное, очень существенное, кажется, что потерялся ты сам...

Но тут как раз в тот момент, когда мы полностью ощутили свое отсутствие, кто-то из нас завопил, перекрывая рев Аргута:

— Рыжий! Рыжий! Рыжий! Рыжий! Рыжий!

И так без конца...

Помешанный был этот голос, ни один нормальный человек на свете не мог бы так дико вопить, и, ошеломленные, мы не сразу поняли, в чем дело, куда, в какую сторону надо смотреть, а когда посмотрели ниже по течению и левее скалы, когда увидели ту лужайку, на которую — теперь казалось, в незапамятные какие-то времена — мы спустились с горных вершин, мы оказались потрясенными видом Рыжего.

Вполоборота к нам находилась наша лошадка, за камнями и травою видимая не всей фигурой, а только частями головы, передней ногой и порозовевшим в утреннем свете крупом...

Живой и даже розовый круп Рыжего! Конечно, он был совершенно тощим, но он — был!!!

Голова Рыжего, хотя и не видна была целиком, все равно изо всех своих сил пожирала траву и готова была пожирать ее из конца в конец лужайки и всех окружающих гор, и всего Горного Алтая, и всего белого света.

Нимба над головой Рыжего не было и в помине, но

теперь святое украшение нас не волновало — что оно есть, что нет его — нам стало все равно!

Мы не о нимбе сейчас думали, мы стали во все глаза смотреть на тропу: может быть, там где-нибудь, живая или мертвая, находится Красавка? Стали смотреть в Аргут — может, мертвую Красавку прибило волной к какому-нибудь камню? Мы стали смотреть вверх и вверх — может, Красавка тоже ушла по тропе в другую сторону? Ведь что-то должно же было с ней случиться?

И вот мы — не один из нас, а мы все — одновременно добрались глазами туда, где тропа пересекала небольшую плоскость, сбегая с одной скалы на другую. Мы добрались туда, и там, на этом переходе, на границе между двумя скалами, на площадке размером в сотню квадратных метров, предназначенных природой для чьего-то спасения,— там и стояла наша Красавка... Маленькая и жалкая фигурка, на тонких ножках, не столько лошадь, сколько животное вообще, существо не совсем понятной породы и происхождения, но со всею очевидностью живое.

Однако у нас не могло быть сомнений — она! И в подтверждение того, что она — Красавка, фигура эта медленно повернулась в нашу сторону и легла, и, лежа, стала вытягиваться — тоже срывая травку, пробившуюся между камнями...

Мы снова кричали, и кто-то на этот раз, должно быть, очень сильно охрип, потому что среди многих голосов появился один фальцетно-петушиный, а кто-то всплакнул, и мы представили себе, как все это могло произойти: вчера вечером Красавка наконец опустилась на колени, мы это видели, мы это коленопреклонение переживали очень глубоко, хотя и не знали еще его смысла и значения, а уже ночью, когда не было видно ничего, она, наверное, и совсем распласталась по тропе... Тогда-то через нее и прошел Рыжий... Тропа стала свободной, и Красавка тоже нашла в себе силы подняться и пойти в свою сторону. Может быть, она и на колени-то опустилась не потому, что была слабее Рыжего, а потому, что была умнее его? Сознательнее? Мы давно замечали, что Красавка очень умная лошадь!

Таким представился нам заключительный кадр кинематографа, который мы никогда не видели, но, несмотря на это, кадр на всю жизнь оказался запечатленным в нашей памяти. Ведь ничего другого нельзя было себе ни представить, ни выдумать!

На наши крики прибежали и лесные люди, скрывшиеся от нас вчера,— диковатые, уже отчужденные от нас и от наших лошадей Костя и Верочка, они тоже запрыгали от радости, но их отчуждение не становилось от этого менее заметным.

Ведь именно Верочкиных рук было все это дело, ведь из-за нее лошади сошлись на тропе лоб в лоб, и вот теперь, когда они разошлись, Верочка должна была заплакать, должна была благодарить наших лошадей! Плакать и благодарить... Плакать и благодарить...

Верочка весело сказала:

— Лошади потому и смогли спастись, что одна из них — женщина, а другой — мужчина! Других причин нет! Может быть, кто-нибудь в этом сомневается? В этом вопросе?

— Рыжий — это бывший мужчина!— отозвался Сема Кочкин.

— Тем более показательно! — как всегда, отчаянно настаивала на своем Верочка...

Но мы совершенно не вникаем в ее слова. Это был уже не вопрос для нас, а пустяк, причем пустяк не к месту. Мы были сейчас заняты другими размышлениями, недоступными этим двум лесным людям.

Недавно, несколько дней назад, наше «мы» представлялось нам надежным сооружением, вокруг и внутри которого происходила наша жизнь, и мы непринужденно рассуждали о разных предметах и о самих себе, потому что в меру знали и тоже совершенно в меру не знали друг друга...

Но теперь это равновесие нарушилось.

Теперь-то нам стало известно, что это было очень хрупкое сооружение, даже скорее проект конструкции, чем сама конструкция, и вот мы спрашивали себя: все еще существует наше «мы» или его уже нет?

Мы — это ведь живой организм.

Как во всяком организме, в нас существует прошлое и настоящее.

И должно было существовать будущее.

САННЫЙ ПУТЬ
Рассказ

Речки были разные: с узкими и широкими долинами, с открытыми и залесенными берегами, каждая со своим рисунком правого и левого берега, каждая со своим ледяным покровом — то ровным и гладким, то покрытым зубчатыми торосами... Вся местность вокруг, на юг и север, на восток и запад, была рассечена речками и ручьями, все речки и ручьи, поблуждав по местности, находили путь только на восток, к огромной реке, называемой Енисеем, впадали в нее, и та, подхватив их воды, тоже скрытно, тоже под толщей льда неслышно несла громадную и общую ношу в океан. В пространствах между реками, то больше, то меньше возвышенных, стоял повсюду лес, в один ярус, без подроста, без кустарника и без бурелома, ровный, как будто возникший в одно мгновение.

Каждое дерево этого безмолвного и удивительного леса и весь он в целом были исполнены в трех разных красках: к комлям и на высоту два-три метра — землисто-серой, затем — красной и красно-желтой, причем с высотою желтизна становилась преобладающей, она была легкой, лукавой, трогательно-нежной. В суровом и холодном воздухе устойчивой зимы она была похожей на яичный желток, на хрупкую скорлупу пасхального яичка, а кроны густо были окутаны ворсистой хвойной шерстью, почти непроницаемой в своей зелени, сквозь которую только очень слабо проступал узор причудливых древесных ветвей все той же легкой желтизны.

Изредка лес прерывался открытыми полянами с блестящим чистым и, казалось, чуть влажным снегом только по опушкам, запорошенным опавшей с деревьев хвоей, потом он продолжался и продолжался снова все-

ми тремя неизменными красками — землисто-серой, желтой и зеленой.

Над лесом колыхалось обесцвеченное небо, туманное и зыбкое, а где-то светило почти невидимое солнце.

Если бы все это, весь пейзаж показать в кино,— наверное, ничего бы не показалось, не хватило бы глубины и перспективы самого современного и широкого экрана. Пейзаж этот недостаточно было видеть со стороны — в нем надо было чувствовать себя, себя, окруженного им повсюду, со всех сторон..

Удивляясь своей поездке, Иванов, запорошенный инеем, плотно завернутый в тулуп, в шарф и в шапку, ехал третий день через этот лес, через эти речки, через это небо, путь его приближался к концу, ему это было уже все равно — в памяти один за другим возникали другие, давно и недавно минувшие санные пути...

Самым давним, самым детским, но вовсе не самым отдаленным было воспоминание о том, как ему хотелось обнять, прижать к себе и надолго оставить при себе почти такой же, как и сейчас, морозный воздух, который просачивался под воротник его тулупа из огромной зимней степи... Он был сладким и сытным, тот воздух, крохотному Иванову хотелось облизать его и закапать слезами, нужно было это сделать, но уже тогда какое-то «нельзя» мешало ему, и в недоумении от этих «нужно» и «нельзя» он лежал в санях неподвижно и как бы скрытно от всего на свете, а сани везли его по степи от одного черного окаменевшего под снежной шапкой стога сена к другому, тоже черному и окаменевшему. Когда он выглядывал из тулупа в степь, и стога тоже сейчас же выглядывали из-под огромных снежных шапок-малахаев, как будто зная о многом очень многое, желая что-то объяснить маленькому Иванову, но ни о чем не умея подать ни одного слова...

Еще Иванов почти все время видел сильный, блестящий лошадиный круп, а иногда — крутую, высокую узорную дугу... Он думал о том, что на лошадиных ногах, на каждой из четырех, тоже есть почти такая же, но только маленькая и железная дуга. И вот ему начинало казаться, что лошадь запряжена не в дугу, а в большую серебряную подкову, а потом, что эта подкова уже не подкова, а серебряная арка-ворота, и лошади обязательно нужно промчаться сквозь них, но они ведь, эти ворота, мчатся вместе с лошадью, и вот лошадиный бег становится бесконечностью.

Подковы — дуги, дуги — подковы, серебряные ворота,— что-то он думал об этом напряженно и очень глубоко, как об открытии, но теперь уже не знал, что же все-таки он тогда думал...

Откуда и куда была поездка, он тоже хотел вспомнить за свою жизнь не один раз, но так и не вспомнил ни разу, теперь же был счастлив, что не вспомнил этого. Откуда, куда, зачем, почему, когда, кто — совершенно отсутствовали в этом воспоминании, просто это было детство, завернутое в теплый бараний тулуп, уложенное в сани на охапку сена и движимое туда, где он должен был родиться еще раз повзрослевшим человеком.

Теперь же он вспоминал себя тогдашнего, еще не рожденного окончательно, ощущая небольшую боль от ударов не этих, а тех саней, слушая не этот, а тот скрип санных полозьев, вглядываясь не в это, а в то небо...

Сразу вслед за тем наступало для него другое время; ночь и лес, только совсем не такой, как нынешний,— редкий, неровный, в котором причудливые тени деревьев с трудом можно было отличить от самих деревьев.

Луна была тогда красной, высокой; освещая землю, она делала небо черным и тоже высоким, дорогой был один-единственный санный след, по большей части запорошенный снегом и даже затянутый снежным настом; когда луна все-таки показывала этот след, возница подтверждал, что они едут правильно и что, бог даст, правильно доедут, нисколько не заблудившись, и они действительно достигли тогда небольшой, без подворья, избушки на окраине села, в которой жил уже немолодой, заросший волосами и глуховатый человек,— он строил в окрестных селах колодцы и простейшие, в одну нитку, тупиковые водопроводы.

Он был тронут своим занятием, этот человек, тронут и как бы даже подавлен им на всю жизнь, так что мир заключался для него прежде всего в этих колодцах и водопроводах, а все остальное на свете имело смысл лишь постольку, поскольку или содействовало, или противодействовало его строительству.

В течение всей оставшейся ночи тот человек не дал Иванову сомкнуть глаз, объясняя все о колодцах и водопроводах.

И хотя Иванов был тогда техником, хотя он приехал к этому человеку по его делу и по его просьбе, он готов был просить его о пощаде, молить, чтобы тот замолчал хотя бы на час-другой.

Колодезник не замолкал, а Иванов пытался не слушать его, восстанавливая только что минувшую дорогу: деревья и тени деревьев, ярко-красную луну, санный след, еще что-нибудь, какие-то подробности пути.

Многочисленная семья, населявшая избу, спала крепким, беспокойным сном, детишки храпели на полу и на полатях, на печи без конца бормотал старческий голос, жена колодезника, полуодетая, несколько раз вставала с кровати и, не просыпаясь, не замечая приезжих, ничего не замечая и не слыша, что-то делала с глиняной квашней, из одной посуды в другую переливала воду, а потом ложилась, почти падала в кровать снова.

Так настал рассвет, и только что настал, хозяин вышел из своей избы, запряг игреневую лошадку в разбитый коробок, усадил в него тоже разбитого бессонной ночью Иванова, и они поехали по окрестным селам, чтобы заглядывать в темные отверстия колодцев, подниматься по жиденьким и тоже темным лестницам на водонапорные башни и говорить о том, как будут счастливы люди, когда земля вокруг них покроется колодцами и водопроводами.

Уже на памяти Иванова жилая земля в основном покрылась ими, но что-то незаметно было, чтобы люди стали счастливее, однако же всякий раз, когда кто-нибудь говорил при нем о мечте, об одержимости мечтою, в сознании его снова и снова возникали глуховатый колодезник и дорога — зимняя и лунная,— которая привела его к нему.

Еще вспомнилась одна дорога — длинная-длинная, на почтовых лошадях, из небольшого заполярного городка в большой, тоже северный город областного значения. Это была даже не дорога, а совершенно обособленное от всей остальной его жизни пространство, в котором он когда-то существовал. Не имело никакого значения, когда это было — давно или недавно, каким он был тогда человеком — юношей или уже пожилым отцом семейства, какими событиями был в ту пору наполнен мир,— ведь все, что проистекало тогда, проистекало из времени, он же находился только в пространстве. Когда в последний раз в жизни он станет вспоминать свою жизнь, он опять не вспомнит этой дороги, а только ее километровые столбы и ее протяжение, рассекаемое на части буранами и все-таки целое, с редкими пунктами почтовых отделений, в которые он входил на оцепеневших ногах с задних дверей, со стороны захламлен-

ных дворов и не убранных от снега деревянных крылечек, входил как чей-то груз, прописанный в почтовой накладной, в тесной компании серых почтовых мешков под сургучными печатями...

Он и совсем не смог бы восстановить в памяти эту жизнь, понять ее и как-то — плохо ли, хорошо ли — к ней отнестись, если бы она сама по себе не позаботилась об этом: когда в один прекрасный и весенний день человек улетел в космос, Иванов долго думал, откуда ему известно состояние первого в мире космонавта, известна и та протяженность, в которой космонавт существовал, и наконец понял: санный путь на почтовых дал ему это понятие.

Тогда это было для Иванова случайным путешествием, которое возникло потому, что начинал таять снег, и самолеты не могли приземлиться на летное поле полярного городка ни на лыжах, ни на колесах, и вот тягостный перерыв между гулкими воздушными рейсами заполняли скрипучие санные перегоны.

Со временем случайность этого пути исчезла, и тогда Иванов стал воспринимать его как что-то совершенно необходимое для себя и своей биографии, как что-то незаменимое ничем другим.

Был, однако же, у него и еще один, пожалуй, самый короткий и самый пронзительный санный путь...

Тоже весной, и тоже начинал уже таять снег на улицах районного городка, когда Иванов выскочил не то из третьего, не то из четвертого класса деревянной школы — в точности он теперь не помнил, из какого именно,— и, волоча за собой ранец, в неизъяснимом восторге и желании бросился догонять порожний обоз.

Это был мальчишеский почти что закон: уцепиться за чьи-нибудь сани и хотя бы несколько шагов, хотя бы волочась по снегу на животе, податься по дороге вперед... Возвращаться домой без этого, обычным и собственным ходом было для мальчишек немыслимо, позорно, невероятно скучно, и вот они подолгу простаивали на перекрестках улиц в ожидании благоприятного случая либо уезжали с горя в любую сторону, лишь бы только подсесть и ехать куда-нибудь, а потом долго и медленно, уже в темноте и в хандре, плелись обратно к дому.

И было непонятно, почему взрослые вступали по этому поводу в жестокую войну с мальчишками, заметив противника на перекрестке улиц, хлестали лошадей, чтобы скрыться как можно скорее и без потерь; если же

мальчишкам и тут удавалось подсесть,— взрослые старались их поймать, отнять у них шапки и книжки.

Только редкий какой-нибудь старик, перед концом жизни снова приблизившийся к ее началу, к детству, относился к мальчишкам с пониманием, делал рукавицей знак мира и солидарности, и тогда мальчишки, пьяные от счастья, подсаживались на порожнюю и ехали куда-нибудь, все равно куда, молча и сосредоточенно разглядывая знакомые улицы своего городка с высоты ездового положения.

В этот раз мира не было...

Бесконечно длинный обоз шел порожним: лошадь, привязанная к саням, сани, снова лошадь, снова порожние сани, и так покуда хватал глаз, и только в каждых третьих или четвертых санях виднелся какой-нибудь тулуп — черный, то есть совсем еще новый, порыжевший или уже позеленевший от времени. Людей в тулупах трудно было заметить — тулупы ехали и погоняли лошадей как будто сами по себе.

Обоз двигался по пути Иванова — в сторону его дома, и тот прямо из школьных дверей бросился наперерез, а возница в зеленом тулупе, заметив этот откровенный маневр, вскочил в рост и, дико взревев, стегнул свою лошадь.

Лошадь рванулась вперед, и три следующие и связанные с нею в одну цепочку рванулись тоже, и мальчишка, только что кинувшийся в средние сани, от внезапного толчка вылетел из них на дорогу, под ноги следующей лошади...

В тот же миг он увидел прямо над собою, над своими глазами, блестящий полукруг подковы с двумя шипами по краям. между лошадиными ногами ему мелькнуло небо, он успел понять, что все это — последний раз, что больше никогда и ничего не промелькнет перед ним, но тут же он услышал не свой а чей-то чужой треск, что-то ломалось рядом с ним, но только не он, что-то хрипело, билось о землю и стонало.

Когда он вскочил на ноги, лошадь. с порванной уздой, с окровавленной губой, лежала на сломанной оглобле, другая оглобля была у нее на брюхе, два копыта, вздернутые вверх, блестели подковами, а голова была откинута назад, и откуда-то не из себя, а со стороны, взглядом помутневшим, скорбным и виноватым она глядела на возницу, который, волоча за собою зеленый тулуп и тоже задыхаясь, бежал к ней, чтобы бить ее.

С неимоверной быстротой мальчишка бежал прочь от места, на котором он должен был умереть, прочь от жуткого непонимания, которое преследовало его.

Он плакал, не понимая, почему лошадь сделала все, чтобы не убить его, а человек тоже сделал все, чтобы его убить, и теперь жестоко мстит лошади за свою неудачу.

Он знал, что не поймет этого никогда, даже если станет бессмертным и самым умным на свете человеком, и бежал все быстрее, пока не опрокинулся в твердый сугроб, умереть в котором было почему-то еще ужаснее, чем под копытами лошади.

Он хотел плакать долго-долго и жалобно, как девчонка, но слезы вдруг кончились, потому что он спросил себя: «А зачем же мальчишки становятся мужчинами? Дети — взрослыми людьми?»

Самый короткий санный путь — всего несколько шагов — был самым трудным и ужасным, однако же опыт этого пути остался с ним и однажды спас его...

Под Новгородом, в ночном сумраке, его батальон погрузился в санный обоз и двинулся в объезд какой-то вражеской позиции, негустым лесом, не то хвойным, не то лиственным — он почему-то не запомнил.

Не очень глубокий, да и не очень ответственный рейд подходил к концу, стало уже светло, как вдруг огонь сразу же, без пристрелки, накрыл растянувшийся обоз. Или это была прямая наводка, или противник заранее пристрелялся, но только подводы одна за другой стали рваться на мелкие части — на деревянные обрубки саней, на копыта, на хомуты, на руки в зеленых рукавицах и на ноги в белых валенках, забрызганных красным, на вещмешки и осколки винтовок.

Иванову показалось, будто таким образом обоз, в котором он ехал, стреляет по невидимому врагу...

Не сразу он догадался тогда, что это и есть война, что это не лошади и не сани выстреливают собою во врага, а враг стреляет по лошадям, саням и людям, чтобы убить их навсегда.

Впереди по дороге был небольшой лес, то, что в Сибири называют колком, в колок и устремился весь обоз.

В санях, на которых ехал Иванов — младший лейтенант, только накануне прибывший в маршевой роте на фронт, кроме него были еще пожилой сержант и трое солдат. Сержант правил лошадью, и, когда огонь накрыл обоз, он стал бить ее прикладом винтовки, Иванов

же ударил сержанта и, свалив его в сани рядом с собой, вырвал у него вожжи. Лошадь в это время круто встала на дыбы, из последних сил сопротивляясь тому рывку вперед, в который толкали ее странные люди прикладом, но, почувствовав, что ее никто больше не толкает, она прыгнула в сторону и поволокла сани по глубокому снегу в кусты, а через кусты — в неглубокий, но крутой овражек, в который она сразу же упала и, кажется, задохнулась там.

Они же, пятеро, кинулись по овражку вниз и остались живы... Живы были люди еще с двух или трех подвод, которые замыкали обоз далеко позади, и это было все, что осталось тогда от батальона...

Вспомнив наконец все свои санные пути, Иванов стал чувствовать и тот путь, которым он ехал нынче.

Вокруг все было так, как должно было быть.

Сани покачивались под ним, в борта саней неторопливыми волнами ударял снег, лошадь бежала рысцой, чуть покачиваясь в стороны, и бег ее был тем самым бегом, с которого, заранее подсмотрев ответ, изобретатели списали свои задачи, создавая велосипеды и паровозы, автомобили, тракторы и танки...

Все было, как и должно быть в пейзаже с ровным красноствольным лесом без подроста, который лесники не совсем естественно называют «естественным парковым насаждением»; все было, как и должно быть в тех четких рисунках понижений, на дне которых, подо льдом и снегом, скрытно протекали ручьи и речки и которые топографы и геоморфологи именуют «поперечными профилями речных долин»; все было, как должно быть в свежем и синеватом воздухе, о котором прогнозисты-синоптики и метеорологи сказали бы, что это «приземный слой атмосферы», который «выхолаживается в результате устойчивого антициклона».

И все было так, как и должно было быть, в том, что на дороге появился охотник с рюкзаком и ружьем за плечами, с собакой, которая стояла, почти вплотную прислонившись к его ногам, и первая приветственно помахала черным и лохматым хвостом.

Охотник тоже поднял руку с лыжной палкой, остановил подводу и спросил, кто, куда и зачем едет.

Возница ответил, что в деревню Савватеевку он везет человека из кино, а назад этот человек уже не поедет санным путем, потому что полетит на вертолете.

Охотник и возница еще поговорили об этом человеке — почему ему не сидится рядом с собственной женой в городе Москве и почему он так нерасчетливо тратит казенные проездные деньги; почему, если уж он заехал в дальние края, не позаботился о местном населении и не захватил с собою новую картину, чтобы в ней было все как настоящее и в то же время очень интересное.

Собака с рыжими подпалинами по черному знакомилась тем временем с лошадью, обнюхивая ее со всех сторон; от потной лошади в морозный воздух исходил пар, лошадь фыркала, вздыхала и нетерпеливо переступала с ноги на ногу.

Голоса людей и вздохи лошади, которой почему-то не нравилось собачье принюхивание, слышались Иванову как бы издалека, с расстояния в несколько десятков шагов,— ему не хотелось развязывать уши меховой шапки, чтобы слышать лучше.

Он сидел неподвижно, ощущая союз и братство незнакомства между тремя людьми, одной лошадью и одной собакой, которое нередко бывает очевиднее самых близких отношений, и мог бы сидеть так сколько угодно, хотя бы до конца жизни.

Он мог бы объяснить им всем кое-что о себе: кто он, зачем едет, что вспоминает дорогой, но это было ни к чему сейчас, никто из них не нуждался в этом, даже он сам, хотя давно уже в его правилах и привычках было рассказывать и объяснять о себе все, все, что касалось его прошлого и особенно будущего, включая будущее его взрослых, женатых и замужних детей и всего человечества.

В нынешней поездке у него вдруг потерялся интерес к своим собственным словам.

По замыслу его нового фильма, санным путем, через тайгу, должны были ехать молодой геолог, женщина-врач с дочерью-студенткой, охотник и, может быть, еще кто-нибудь, а на этом пути стало бы развиваться все содержание фильма — любовное, социальное, научно-познавательное.

Вот он и поехал, чтобы увидеть этот путь глазами своих героев, но их глазами не увидел ничего, а все — своим собственным, причем не нынешним, а прошлым взглядом.

У него был такой творческий навык — размышлять о прошлом своих героев: кем и чем они были до того, как

стали его героями, какую прожили жизнь? Почти по Станиславскому...

Нынче и это оказалось ни к чему — свое прошлое возникало перед ним все время и неотступно, чужого не было. С ним этого давно не случалось, разве только в юности, когда он еще не умел строить отдельные творческие замыслы и говорить о них вслух, потому что вся его собственная и даже вся окружающая жизнь казалась тогда ему одним-единственным огромным и безусловно необходимым замыслом...

Наконец охотник взял в обе руки лыжные палки, а собака подняла кверху свой лохматый хвост и повертела им в воздухе.

Собака — все ее туловище и голова — была покрыта инеем, поэтому она казалась тусклой, невыразительной, а хвост оставался натурально-черным, и, как будто зная об этом, собака энергично действовала им.

Лошадь громко и облегченно вздохнула, она, в общем-то, неплохо отнеслась к знакомству с собакой, но где-то в глубине души была не прочь расстаться с ней, она торопилась туда, где ей за ее добросовестную работу полагался хороший отдых, овес и пахучее сено.

Беседа закончилась.

Охотник все-таки подошел на минуту к Иванову и непосредственно ему объяснил, когда можно ждать вертолет, чтобы улететь из Савватеевки, после этого он толкнулся палками.

Лыжи, набирая скорость, понесли охотника под уклон, его фигура стала мелькать между землисто-серых стволов высоких сосен и как будто даже сквозь них.

Это был точь-в-точь тот охотник, который мог бы сопровождать по санному пути молодого геолога, женщину-врача, ее дочь-студентку и еще кого-нибудь из героев Иванова в его новом фильме под названием «Санный путь». Если бы этот фильм состоялся...

От кончика носа до кончика хвоста вытянувшись в одну прямую линию, собака скользила по лыжному следу за охотником.

Лошадь не быстро, но торопливо побежала своей дорогой — ей оставалось бежать три-четыре километра, недалеко, и она догадывалась об этом.

Иванов же думал, почему он так мало замечает свой нынешний путь, а только вспоминает и вспоминает.

Видит вокруг себя пейзажи, а свою дорогу заметил только в каких-то отрывках — в цвете леса и неба.

Масть лошади, на которой он ехал, он увидел только что, вот сейчас,— лошадь оказалась гнедой, запах ее пота ударил ему в лицо лишь сию минуту — он был острым и гармонировал с запахом нынешнего, тоже острого мороза. Скрип санных полозьев, который сопровождал его нынче, был тоже не нынешним, и доносился откуда-то издалека.

Вот и с замыслом происходило что-то: он рвался в клочки и уходил от него.

Он пришел к Иванову, как всегда, нежданно-негаданно, в нестерпимо жаркие дни и на берегу моря, а теперь исчезал вместе с охотником и его собакой, так же мелькая где-то между серых, землистых стволов огромных сосен.

«Почему? — спрашивал себя Иванов.— Почему исчезает интересный и многообещающий замысел?!»

* * *

Потому что это был самый последний санный путь Иванова, только он не знал об этом, не догадывался.

Он был еще нестарым человеком, он проживет еще немало лет, поставит довольно много фильмов, в том числе один или два хороших, у него сохранится интерес к жизни, причем — взаимный, жизнь по-своему тоже будет интересоваться Ивановым, но на санях он больше не будет ездить уже никогда: у него не будет такой необходимости.

Ни у него самого, ни у его детей и внуков. Все они в соответствии с расписаниями будут и дальше двигаться по Земле на поездах и автомобилях, будут плавать на водных ракетах и летать на воздушных лайнерах, но разве только один какой-нибудь внучонок Иванова однажды, в дни зимних каникул, прокатит три круга по центральной площади города на разукрашенной лошадке, в разукрашенных саночках.

Ни лошадки, ни саночки ничего не подскажут веселой детворе о санных путях, и дети никогда и ничего не узнают о них сами по себе, непосредственно, разве только с помощью книг, картин и кино.

Вот и в жизни Иванова было много путешествий, иногда он выбирал их, иногда — они его, он предчувствовал появление и еще каких-то неизвестных путей, но когда какой-нибудь путь становился прошлым для него — он не умел об этом догадаться.

БЛИНЫ
Рассказ

Блины горячие хорошо макать в масло. Идут они и со сметанкой. И с вареньем из черной смородины. Идут блины под стопку, идут с утра натощак, не упрямятся и в обед.

Лбов Тихон, главный бухгалтер и член правления колхоза «Сибирский партизан», вот уже сколько дней видел перед собой блин.

Не только видел — ощущал. Вдыхал запах блина — ароматный, густопшеничный. Никогда и нигде на земле не пахнет так пшеница, как в блинах. Чувствовал он блин и в своей большой, когтистой руке — жаркий, будто полуденное солнце в июле месяце, мягкий и даже пушистый, как только что вылупившийся из яйца гусенок. На слух блин тоже давал о себе знать — снятый со сковородки, он долго еще вздыхал, но только уже не громко и сердито, а тихо и ласково, как зажмурившийся кот перед сном.

Цвет у блина золотистый, тоже солнечный и совершенно съедобный. Все, что имеет такой золотистый цвет,— все обязательно должно таять во рту.

На вкус... Ничего не скажешь о том, как ароматный, пшеничный, жаркий, пушистый, вздыхающий и золотистый блин тает под стопку. Ничего не скажешь, потому что нет таких слов, чтобы не только сказать — подумать словами об этом.

Если считать по-старому, шел великий пост, но Лбов Тихон, хотя и соблюдал михайлов день, рождество, пасху, троицу, к великому посту относился без всякого сочувствия.

И если произошла задержка с блинами, так все из-за нового председателя. Новый председатель Пыжиков не давал машины, чтобы съездить в город на мельницу, намолоть настоящей, годной только под блины, крупчатки и еще гречки к ней.

Точный счет председателям в колхозе «Сибирский партизан» велся до десятого колена — не дальше. В более отдаленных временах фигуры председателей как бы уже таяли, маячили, словно тени. Кто-нибудь, случалось, и вспоминал, что вскоре после войны был такой председатель — Колупенков, но кого Колупенков сменил и кто сменил Колупенкова — уже никак нельзя было вспомнить. Даже терпеливое изучение архива правления не приоткрыло бы, наверно, исторической загадки.

Последним председателем, которого сменил Пыжиков, был Калистрат Калистратович Обменяйло-сын. За полгода своего руководства он превзошел всех своих предшественников, в том числе и Обменяйло Калистрата Калистратовича-отца. Превзошел он их всех по графе «кредит». В бухгалтерских книгах колхоза заключительная цифра этой графы достигла при нем шести знаков. Оставалось еще немного потрудиться Обменяйло-сыну, и все шесть восьмерок и девяток этой шестизначной цифры преобразились бы в пузатые нолики, а возглавила бы это шествие седьмая значащая цифра — тощая единичка.

Но не довелось Обменяйло Калистрату Калистратовичу-сыну довести начатое дело до конца, не довелось отметить свой рекорд-миллион по графе «кредит»: пришел Пыжиков.

С его приходом цифры в этой графе поползли вниз, вниз пошло и настроение бухгалтера Лбова, всех братьев Лбовых: родных Тихона, Игната, Алексея, двоюродных Федора, Прохора, Семена.

В Петровке, впрочем, уже давно не различали степеней родства между братьями Лбовыми, знали только, что главный среди них — Лбов Тихон, что живут братья по принципу «чем хуже, тем лучше». Чем хуже шли дела в колхозе, чем больше запутывался в долгах, сделках и попойках очередной председатель, тем больше набирали силы Лбовы, особенно Лбов Тихон. Чем ниже падал трудодень, тем больше лбовской скотины паслось в колхозных посевах и меньше находилось охотников эту скотину выгонять — потрава, нет ли потравы, трудодень все равно ничего не стоил.

И вот тут уж громко и смело звучали речи братьев Лбовых на собраниях — критические, обличительные, миролюбивые, агитационные и хвалебные,— всегда направленные в свою пользу; Лбов Тихон уверенно стучал в конторе костяшками счетов, а кладовщик Лбов Игнат — гирями весов; фуражир Лбов Прохор громко ругался с доярками, чтобы они не бузили, проворнее принимали корм для скота; зав. птицефермой Лбов Федор не только что днем — ночью, радея, проверял тогда теплые гнезда несушек; старший конюх Лбов Алексей чаще ездил в город на базар, и веселее звучал тогда баян в руках Лбова Семена. Лбов Семен — самый младший из братьев — второй год отдыхал в Петровке после заключения, все присматривался, какая работа в колхозе придется ему по вкусу. Старшие братья ублажали Сему, как малое дитя.

Нового председателя Пыжикова братья Лбовы пригласили на крестины. Не пришел.

Приглашали потом на поминки, на свадьбу, на престольского Петра и Павла — в каждой неделе без труда находили братья Лбовы день, чтобы собраться за столом, пригласить гостя. Пыжиков не приходил. И на Седьмое ноября тоже не бывал у них Пыжиков, и на Новый год не заглянул, и в Восьмое марта не поздравил Лбовых жен и дочерей.

Тогда большинством голосов правление постановило продавать председателю продукты из кладовой по базарной цене. Цены эти назначал жене Пыжикова кладовщик Лбов Игнат. Расплачиваясь, вздыхала жена Пыжикова громко, деньги отсчитывала медленно, но сам Пыжиков по-прежнему говорил Лбову Тихону «спасибо», когда тот приглашал его зайти повечерять, и не приходил.

Потом пропало с председательского «Москвича» зажигание. Лбов Тихон сочувствовал, возмущался народом, проживающим в Петровке, сказал доверительно, что есть у него знакомый человек, который не то что зажигание — полного «Москвича» и ЗИЛ может предоставить в придачу в любой момент. Встретиться же с этим нужным человеком можно хоть сегодня то ли на квартире у Лбова Игната, то ли у него, Тихона.

Не пришел Пыжиков повидаться с нужным человеком.

Потом отказал Лбов Прохор в квартире молоденькой агрономше. Помыкалась та и поселилась в одном

доме с Пыжиковым. Через неделю в районе сделали Пыжикову замечание — зачем, дескать, ты, товарищ, эксплуатируешь чужой труд, используешь агронома как домашнюю работницу? Почему она умывает твоих ребятишек из колхозной фляги? За это ли платит ей колхоз деньги?

Седьмого ноября на столе у братьев Лбовых дымила сытным паром вареная, жареная, тушеная живность двух колхозных дворов: ягушка, весенний приплод свиноматки, гуси, утки. Еще из головы и ножек теленка-годовичка было приготовлено холодное. Центнер сахара был переведен на брагу.

У Пыжикова тоже был праздник, была баранья ножка, купленная в кладовой у Лбова Игната по предпраздничной базарной цене, были гости — эксплуатируемая агрономша, еще двое-трое комсомольцев и две-три солдатки.

Пыжиков спел, сплясал, изобразил в лицах, как жена покупала у Лбова Игната баранью ножку, сказал, что когда-нибудь жена его поедет в солнечную Грузию, на берег Черного моря, отдыхать — заслужила.

Позже показывали Пыжикову в районе сигналы. Сигналисты утверждали, что председатель спаивает молодежь, и агронома тоже спаивает, и зоотехника.

И вот уже не бывает больше приглашений председателю Пыжикову от братьев Лбовых и, по всему видно, не будет никогда.

Не будет потому, что запьянствовал на михайлов день и прогулял неделю Лбов Прохор, фуражир. Большинством в семь голосов против четырех правление освободило Лбова Прохора от обязанности фуражира.

Не будет приглашений Пыжикову к столу братьев Лбовых, потому что большинством в восемь голосов против трех правление колхоза перевело старшего конюха Лбова Алексея в рядовые конюхи: Лбов Алексей лошадей и телегу с колхозной конюшни ссудил на время промартели в городе.

И уже совсем незадолго до Октябрьских праздников в колхозе обнаружена была крупная приписка по молоку.

Зачастили в колхоз комиссии. Районная газета сообщила о вопиющем факте. Девушка-секретарь в приемной председателя райисполкома перестала здороваться с Пыжиковым.

Ночь накануне того дня, когда Пыжикову предло-

жено было явиться в райком и положить на стол партбилет, провел он, не смыкая глаз, в конторе. Ворошил бухгалтерские книги, листы учета надоев, ведомости начисления трудодней дояркам, квитанции маслозавода на сданную продукцию.

Считал на маленькой карманной линейке и на огромных канцелярских счетах.

Часов в пять утра Пыжиков вскочил на ноги, закурил, забегал от дверей к темному окну, от окна к двери. На линейке вышло — приписки нет и быть не может. Было это видно по денежной сумме, полученной за молоко. По бухгалтерским точным книгам получалось наоборот — приписка есть. Еще получалось по этим книгам, что как раз за неделю до годовщины Великой Октябрьской социалистической революции коммунист Пыжиков станет беспартийным, получалось, что Пыжиков жулик, что место ему на скамье подсудимых, что немало слез еще прольет жена Пыжикова, немало проведет она бессонных ночей.

Часов в семь утра в конторе появилась тетя Фенья, уборщица. Молча она подметала контору веником из полыни; полынный запах показался Пыжикову особенно горьким. Сердито он сказал тете Фенье:

— Обождала бы с уборкой...

Тетя Фенья в ответ подняла пыль еще круче, принялась ворчать, что порядка в конторе никогда не будет, ежели не только днем — всю ночь в помещении курят. Потом сказала:

— Все ищешь? Ищешь все... Нет чтобы поглядеть, каким таким манером нетели рекорды по молоку ставят...

Вот где была ошибка: двенадцать нетелей по акту председателя ревизионной комиссии Лбова Прохора были записаны дойными коровами, одни за три месяца, а другие и за полгода до первого отела. Вот и получилось: валовый надой преувеличен, а молока нет и не было в природе.

За эту ошибку бухгалтеру Лбову Тихону правление объявило выговор большинством голосов (при двух воздержавшихся).

Вот с тех-то самых пор никогда больше братья Лбовы и не приглашали председателя Пыжикова погостевать, провести вечер в свойской компании.

С тех пор, собираясь вместе, братья Лбовы чаще и чаще предавались нерадостным воспоминаниям о телке-

годовичке, с которого все началось между ними и председателем Пыжиковым, о проклятом телке.

А началось это в первый же день, как Пыжиков приступил к своим обязанностям.

В кукурузе он увидел тогда десятка два разномастных сытых телят и сказал старшему скотнику:

— Что ж ты, папаша, смотришь — на твоих глазах скот травит колхозный посев. Выгони-ка телят поскорее!

— Каких? — спросил скотник.

— Да вон тех, что в кукурузе!

— Это телят-то? Телятушек, значит?

— Ну да, их...

Скотник почесал в затылке, вздохнул:

— Где мне за теми телятушками — разве угнаться. Куды там!

Пыжиков пожал плечами, подозвал случившегося здесь мальчугана:

— Выгони-ка, малый, телят из кукурузы... Да в конюшню их!

— Телят? — спросил мальчишка, так спросил, будто впервые в жизни увидел диковинных зверей.

— Ну да, телят! Не видишь, что ли? — удивился Пыжиков и подумал про себя: «Народ не очень-то, видно, сообразительный в Петровке!»

Мальчишка же погрозил пальцем Пыжикову и сказал:

— Хитрый вы, дяденька... Телята, чать, лбовские...

— Какие?

— Лбовские, говорю. Непонятливые вы или как?

— Ну и что же из того — лбовские?!

— А загоните сами, узнаете, что из того... — Мальчишка покосился еще раз на Пыжикова, улыбнулся и тут же исчез — как ветром сдуло.

Пыжиков погнал телят сам. Подобрал кнут, зашел в кукурузу, хлестнул одного, другого. Телята сначала ткнулись бестолково в разные стороны, потом собрались кучей, пошли. Гнал Пыжиков телят улицей, каждый раз, когда миновал двор кого-нибудь из братьев Лбовых, или тот, из которых братья брали себе жен, или куда они выдавали дочерей, кто-нибудь да выскакивал на дорогу. Телята шарахались, собаки лаяли кругом. Лбовская родня громко комментировала событие:

— Пастух-то, видать, с высшим образованием!

— Сколь же ты себе трудодней начислишь за пастьбу, сердешный?

— Держи красного-то, комолого, за рога — не то ускочит!

И был у Пыжикова только один помощник в этом деле — годовичок, темный, какой-то лошадиной, почти гнедой масти. Помахивая вниз и вверх приплюснутой головой с черным пятном на носу, он шел, не обращая ни малейшего внимания на собак, шел туда, куда гнал его Пыжиков, за ним неохотно, лениво, но все-таки плелись и другие телята.

Когда оставалось всего несколько шагов до распахнутых дверей конюшни, оттуда вышел вдруг Лбов Алексей — старший конюх. Вышел, поглядел на солнце, зевнул, рот прикрыл волосатой, в навозе рукой.

Телята шарахнулись в обе стороны от человека, один несмышленыш угодил в кадушку передними ногами, жалобно мыкнул. Только годовичок как шел, так опять же и ударился вперед, едва не сбив с ног Лбова Алексея, забежал в конюшню.

Лбов Алексей сказал:

— Здрасьте, товарищ новый председатель! Откудова же это телятушек понабежало? Шасть, подлые!

Белобрысый телок в кадушке мыкнул еще жалобнее, провалился ногами глубже. Не отвечая Лбову Алексею, Пыжиков прошел в конюшню, загнал годовичка в боковой тамбур, на двери навесил амбарный замок.

Лбов Алексей сказал:

— Это брата моего, бухгалтера вашего Лбова Тихона, скотина...

Два дня в контору доносились истошные вопли годовичка, два дня Лбов Тихон, бухгалтер, сидя за своим столом против председателя, был весел, смеялся, называл Пыжикова на «ты».

На третий день он сказал:

— Надо бы на правлении обсудить телка-то... Какое взыскание правление наложит, то и будет. По демократии...

Пыжиков заметил, что демократия телку ни к чему, есть закон: за потраву двести рублей штраф.

На третий день утром Лбов Тихон принес двести рублей и стал называть Пыжикова на «вы».

Уже на михайлов день братья Лбовы доели годовичка, но забыть его не могли никак: все беды шли от той гнедой скотины, казалось им, все напасти.

Надо было выдержать в свое время, не отдавать за потраву штраф, пусть бы тот телок околел в конюшне с голоду, пусть Петровка узнала бы, каков живодер председатель Пыжиков.

Трех телков не пожалели бы братья Лбовы, чтобы повторить все сначала, чтобы не насмехались над ними в Петровке, не напоминали при всяком случае о гнедом черноносом председателевом телке.

Однако история, как известно, не повторяется.

И молча гоняет теперь Лбов Тихон костяшки на счетах, а напротив него нет-нет, заскочив с поля, со скотных дворов, еще откуда-то усаживается Пыжиков. Усядется, вынет из кармана счетную линейку, двинет планку туда-сюда, поведет стеклышком, подумает, и не успеет Лбов Тихон сообразить, что к чему, как председатель говорит, сколько должен колхоз выручить за рыжик, сколько нужно заплатить МТС, во сколько обошлось на ферме одно куриное яйцо.

Придет кто-нибудь из колхозников, выскажется за посев могара:

— Вот так, председатель, я соображаю, а ты проверь, правильно ли? Потяни-ка!

Пыжиков за планку потянет, кинет:

— Соображаете правильно... Какие с вашей стороны будут еще предложения?

Молчит Лбов Тихон. Не вмешивается. Не успевает он положить все эти цифры на свои огромные счеты, которые еще отец его в тысяча девятьсот тридцать первом году, не продешевив, продал колхозу.

Считает Лбов на этих счетах, чтобы копейка сошлась с копейкой. А тысячи, десятки, сотни тысяч рублей тянет взад-вперед на своей карманной линейке Пыжиков.

Сидят они мирно, разговаривают спокойно, вежливо — черный, с лохматыми бровями, с красными подпалинами в небритой бороде Лбов Тихон и невысокого роста, остроглазый председатель Пыжиков.

И только уборщица, тетя Фенья, поглядит-поглядит на них и вздохнет про себя:

— Уж случилось бы что-нибудь...

И вот как раз в ту пору затеяли братья Лбовы блины.

* * *

Пыжиков вбежал в дом бледный, лица на нем нет. Сбросил тужурку, натянул торопливо шубу. Жена

подумала — срочно вызвали Пыжикова в район, неприятный разговор ждет его там, а было еще хуже.

Пыжиков крикнул:

— Нож! Нож, спрашиваю, где сапожный?

Жена метнулась от детской кроватки:

— Сашенька, что с тобой? Опомнись! Зачем нож?! Не знаю, где нож! Обо мне подумай, о детях!

А у Пыжикова нож уже в руках, поцарапал по лезвию ногтем — усмехнулся:

— Будут блины нынче у Лбовых! Будут блиночки со сметаной!

Сунул нож в пим на правой ноге и выскочил на улицу. Прохрипел осипшим на морозном воздухе голосом председательский «Москвич», крутнул по деревенским улицам вправо-влево и выскочил на большак.

На большаке Пыжиков и шофер Степан вышли из машины, внимательно стали разглядывать следы на утреннем скрипящем снежке.

Шофер сказал:

— Направо свернули... Значит, в город!

Молча кивнул Пыжиков — согласился с шофером.

Потрепанный ЗИС в это время и в самом деле подъезжал к городу, были уже видны запорошенные снегом с наветренной стороны фабричные трубы, темные, распахнутые настежь вагоны на железнодорожных тупиках. Там и здесь выбегали в степь окраинные городские улочки.

В кузове ЗИСа, подняв воротники тулупов и плотно заклинившись между мешками с зерном, сидели Лбов Тихон, Лбов Алексей, Лбов Игнат и еще пятеро — лбовские племяши и дядья. Разговаривали на морозе не бойко, но и молчать тоже не могли — распахивался воротник то одного, то другого тулупа, из бараньего меха высовывалось лицо то одного, то другого Лбова, реже кого-нибудь из племяшей и дядьев.

Лбов Тихон, закрыв нос рукавицей, выдыхал на мороз с густым паром:

— Бабы-то, солдатки-то, его теперь живым стерзают! Обстругают до костей, одни мослы останутся! Покажут ему авторитет! — Лбов Тихон хохотнул густо, басовито и быстро спрятался в воротник.

Высунулся Лбов Алексей, бывший старший конюх:

— Валерьянт что надо! На все сто двадцать! И за твой выговор, и за моих кобыл!

Лбов Игнат добавил:

— За телка!

Лбов Тихон повторил:

— За телка! — Потом качнулся в сторону Алексея, чтобы тот лучше слышал.— Вариант — надо говорить! Понял: ва-ри-ант!

Лбов Алексей остался при своем мнении:

— Валерьянт — точнее точного!

Лбов Игнат долго запасал под воротником тепло, наконец и он показался на воздух:

— Вчерась на скотном к нему старуха Спиридоновна: «Ксения, говорит, полухлебница наступает по старому численнику. Той, говорит, половине зимы, что с хлебом, конец приходит, наступит, говорит, бесхлебная половина. До выпаса, говорит, тоже одна голодная треть зимы скотине останется. Так по-старому-то было!» — Лбов Игнат снова запахнулся в тулуп, но Тихон помахал ему рукавицей — вылезай, мол, наружу, досказывай, при чем тут Ксения-полухлебница?

Не так скоро, но Лбов Игнат пояснил:

— От этого и пошел дальше их разговор: он-то ей, что, мол, пора отставку дать этой Ксении, отметить лучше праздник Советской Армии, а она говорит: «Неплохо бы блины в таком случае, все едино посты не блюдем». А он: «Очень, говорит, хорошо — сделаем». А она: «Лбовы, говорит, на помол ехать затеяли». А он: «Лбовы обождут». А она...

Тут Лбов Игнат зазнобил нос, снова спрятался в воротник; его толкнули, чтобы рассказывал все, как было, верно, уже в десятый раз, но все-таки рассказывал во всех подробностях. Лбов Игнат, шаркнув по носу рукавицей, продолжил:

— Она говорит: «Против Лбовых, говорит, не суйся... Сперва им, потом всем остатним». А он предлагает: ежели, мол, как раз наоборот?

— Она?

— «Не выйдет»,— говорит.

— А он?

— «Еще, говорит, как получится! Вот ты и поедешь в первую очередь на мельницу».

— А она?

— Сперва-то не поверила... Потом говорит: «Спробую».

Братья, племяши и дядья все разом распахнули воротники:

— Ну, вот и спробовали солдатки! А мы — едем!

— Пробники, значит!
— Подержали комолого бычка за рога!
На городской мельнице было нынче незавозно: с десяток машин, две или три подводы — и все. Мало нашлось охотников ехать в этакий мороз... Шофер ЗИСа Виталька, тоже из лбовских племяшей, воткнул машину в очередь, помог вылезти из кабины тетке — жене Лбова Тихона. Лбова Тихона жена, едва коснулась одной ногой земли, закричала, чтобы мужики в кузове поворотнее сгрузили ее кадушку с солеными помидорами, живее отнесли ту кадушку на базар, что тут же, рядом с мельницей, протянулся двумя деревянными навесами, да чтобы бегом сбегали за гирями и весами. У нее был свой расчет: мало помольщиков на мельнице, невелик и подвоз на базар.

Лбов Тихон пошел в парикмахерскую, наказав кликнуть его, если подойдет очередь на помол. Лбовы Игнат и Алексей похлопали рукавицами, поглядели на вывеску: «Буфет № 3 от столовой № 2», не сговариваясь, распахнули дверь под этой вывеской. Племяши и дядья отнесли на базар кадушку с солеными помидорами Лбова Тихона жены, затем потолкались у той же двери под синей вывеской, зашли.

Сказали:
— Здрасьте...
Лбовы Игнат и Алексей уже чувствовали себя здесь хозяевами, ответили:
— Не стесняйтесь... Проходите.
— За свои-то деньги да здороваться?
Племяши и дядья побросали тулупы и шапки на пол, заняли два столика, заказали по кружке пива. Перед Лбовым Алексеем уже стояли две, он сказал, чтобы ему подали еще светленькой двести граммов. С нее он и начал. Опрокинул стакан, похлопал себя по кадыку — все они, братья Лбовы, были кадыкастые.
— Порядок! Будто сам господь бог босиком прошелся в нутре раба своего Алексея Лбова — не побрезговал! — Дунул в пивную пену, в образовавшуюся скважину ткнул пальцем: — Гляньте-кось, ребята, блинок оттедова мигает! К чему бы это?
— К тому,— не растерялся кто-то из племяшей,— что ты, дядя Леша, сам блины будешь есть и нас позовешь!
Лбов Игнат посмотрел на бойкого племяша с укоризной... Лбов же Алексей стукнул кулаком по столу:

— Точно, племяш! Лбовы гуляют — и родня вся гуляй! Лбовы, они такие: ежели ты им хорошо, они для тебя того лучше! Вот так! У меня баба проворная, ежели к полудню управимся с помолом — к вечеру блины будут, что твое солнце! Баба у меня, ежели по совести, — цельный люкс!

Хвалил Лбов Алексей свою бабу и блины, блины и бабу — какие они жирные и жаркие. Покуда не было Лбова Тихона, хвастался, что его баба жирнее тихоновской, и только когда помянул Пыжикова, как-то сразу поснпел весь, в кадыке у него что-то булькнуло.

— Поперек жизни встал Пыжиков! Не выйдет!

Подхватили все:

— Не выйдет! Блины будут сегодня печь в Петровке Лбовы, гостей звать — Лбовы. Кто сильнее в Петровке — Лбовы или Пыжиков, каждый увидит, чей авторитет стоит выше, каждому будет ясно! Общее собрание будет — мало найдется охотников выступать против Лбовых! Скорее бы собрание! Дадут жизни на собрании Лбовы Пыжикову! Ходил под Лбовыми не один председатель, и этот походит! По-хо-дит!

Шумели еще, потом услышали — на улице хрипловато прогудел ЗИС.

Виталька накинул полушубок, вышел поглядеть, не зовет ли кто, может, и очередь на помол подошла уже, может, кто из своих сигналит радиатор разогреть?

Обошел машину, глянул туда-сюда — никого нет. И вдруг чья-то рука прочно зажала его руку повыше локтя.

Пыжиков! Он!

— Сядем-ка, Виталий, в кабину...

Сели в кабину. Опять так же тихо, спокойно Пыжиков приказал:

— Включай скорость!

Виталька провел пальцами по вспотевшему лбу, нажал на стартер, потом сказал:

— Ключ в тулупе остался... В буфете. Сию секунду.

— На тулупе карманов не бывает.

— Честное благородное... Сию секунду...

— Подожди. Не торопись...— Левой рукой Пыжиков придержал за локоть Витальку, правой вынул из пима нож, поскреб по лезвию ногтем, и видно было — остался доволен: нож острый, что бритва.

Виталька побледнел, икнул. Поглядел, как улыбнулся Пыжиков, икнул снова, и заметно громче.

— Посиди-ка здесь,— сказал Пыжиков, быстро выскочил из кабины, поставил нож на покрышку переднего левого колеса.— На всех шести скатах лапти твои полетят к черту. Ясно? Пока новые не пришлю — будешь загорать! Неделю на поправку здоровья гарантирую. По краткосрочному прогнозу, завтра сорок три — сорок пять градусов ниже нуля!

Прошло несколько секунд. Пыжиков приподнял руку с ножом — вот-вот ударит в покрышку.

Мотор тяжко вздохнул, заработал...

Пыжиков метнулся в кабину.

Машина рванулась с места, задний борт с грохотом распахнулся, мешки с метками «Л. Т.», «Л. И.», «Л. А.» начали торопливо один за другим выпрыгивать из кузова, падали на попа и навзничь, прижимаясь к мерзлой земле.

Первым выскочил из парикмахерской Лбов Тихон; держал он в руках тулуп, на шее у него болталась белоснежная салфетка, одна щека была в мыле. С бритвой в одной руке и с помазком в другой преследовал его тучный парикмахер. Лбов Тихон был поджарее, шаг у него был податливее, парикмахер заметно отставал. Но тут Лбов Тихон наткнулся на мешок с меткой «Л. Т.», закружил вокруг него и только успел взглянуть на Витальку, который в тот самый момент разворачивал машину влево, с площади в переулок.

Еще было видно, как распахнулись двери «Буфета № 3 от столовой № 2» и с порога взяли старт Лбов Игнат и Лбов Алексей, за ними — племяши и дядья.

В переулке стоял «Москвич», рядом с ним — шофер Степан. Пыжиков сказал Витальке:

— Придержи-ка!

Заскрипели тормоза ЗИСа. Виталька услышал, как Степан быстро закинул борт на место, как он хлопнул дверцей «Москвича» и загудел ему сзади: не задерживай, снова давай полный вперед!

Так они и ехали: ЗИС впереди, «Москвич»— по пятам. Чуть только сбавлял скорость Виталька, шустрый «Москвич» сигналил ему сзади простуженным голоском.

Отстал «Москвич» уже на проселке, который расчищали от снега петровские колхозники. Скосив на повороте глаз, Виталька увидел: Степан вышел из машины, разговаривает с людьми.

На следующем левом повороте Виталька снова ско-

сил глаз: Степана уже не было видно — со всех сторон его окружили люди с лопатами.

Однако перед гаражом «Москвич» настиг ЗИС. Пыжиков со Степаном молча и быстро спустили воду из машин, на двери гаража навесили замок, ключ положил в карман Пыжиков.

Когда уходили из гаража, Виталька слышал, как Степан спросил Пыжикова:

— А скажи, председатель, когда воевал на фронте — горячий был в бою?

Пыжиков на мгновение остановился, вспоминая, потом кивнул:

— То ли соображал, то ли чуял... Вот так — гляну из окопа, а там уже любой ориентир с закрытыми глазами найду. Услышал команду раз, помирать буду — повторю... Было так... Помню.

Витальку Пыжиков и Степан не замечали, будто его и вовсе нет на свете рядом с ними. Не ругали его, не корили, не смеялись над ним, и вот это было для парня всего обиднее.

Совсем уже затемно к Лбову Тихону пришли Лбовы: Алексей, Игнат, Прохор, Федор, Семен.

Говорили тихо, почти шепотом. В горницу не проходили, сидели на кухне вокруг стола, к поллитровкам и закускам, что были на этом столе, не притрагивались. Семенов баян лежал на лавке около дверей, поблескивая перламутром.

Вопрос обсуждался один: ситуация.

Лбов Игнат предлагал жаловаться на Пыжикова в район. За самоуправство. За издевательство над людьми. За превышение прав. За угрозу холодным оружием Витальке. За нанесение ущерба личному имуществу колхозников.

Лбов Тихон не поддержал предложения:

— Не наделать бы смеха на весь-то район! Смех придушить здесь, в Петровке, а вышел он за околицу — его не остановишь. Может, и так: самим над собой посмеяться... Я, к примеру, согласен,— вздохнул Лбов Тихон,— сам не видел, а вы рассказывайте, как парикмахер хлестал за мной с помазком...

Лбов Тихон хотел улыбнуться — не получилось.

Лбов Алексей, бывший старший конюх, спросил Тихона:

— Ты в деревню по проселку маршировал строевым либо вольно? Я покуда дошел, изгалялись люди больше некуда. И трудодни начисляли за лошадиную работу — мешок на своей горбушке волок, и на [illegible] набивались. Кому как — с меня хватит.

— Ну и дурак... — пожал плечами Лбов Тихон.— Мне никто ни слова. А почему? Очень просто. Мы с бабой-то и мешок и пустую кадушку закопали в березняк под снег, а сами задами, задами — и домой.

— Может, и так — не сподобились мы до твоего ума, Тихон, однако смеяться над собой, зарежь, — не будем!

Прохор с Игнатом подтвердили:

— Зарежь — не будем!

Порешили неделю-другую показываться на людях реже, держаться кучно и строго, каждый вечер собираться у Тихона либо у Игната и тушить в окнах свет — пусть каждый видит, что братья Лбовы замышляют что-то, к чему-то готовятся не шутейно.

Будут ждать-ждать — догадываться, что замышляют братья, тем временем блины эти забудутся. Самое главное — чтобы забылось до собрания, а там обязательно будет еще какой-либо случай — кто-нибудь в колхозе нарушит дисциплину или случится злоупотребление. На этот случай и навалятся братья Лбовы в ближайшее собрание, покажут себя с лучшей стороны. А потом... Потом Пыжиков, председатель, увидит, каковы они бывают, братья Лбовы, если кто бесповоротно пошел против них: все, что до сих пор было, было только цветочками!

Братья еще плотнее склонили друг к другу лохматые головы, начали размышлять, что за ягодки уготовят они председателю Пыжикову. Одна только Семенова голова приподнималась над ними. Скучно, что ли, было Семену — он позевывал, ухмылялся. Ухмылка была у него то безразличной, то ядовитой — принес он такую из заключения.

Вдруг дверь распахнулась, в дом вошла тетка Фенья, уборщица.

— Здорово, граждане мужики! А я думала, в избе нет никого — тихо-то как!

— Здорово! Чего тебе? — спросили братья Лбовы, раздвигаясь на лавках.

Фенья еще огляделась:

— Хозяйки-то нету, видать, дома?

— Нету хозяйки...— ответил Тихон.— Ушла.

— Далече?
— Да уж далече...
— Надолго ли?
— Видать, надолго... Чего тебе?

Тетка Фенья застенчиво улыбнулась, расстегнула телогрейку, повесила ее на крючок у дверей.

— Порядок... Значит, нету хозяйки...

— А тебе-то чего?

— Да вот и я говорю — нету, и слава богу. Без ее обойдемся, Тихонушка!

Лбов Тихон, все братья Лбовы поняли тетку Фенью: было время, бухгалтер задерживал ее при себе в конторе, надолго задерживал, покуда с воем и криком не прибегала под окна Тихонова жена. Но было это давно, запамятовалось, тетка Фенья с тех пор заметно постарела, морщины покрыли ее когда-то смешливое лицо. Главное же, стала она тише, молчаливее, и теперь от ее громких слов братья Лбовы поморщились, словно у них разом стрельнуло в ушах. Один только Семен заржал и громко шлепнул себя по коленке.

Между тем тетка Фенья сбросила еще и шаль, села на лавку, поболтала ногой:

— Холодно́ на улице-то — спасу нет. Зазнобила вот пальчик!

— Ну ладно! — поднялся Лбов Тихон.— Чего расселась-то? Кто тебя звал? Чего пришла?

— Вы, Тихон Тимофеевич, звали.

— В уме ты?

Тетка Фенья шагнула вперед, ткнула пальцем в лицо Тихона:

— Вы поглядите, братовья, до чего иродовый он, ваш-то Тихон? Звал, значит, прийти, а теперь корчит: не знаю, дескать, что и к чему!

Братья переглянулись. Семен снова хохотнул. Тихон рявкнул:

— Чего брехать-то! Цыть отсюда!

— А-а-а! Ом-манывать бедную женщину! Уговорит, а потом в кусты! Ирод-то против тебя чисто ангел небесный!

Покуда Лбов Тихон собирался крикнуть еще чего-то, тетка Фенья снова села на лавку, постукала ногами в подшитых пимах, внимательно свои пимы разглядела и повторила жалобно:

— Зазнобила пальчик!

Лбов Семен поднялся, подмигнул Тихону:

— Ну, дела-то делами, всех не переделаешь. Пойду домой! — И потянулся за шапкой на печь.

— Да уж ты извиняй-ка, Сема,— все еще с[illegible] [illegible]ами, сказала тетка Фенья.— Понятливый ты парень, Сема...

Тихон вырвал из рук Семена шапку.

— Сиди, говорю!.. Тоже ведь пойдешь по деревне зубы скалить! У-у, каторжник!

Семен помрачнел, разом стал на десять лет старше, положил руку с синей татуировкой на плечо Тихона:

— А ну, повтори, как сказал? Повтори, говорю!

Вскочил Игнат, встал между Тихоном и Семеном. Семен и его другой рукой взял за грудки, повторил вопрос:

— А ну, как сказал?! Говори, не бойся... Я не таких видывал!

Вскочили со своих мест Федор и Прохор. Затрещала чья-то рубаха, пуговицы стукнулись об пол и покатились одна к дверям, другая под стол. Повозившись, братья оттащили Семена в сторону, он, не торопясь, застегнул на себе ворот, сказал Тихону:

— Тявкаешь, а повторить боишься. Я ведь тоже скажу тебе, кто ты есть сам!

— Кормим тебя второй год... Понимать бы надо...

— И еще десять лет будешь кормить! Пока жив будешь... Не ты за меня — я за тебя срок отбывал!

— Забижают тебя, Сема! — вздохнула тетка Фенья.— Как есть забижают... Коли кормят они тебя, значит, есть за что. Все в Петровке говорят. Об чем разговор!

Тихон бросил Фенье:

— Твое ли тут дело? Зачем, подлая, пришла? Кто тебя звал? Когда?

— Сам подлый! — взвизгнула тетка Фенья. — Сам и звал! Тоже мне мужик! Притворяется хуже девки! Испугался, трясется, что овечий хвост! А ну, поскули по-овечьи-то — бэ-бэ-бэ! Сам звал! Сегодня утрось и звал-то!

— Рехнулась?!

— Мешок мой с пшеничкой-то сбрасывал с машины, а свой грузил, так говорил: «Приходи, тетка Фенья, вечером на блины! Угощу!» Говорил либо нет? То-то! — В наступившей тишине тетка Фенья громко потянула носом. — Ну ладно... Не прячь блины-то... Дух-то от их пшеничный, ядреный. Выбрасывай на стол! Не жалей, говорю, блинов-то!.. А пальчик-то я зазнобила...

Лбов Тихон тяжко вздохнул:

— Чего ты на меня свои глаза-то коровьи вылупила?

Тетка Фенья снова повела плечами:

— А какими же теперь на тебя и глазами-то глядеть, ежели не коровьими? Ты ить сам-то в точности как тот председателев телок, какого он в конюшне заарестовал. Чисто его, телкова, сноровка: моргнешь, потом, значит, вылупишься, моргнешь, обратно вылупишься! Ну что, не веришь? Побожиться? — Тетка Фенья еще ударила пим о пим, выпрямилась, повернулась в угол к иконам и уже замахнулась перекреститься, но вдруг остановилась: — А может, и нет надобности-то божиться? Может, так поверишь?

Лбов Тихон попятился, не оглядываясь, пошарил рукой по столу. Попалась вилка, он перебрал ее когтистыми пальцами, зажал рукоятку.

— Ну, гляди у меня...

Фенья побледнела.

— Кровопийца-а-а! Режь, коли, кровопийца! Это сколь же ты вдовьей крови выхлебал, и все одно тебе мало?! Тебе весь колхоз сладить из вдовых баб, ты бы уже разжился, бухалтёр, озолотился, проклятый, до небес! Тебе председатель все одно какой, лишь бы вдов бессловесных поболе, и жизнь тебе будет — чисто малина?! У-у-у, хад!

Потом вздохнула и еще сказала:

— И зарезалась бы на вилке твоей. Попытала бы еще раз — может, ныне и не прошло бы тебе даром. Попытала бы... Но ребятёшки. Ребятёшек жалко, не себя! — Крикнула вдруг громко и пронзительно: — Девоньки! Девоньки, да иде же вы? Входите чё ли — хозяева принимають!

Из темных сеней, щурясь на свет, вошли «девоньки» — бабка Семениха, вся в морщинах, но подвижная и бойкая, и нерасторопная тетка Спиридониха, та самая, что объяснила председателю насчет ксениева дня — Ксении-полухлебницы.

Бабка Семениха еще с порога радостно всплеснула руками:

— Здорово, значит, живете, мужики! А мы к вам! По обчественному по делу! Ты им не сказывала, Фенья, про дело-то?

— Нет, не сказывала покамест... Мы тут амуры с Тихоном-то разыгрывали, да Сема вот помешал. Держит

брата — не пускает. Бережет брата, не дает ему рядком со мной на скамейку притулиться!

Тетка Спиридониха сокрушенно покачала головой, повздыхала, потом уже вымолвила:

— Младший брат — и над старшим строжится! Да ты как терпишь-то, Тихон?

Тихон промолчал, за него ответила тетка Фенья:

— И не спрашивай, Спиридоновна! У Тихона Тимофеевича и так чашка терпения чуть что не лопнула... Вы там, в сенках-то, поди, слыхали, какой тут в избе шум у их поднялся!

— Известно, — сказала бабка Семенихина. — У Лбовых-братовьев кровь не стареет, кровь в их, можно так сказать, что все в одну игру играет! Значит, братовья в полном сборе! И здоровые? Больных-то нет ли?

— Что ты, старая, мелешь языком? Ну, нет больных, тебе-то что? — спросил от стола Лбов Федор.

— А с этого нам председатель Пыжиков и велел начать — узнайте, мол, бабоньки, все ли они в сборе у Лбова Тихона в дому! Нет ли кого среди их больных!

— Зачем ему? По какому случаю?

— По случаю общего собрания! — ответила тетка Фенья официально. — Наказывал вам прийти в точности, раз здоровые... Блюсти всем порядок, поскольку у вас тут два члена правления! Ну, засиделись мы у вас! Пошли, девоньки!

Тетка Фенья усмехнулась, усмехнулась так, как, бывало, давно-давно, еще девчонкой, вспомнил Лбов Тихон, могла усмехаться она одна: озорно, лукаво.

Женщины вышли. Подхватив за ремень баян, ушел и Семен.

Остальные Лбовы еще долго и неподвижно стояли кучей, слушали, как тетка Фенья и бабка Семенихина громко стучат в ставни соседнего дома:

— На собрание! Всем на собрание! Вопрос разбирать!

Долго еще стояли Лбовы молча и кучно.

КОРОВИЙ ВЕК
Рассказ

Продолжительность жизни крупного рогатого скота около двадцати лет.

Большая Советская Энциклопедия

Было тепло... Тепло было коже, и кожа впадала в спокойствие, ей не надо было скрывать и беречь все то, что было под нею, ни от холода, ни от жары, ни от ветра, ни от чего, и она сначала расслабилась, переставая замечать самое себя, лениво пропуская сквозь себя два почти одинаковых тепла: одно шло от солнца внутрь коровы, другое — изнутри коровы к солнцу.

Потом, окончательно расслабившись, кожа и гладкая, короткая, густая шерсть на ней начали существовать как бы только ради самих себя: для собственного удовольствия, вспоминая что-то далекое и необыкновенно приятное.

Было так устойчиво и надежно тепло, что кожа совсем не слушала, с какой стороны и откуда может приблизиться холод, невозможно было об этом догадаться, а раз невозможно, значит, и не нужно.

Было светло...

Присутствие света ощущалось в густых тенях, которые бросали на землю деревья и камни, оно было явственным при закрытых глазах, потому что свет просачивался даже через костную полость, между глазами и языком коровы, свет просачивался на язык, слегка щекотал его, и от этого корове снова хотелось пить, хотя она совсем недавно ходила к реке и, погрузившись по брюхо в воду, долго и неторопливо пила, посматривая то в реку, то в небо. Свет всегда подталкивал корову к воде, и только по ночам, когда его не было совсем, она надолго забывала о том, что должна пить.

И корова сейчас, наверное, встала бы и напилась, если бы вода была рядом и ее было бы немного, она поторопилась бы ее с жадностью выпить, но воды было много, и она бежала ручьем в ту сторону, где ее будет еще больше. Вода всегда бежит туда, где ее много.

Было сытно...

Был тот редкий случай в жизни коровы, когда сытость не нарушалась ничем, даже тревогой о том, что она исчезнет, что она вот сейчас может вдруг кончиться.

Голодность и необходимость насыщаться покидали корову редко, но и тогда они не уходили куда-то вне, далеко, а ненадолго прятались в ней же, корове, готовые каждую минуту распространиться по всему ее телу и двигать им в направлении корма, двигать быстро и решительно, если надо — отталкивать тела других коров и бодать их, если надо — ломиться к корму сквозь изгороди, перепрыгивать через канавы, переплывать к нему через реки, проходить через болота.

Сегодня было так, как бывало очень редко, но эта редкостность ничуть не смущала корову, не могла удивить ее, не могла и вызвать ту радость, в которую она все еще время от времени впадала, оборачиваясь перед самою собою молодой, легкой, игривой, бестолковой нетелью, а то и телочкой. Эта редкостность ничуть не удивляла корову.

Нынешнее тяжелое, гулкое изнутри, переполненное сердцем, кровеносными сосудами, органами пищеварения, деторождения и молочными железами тело коровы более всего было приспособлено именно к этой исключительности, к ощущению полной сытости, именно такого ощущения этому телу почти никогда не хватало, чтобы быть самим собой.

Теперь телу ничто не мешало быть самим собой, и оно забывало, что такое холод, голод, жажда, страх, боль; мышцы его наполнялись неподвижностью, оно забывало, что может бегать, бодаться, плавать, увертываться от ударов кнута, который всегда находился при пастухе Василии, и, если бы вдруг в какой-то момент возникла необходимость куда-то и от кого-то бежать, корове потребовалась бы секунда, может быть, две, для того, чтобы ее тело вспомнило о своей способности к бегу.

Корова все больше погружалась в свое тело, чутко слушая пищеварение, кровообращение и все, что происходило в его глубине.

Она слушала все это так же чутко, строго и восторженно, как музыкант наедине с самим собою слушает собственную музыку, она слушала себя еще и еще, предчувствуя какой-то дальнейший, почти невероятный полет подступавших к ней ощущений.

Организм производил все, что было жизнью коровы, а вместе с этим корова погружалась в одиночество, в котором только и возможно общение с жизнью, с ее вечным течением, почти что в творческое одиночество, подобное тому, в котором философ производит мысли, а музыкант — музыку...

Глаза ее излучали неопределенно-синеватый свет глубины — глубины неба, земли, воды и глубины ее собственного дыхания.

Лежа на брюхе, гулко дыша, подогнув под себя передние и задние ноги и подняв голову, она сосредоточенно вглядывалась вдаль, как будто и там, вдали, тоже происходила ее жизнь, ее пищеварение, как будто этот взгляд помогал ей безошибочно угадывать миг, когда ее дыхание сходилось с ритмом пищеварения, а тогда она задерживала вдох...

В глубине тела, в области входа в желудок тотчас понижалось давление, а это, в свою очередь, вызывало антиперистальтику пищевода, и очередной комочек пищи отрыгивался коровой из желудка, из желудочных рубца и сетки, обратно в рот.

Каждый комок пронизывал ее своим движением снизу по наклонной вверх, опять-таки примерно так же, как звук пронизывает существо музыканта, и уже во время этого движения она угадывала будущий вкус комка, еще не очевидный, но уже требующий очевидности, угадывала его плотность и округлость его форм. Она приготавливалась к пережевыванию этого еще не совсем узнанного и не совсем понятного, в какой-то мере даже таинственного вещества, укладывая его то на одну, то на другую сторону рта, так как зубы у нее в разных местах были стерты неодинаково и обладали различной способностью измельчения и растирания пищи, кроме того, часть зубов почти всегда была еще занята окончательной обработкой предыдущего комка, и поэтому их не следовало перегружать.

Обычно ее догадки, ее краткосрочный прогноз оправдывались и в отношении вкуса, и в отношении плотности поступающего снизу вверх пищевого комка, тем

более что комки все были из одного приема одной и той же пищи и не очень отличались друг от друга.

Однако все-таки отличались: травы, которые она недавно сорвала на лугу, торопливо разжевала и отправила в рубец, были разными, разных видов, разной спелости, с разным соотношением между стеблем и листьями, и корова пережевывала их в первый раз тоже с разной тщательностью, в рубце и сетке они по-разному пропитались слюной — одни больше, другие меньше, и вот теперь угадывание особенностей каждого пищевого комочка было для коровы работой, наслаждением, мастерством, искусством.

Для того чтобы погрузиться в это искусство, ей нужен был покой, сочная трава и солнечное тепло, и, когда все это было, она начинала искать приятное в самой себе, твердо зная, что оно есть в ней, что оно в ней происходит и двигается.

Теми движениями, которыми она проглатывала пищу, направляя ее в рубец и сетку, а потом отрыгивала обратно в рот, она руководила полностью, она могла их возбудить и могла прекратить их, но, когда окончательно измельченную на зубах пищу, смешанную со слюной, полужидкую, она проглатывала снова, направляя ее в третий отдел своего желудка — в сычуг, она уже теряла над нею руководство, и это дальнейшее движение пищи выходило из ее повиновения.

Однако слушать ее, эту уже не управляемую пищу, корова все равно продолжала. Вернее, она слушала не ее, а себя — какое она сама испытывает состояние в зависимости от дальнейшего состояния ее пищи?

Она слушала, как сливаются в ней подчиненные и не подчиненные ей движения, а то были движения не только пищи, но и сердца, и крови, и молока, и вот она слушала их.

Корова ощущала, что даже тем движениям сердца, крови, молока, которыми она никогда не могла управлять и руководить и которые поэтому совершались сами по себе, независимо от ее желания, начало все равно дала она, она сама, и сделала это в то время, когда рвала и пережевывала пищу.

Не будь пищи, не будь ее упорной, тяжелой и вдохновенной работы над пищей, все потеряло бы этот великий ритм, а потом и совсем все замерло бы в ней — и сердце, и кровь, и молоко.

Теперь же, слушая все эти движения в самой себе,

бесперебойные и ритмические, уверенные в своей необходимости и в своей ритмике, корова любовалась ими, лелеяла их, испытывая полное удовлетворение от своей работы над пищей, испытывая подобие гордости и чувства своего превосходства над окружающим ее миром, который едва ли достигал такой же гармонии и целесообразности всех своих движений.

Может быть, именно потому, что корова не очень-то много, быстро и ловко умела двигать себя по земле, по земному пространству, ее внимание было почти всегда сосредоточено на том движении, которое происходило в ней самой, для которого она сама была пространством.

Когда однажды в засушливый год, уже давно, корову перегоняли далеко на северные пастбища и она шла сотни километров разными дорогами, сначала туда, а потом оттуда, сначала летом, а потом глубокой осенью,— ей было очень трудно идти каждый день с утра и до вечера, работать и работать мышцами ног, и в этом непосильном труде она почти разучилась слушать свои внутренние движения, ощущать через них себя. Они как будто совсем потухли в ней.

Но потом, на покое, на скотном дворе, она снова научилась этому искусству и теперь владела им в совершенстве и даже научилась бояться потерять его когда-нибудь снова.

Когда поутру корова, подоенная и проголодавшаяся, становилась пустой, пустота требовательно и голодно звенела в ней разными и резкими голосами, шея и голова, казалось ей, становились тяжелее, потому что легкими были брюхо и вымя, шея и голова быстро толкали ее вперед — на передние ноги приходился тогда относительно больший груз, корова волновалась, будто для нее вот-вот кончится жизнь, она протяжно мычала, предупреждая пастбища о том, что скоро будет к ним.

За день она, успокаиваясь, наполняясь кормом, питьем и молоком, все отчетливее ощущала свой вес задними ногами — центр тяжести того тела, которым была корова, перемещался в течение суток, приближаясь то к сердцу, то к вымени, и это тоже, это опять-таки было ощущением непрерывного движения, происходящего внутри ее.

Оно было не одиноким, это движение.

Далеко по небу двигалось солнце с облаками, вблизи и по камням двигалась вода, около воды двигался пастух Василий с кнутом, корова тоже могла двигать

свое тело по земле, и для других существ, для человека например, на этих двух видах движения оно и заканчивалось: в пространстве двигались другие тела, двигалось и собственное тело.

Но для коровы движение вне ее только начиналось, слабо и невнятно, заканчивалось же оно в ней самой, в пространстве, которым была она, которое неизменно надо было оберегать и тоже неизменно слушать его.

Она — слушала.

Корове нужно было бы сию минуту встать, пойти и пощипать траву, а потом еще пойти напиться, но сытость ее была больше, чем эта необходимость, и корова не встала.

* * *

Она не встала не потому, что была нынче ленива, а потому, что чувствовала требование своего организма — не вставать.

Она опустила голову, уложив ее сбоку от себя, слева, как бы по-птичьи желая скрыть ее от всего окружающего под крылом и забыться окончательно, окончательно уйти в свой слух.

Крыльев у коровы не было, и она могла только теснее прижимать шею и голову к туловищу, могла быть ближе к собственному сердцу и явственнее слышать непрерывную и могучую работу, полет, который совершало ее сердце на своем месте.

Складки ее шеи — того удивительного цвета, который был составлен из красной, желтой, бордовой, коричневой, лиловой, бежевой и еще какой-то неизвестной краски — свободно лежали на земле, немного выступая из-под нее в сторону, так, что казалось, будто корова сперва бросила под голову эту блестящую, мягкую и очень дорогую ткань, а потом уже легла на нее.

Внутри этих складок, которые очень украшало солнце, была заключена плоть, по каким-то неуловимым признакам это можно было увидеть и снаружи, хотя бы по тому, как эти складки принимали на себя солнце... Только к живой ткани солнце могло ласкаться так, как оно к ней ласкалось: бесконечно удивляясь тому, что оно само создало.

Подстелив себя под себя, лежа тихо, корова предалась собственному приближению к чему-то, что само по себе тоже двигалось ей навстречу.

Сначала она по-прежнему слушала свое сердце, мощные токи своей крови и набухание своего вымени.

Но потому, что и то, и другое, и третье были так упорны, так настойчивы и сильны, они не могли происходить только из-за своей собственной пользы и цели, должно было существовать что-то еще, из-за чего так гудела в корове ее кровь и так набухало ее вымя.

Красная, обильная и горячая коровья кровь все время текла в вымя, из вымени возвращалась в сердце, из сердца — опять в вымя, и в этом бесконечном круговороте красная кровь — каждые пятьсот ее литров — оставляла в вымени один литр крови белой, а белая кровь — молоко — уже переставала принадлежать самой корове, ее жизни и ее собственному движению.

Белая кровь не могла снова вступить в груговорот, она уже была отчуждена от него, была неподвижна и тяжко накапливалась в вымени, во всей его глубине, по всей почти двухметровой его окружности.

Белая кровь не могла снова вступить в круговорот, чтобы обрести новое жизненное движение в других телах, и томительное ожидание этого акта все сильнее охватывало корову.

В конце концов, в какой-то перспективе корова должна была расщепиться, из ее одной жизни должно было возникнуть две, а тогда-то в ту, другую, жизнь и перельется белая коровья кровь.

Ощущение этого расщепления было будущим коровы, единственно доступным для нее будущим, другого она не знала, а без него, без этого доступного ей будущего, переставала быть коровой, превращалась во что-то другое — незнакомое и ненужное.

Она боялась этого превращения, это был самый большой ее страх.

Она ничего не знала ни о начале, ни о конце своей жизни, не имела понятия ни о своем прошлом — о рождении, ни о своем будущем — о смерти, она только подозревала, что когда-нибудь может потерять себя, превратиться из коровы в некорову, из себя — в несебя, и всю жизнь старалась, чтобы этого не произошло. Для этого она и жила.

А чтобы еще убедиться в самой себе, во всех тех движениях, которые происходили в ней, она воображала апогей этих движений, их высшую кульминацию — воображала родовые боли и то расщепление, которое они вызывают.

Тем более она могла их вообразить, что они всегда были при ней, даже если и не были слышны. Она могла

вызвать их в себе всегда, почти полностью могла воссоздать свою родовую жизнь.

Каждое доение было для нее началом этой родовой жизни, пусть самым началом, но все-таки им, потому что все то движение, которым она была переполнена изнутри — движение сердца, легких, крови, молока, пищи,— обретало свою цель, должно было чем-то завершиться.

В свое время, когда корова была не домашним, а диким животным, она за два месяца выкармливала своего теленка молоком, но человек отбросил ее назад в биологию гораздо более отдаленную, чем та, которой она уже достигла в результате очень длительной эволюции, человек так использовал ее инстинкт материнства, что теперь только два месяца она находилась в запуске, то есть не доилась, а в один месяц она производила теперь столько же молока, сколько весила сама, и вот родовая жизнь мнилась ей ежедневно.

Родовая жизнь — это были не только боли, но еще и совсем другое состояние, в котором она, полностью оставаясь самою собой, отвлекалась от себя, от себя отдыхала, переставала слушать себя вот так же внимательно, потому что ей казалось, будто теленок высасывает из нее не только белую, но и красную кровь, высасывает все ее внутренние движения и даже то пространство, в котором эти движения происходят.

В этом состоянии, когда корова была отвлечена от самой себя, а целиком привлечена к своему теленку, весь окружающий мир становился отчетливым и понятным ей, потому что сокращался до размеров ее теленка и был заключен только в нем.

Все, что оставалось вокруг теленка — небо, люди, стены коровника, корм, питье и она сама,— все это существовало, поскольку было или необходимо для теленка, или вредно для него. Рядом с теленком корова знала о мире все: каков он и для чего он, кто в нем враг, а кто — друг.

Все, что было хорошего или плохого вокруг нее, становилось еще лучше и еще хуже, когда около нее начинал расти теленок.

Голод — это всегда было плохо, но он был совершенно невыносим в это время; тепло — было хорошим, но становилось еще лучше и еще необходимее, если рядом был теленок.

Позже, когда теленок вырастал, мудрость ее родо-

вой жизни сглаживалась, становилась не такой отчетливой и не такой уверенной в себе, в мире снова возникали утерянные было предметы, внимание коровы рассредоточивалось на них, то и дело она должна была проходить мимо камней, изгородей, ручьев, людей, червяков и ветров, не зная — хороши они или плохи. И, не зная о них ничего, она отворачивала голову в сторону, пропускала их сквозь свое зрение, не оставляя в себе никакого следа от них; она скорее уставала, потому что больше обращала внимания на себя и легче, с охотой, шла за пастухом Василием.

Стоило только Василию посмотреть на нее, и она уже знала, в какую сторону должна идти — в сторону травы, воды, стада или дома.

Но и тогда она все равно несла в себе скрытую до поры мудрость и определенность родовой жизни.

По мере того как из года в год корова приносила телочек и бычков, становился все более зрелым опыт ее жизни, а всякий раз, расставаясь с не настоящими, а только с воображаемыми родовыми болями, она испытывала чувство потери: потери себя, потери своего теленка, который должен был оказаться рядом с нею, но которого не было, может быть, потому, что она не сумела довести эти боли до той значительности и до того предела, за которым теленок являлся обязательно.

Корова с тоской оглядывалась вокруг себя и на себя, ей нужно было что-нибудь теплое около, ей хотелось облизать что-нибудь живое, чтобы начавшееся, но так и не достигшее ничего ощущение родовой жизни окончательно рассеялось, а вернулось бы нынешнее ее существование. С недоумением она облизывала себя, свое вымя.

Она ведь все еще была готова к тому, чтобы чувствовать только боли и больше ничего на свете... Она в своей собственной, изнывающей от боли протяженности — вот и весь мир, в который она приготавливалась уйти и который ее не принял к себе, совершив над нею какое-то насилие.

Не сразу она была способна отрешиться от этой готовности и принять это насилие.

Сладостность болей покидала ее медленно, она возвращалась в свое действительное существование с тоской сильного, но не исполненного желания, испытывая усталость, но напрасную, и все это она заглушала, возбуждая в себе чувство голода.

Быстро и жадно она принималась рвать траву или хватать сено, пить воду, она становилась подвижнее, заглушая в себе то, другое, самое главное, но ушедшее вглубь и не состоявшееся до конца движение.

Так с нею бывало почти всегда, но не всегда.

Случалось, что ощущения родовой жизни проходили, и она все равно не возвращалась к себе настоящей, к миру, который ее окружал и проявлялся вокруг нее. Так тоже бывало.

* * *

Теперь корова лежала, вытянув шею, и, если бы шея не была у нее такой большой, она бы походила на черепаху, вдруг сбросившую панцирь и всю себя удивленно подставившую солнцу.

Она дышала мерно и почти не жевала, только иногда глоток скользил по пищеводу, быстро замирая, потому что он был один.

Корова распространяла вокруг теплый пеленочный запах, как будто она сама, огромная и тяжелая, только что была распелената природой для жизни и вот теперь обдумывала — зачем это с ней сделано?

Повсюду кругом коровы происходил мир: текли облака, солнечный свет, река, все было в движении от чего-то к чему-то, и птицы двигались в высоте, а по земле — ящерицы и совсем крохотные букашки. Негромко шумели в горах леса. Люди, то один, то другой, и каждый обязательно на свой собственный лад, подавали свои голоса и еще вызывали множество других звуков из деревни, из железа, из камней, изо всего, что было вокруг них, что они передвигали, дробили, пилили, скребли, выкапывали и выплескивали в своей деревне и на ближнем поле.

Мир происходил повсюду и во всем, но корова все меньше и меньше замечала его, каким он был сейчас, потому что ее слух и даже зрение, ее осязание и обоняние снова и все теснее смыкались только с тем пространством, которым была она сама.

Она снова и снова себя ощущала, и туманный взгляд ее тоже был обращен в глубину себя. А если вдаль — и там он искал движение, подтверждающее все то, что происходило в ней самой.

Но не было отчуждения коровы от окружающего мира, может быть, даже все, что происходило с ней, было ее причастностью к нему, огромному, в котором коро-

ва если и существовала — со своим сердцем, со своей пищеварительной системой, со своею только что пережитой родовой жизнью, — так существовала крохотной клеточкой, равной тем клеткам-букашкам, которые ползали вокруг нее по земле и с удовольствием нежились на теплой изнутри и снаружи ковровой шкуре коровы.

Но в то время как все эти букашки чего-то обязательно хотели и желали, зачем-то и куда-то ползли, корова сейчас не хотела уже ничего.

С утра, спустя некоторое время после того, как стадо вышло на луга, ей несколько раз мнилось, будто она — все еще телочка. Ощущение легкости ее прошлого, того времени, когда у нее почти не было вымени и совсем не было молока, теперь смущало ее, ощущение было странным, чужим, она вздрагивала от него всей кожей, поводила рогатой головой, оглядываясь на себя и справа и слева, и, покуда солнце поднималось все выше, она приводила себя к себе — настоящей, тяжелой от плоти и от ощущения необходимости этой тяжести.

Потом она пережила родовые ощущения и желание, чтобы около нее был теплый, слабый, яростно пахнущий ею самою, ее собственным нутром теленок. Это была ее мечта, ее единственное будущее, которое она в состоянии была себе представить.

Пережив это будущее, корова освободилась и от нее, от этой мечты.

А когда у нее не стало даже такого прошлого и даже такого будущего, не стало никаких желаний, жизнь, освобожденная от желаний, до конца заполнила все то пространство, которым она была.

Настоящая жизнь, сегодняшняя. Происходящая в ней при сегодняшнем солнце.

И таким образом корова погрузилась в состояние бесконечности Ведь настоящее без прошлого и без будущего — это бесконечность?

Корова не знала, что она не вечна, и не делила время и собственную жизнь на прошлое и настоящее.

Она жила сейчас во Времени как таковом, для которого нет ничего, кроме него самого, она погрузилась в него — вечное и неизменное.

Все прошлое, все будущее, все другое, все не это, не то, что происходит сейчас, — и всегда-то было для нее только намеком, легкой тенью, но теперь исчезли и эти намеки и тени, она не хотела ни подняться на ноги, ни вытянуться еще больше по земле, не хотела ни есть, ни

пить и не подозревала о том, что когда-нибудь в будущем захочет есть и пить, что когда-нибудь у нее появятся какие-нибудь желания.

Не имело значения, сколько времени продлится для нее это состояние — несколько минут или несколько веков,— бесконечность не знает счета времени.

Корова не ощущала ничего, зато она ощущала все.

Все, что было с коровой когда-то в прошлом — рождение ею телочек и бычков и память о собственном рождении, которую немного, а все-таки сохранила ее кожа; ужас, который она пережила однажды, когда горел скотный двор, и ощущение прохладной речной воды, в которой она любила стоять по брюхо во время солнечных полдней; прикосновение губ теленка к ее вымени и прикосновение ее губ к вымени матери; вкус разных трав, и голод, и тяжесть быка на ее спине, и страшный запах только что освежеванной шкуры, в которой она узнала свою давнюю соседку и славную подругу по скотному двору, комолую Красавку, и свобода, которую она пережила когда-то, убежав от стада далеко в горы, а потом — страх этой свободы, и сны, и какое-то зло, принятое от полузабытого теперь пастуха незадолго до того, как она принесла своего второго теленка, и ту ни с чем не сравнимую ласку, с которой долгое-долгое время ее доила доярка Нина Матвеевна Митрошникова, пока не исчезла, тоже надолго, навсегда, из скотного двора,— все это вспомнила сейчас ее кожа, вспомнили ее внутренности, и, наконец, слабо вспомнил ее мозг, вся она вспомнила это, но — все сразу, ничто не расчленяя на первое, второе, третье и тысячное, на хорошо и на плохо, на так и не так, на давно и недавно.

Все это было для нее сейчас, было текущим временем, ее состоянием.

Для нее стало невозможным обратить сейчас внимание на что-нибудь одно, что-нибудь одно желать, что-нибудь одно вспомнить, что-нибудь одно увидеть, услышать, осязать или обонять, потому что все ее чувства не существовали больше раздельно, а тоже только все сразу. Их больше не было, потому что они были все вместе, слившись во всеобщее чувствование жизни. Ни одно из них не забегало вперед других, и поэтому ничто конкретное из существующего сию минуту вокруг коровы не воспринималось ею и не вызывало у нее какого-нибудь желания. И ничто из ее памяти о прошлом не могло вызвать обособленной и самостоятельной ре-

лиши только одних каких-нибудь ее нервов — осязательных или тех, которые воспринимают вкус, — все равно. Она снова и снова воспринимала сразу все и сразу всем, всею собою.

Она видела звуки и слышала краски, а за всем этим ощущала жизнь — и свою, и вообще всю, это стало одним и тем же для нее.

Все это было бесконечностью, но только не понятием бесконечности, которым обладают люди и которое они нередко обозначают знаком, это было состоянием коровы, когда терялась конкретность существования, его истоки, происхождение, его желания. Она ничего не знала о своем прошлом, ничего о своем будущем, зная только настоящее. Но так оно и есть: настоящее без прошлого и будущего — это бесконечность.

Только изредка ей удавалась в такое состояние погрузиться, но ей всегда хотелось его, она всегда к нему стремилась.

* * *

Пастух Василий, проходя на своих заметно вывернутых внутрь пятками кривоватых ногах, хлестнул корову кнутом по брюху.

Он хорошо относился к этой корове и потому позаботился, чтобы она встала и еще пощипала травы, а в вечернюю, самую главную дойку дала бы молока побольше других коров, как это она делала обычно.

Пастух Василий перед тем самым вздремнул немного, спрятав в тень лицо, которое уже давно не нуждалось в подобной заботе, потому что разучилось бояться яркого солнечного света — лицо у него было бурым, с бесцветными густыми бровями и с бесцветной же редкой бородкой.

Во сне Василий обычно тоже что-нибудь вспоминал или желал — в этот раз он желал спать не на земле, а на прохладной печи с пуховой подушкой в изголовье.

И, проснувшись, Василий стал думать — что он должен пожелать? Догадался: чтобы хозяйки всех коров были довольны его пастушьей работой. Он встал и коров тоже стал поднимать на ноги, стадо без его присмотра перестало рвать траву и лежало неподвижно.

Спустя несколько секунд корова с жадностью набросилась на траву и уже ничего не знала о том состоянии, в котором она только что была.

Другие коровы требовательно мычали, они были не-

реполнены молоком и хотели домой, хотели доиться, и чужое мычание тревожило корову, она поднимала свою большую рогатую голову вверх, чтобы замычать тоже, но всякий раз молча опускала ее к траве.

Все еще было по-дневному тепло, солнце, опустившись с неба, начинало сгонять мошек из своего края земли на тот луг, где паслось стадо; река потемнела, над нею начали движение неугомонные пичужки, играя с солнечными пятнами, вспыхивающими в воде; лес в горах замолк, приготавливаясь ждать утра следующего дня, и только люди из своей деревни наполняли окрестности еще более беспокойным шумом, чем они это делали в течение всего дня.

Домой корова шла чуть впереди стада и правой обочиной дороги, так она привыкла ходить каждый день каждого лета.

В ее вымени было немного пустоты, которую она чувствовала всем телом, потому что в такие часы, на закате, когда она шла домой впереди стада правой обочиной дороги, шумно вдыхая пыльный воздух, а большое, близкое солнце светило ей чуть сзади и тоже справа, когда в мире, который она видела и который как бы сама все время несла перед собой, начинал уже появляться деревянный мост, а за мостом — избы и сараи, а за избами и сараями — бревенчатые стены усадьбы и кирпичные — скотных дворов, в эти часы и в этом движении тело коровы привыкло быть переполненным молоком.

Корова не знала, как это случилось, что в вымени ее оказалась пустота, когда это случилось с ней — сегодня или, может быть, еще вчера?

Или совсем давно?

Она не знала, сколько она прожила, за сегодняшний день — мгновения или целую вечность? Или весь свой коровий век?

Ведь бесконечность никому не дано запомнить...

* * *

Корова жила почти девятнадцать лет — с января тысяча девятьсот тридцать девятого по ноябрь тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года.

В ноябре тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года она была уже старой коровой, не приносила больше телят, мало давала молока, ее стало трудно доить, потому что вымя у нее затвердело, и она была зачислена в план мясопоставок текущего квартала.

КРАСНЫЙ КЛЕВЕР

Рассказ инструктора райкома

Второго октября пленум райкома освободил от обязанностей первого секретаря Петра Федоровича Савостина в связи с его переходом на работу в обком, но на другой день, в понедельник, Петр Федорович пришел в свой кабинет, как всегда, к девяти.

Через часок весь аппарат собрался у Савостина, появился кое-кто из районных работников, и новый секретарь тоже был здесь. Перелистывал какое-то «дело» в зеленых корочках и часто поднимал голову, чтобы посмотреть на присутствующих.

Получилось что-то вроде райпартактива, хотя никто и не собирал людей.

Савостин подозвал случившегося здесь Кубрина, председателя колхоза «Маяк», и тихо, но внушительно говорил о чем-то с ним, должно быть, журил на прощанье, потому что грозил пальцем, правда, не совсем Кубрину, а немножко в сторону. Кубрин торопливо и согласно кивал, морщился, видно хотел крепко запомнить все, что говорил ему Петр Федорович.

Другие тоже разговаривали между собой вполголоса, просто так, чтобы не сидеть молча, на самом же деле внимательно смотрели то на старого, то на нового секретаря. С одним прощались, с другим знакомились.

Петр Федорович был человеком крупным, внушительным, с крупными же чертами лица. Лоб, голубые глаза, слегка розовый нос, яркие губы и чуть синеватый подбородок были у него округлыми, выпуклыми и креп-

кими, на коже не заметно ни единой складки и морщинки, хотя ему уже под пятьдесят. Только между шеей и подбородком намечается первая складочка. Голос у Савостина тоже солидный — раскатистый, а когда рассердится — с этаким внутренним гулом. Савостинскому голосу завидовал наш райвоенком, высокий и худой подполковник со странной фамилией Чиж.

— Тебе бы, Петр Федорович,— говорил обычно Чиж,— парадами командовать. Если уж не на Красной площади, так по крайней мере где-нибудь в крупном военном округе!

Фигура Петра Федоровича и этот его голос уже внушали к нему уважение, а он еще умел вселять в людей уверенность. На самом деле, за все семь лет, которые он проработал первым, наш район почти никогда не ходил в отстающих.

Умел Савостин ладить и с областным руководством. Приходили и уходили начальники областного управления сельского хозяйства, сменялись секретари обкома, а наш Савостин перед каждым мог постоять за район, быстро умел схватывать стиль вышестоящего руководства.

Был одно время секретарем обкома товарищ Кашин — суровый, но справедливый человек, который терпеть не мог расхлябанности, пьянства, вообще всяких таких дел. Сколько при нем было наложено взысканий — не счесть! И еще в области не знали об этой черте Кашина, а Савостин уже наводил по району в этом вопросе порядок. Я, помню, только удивлялся: откуда что взялось? Откуда пошли строгости?

Кашина перебросили в одну из южных областей. Пришел на его место Гусев. Это был работник неиссякаемой энергии, но вспыльчивый и грубоватый. Он сам о себе говорил, что иногда проводит бюро обкома «слишком нервозно». И наш Петр Федорович повел дело тоже энергично и стал, чего греха таить, погрубее.

Но в любом случае всегда в райкоме царила ясная обстановка. Каждый знал, что ему делать, как делать, в какие сроки. Я начинал работать в райкоме при Савостине, и передо мной даже в самом начале работы никогда не вставал этот вопрос: что делать? Перед каждой поездкой в район обязательно хоть на пять минут, но забежишь к Савостину лично, запишешь в блокнот памятку и знаешь, что, как только вернешься, он за все спросит, ничего не забудет. И заведующие отделами

привыкли к такому порядку и, давая указания своим инструкторам, говорили: «Еще хоть мельком, а поговори по этому вопросу с Петром Федоровичем!» И не было случая, чтобы у нас в райкоме с запозданием ставились вопросы пропаганды, подготовки к уборочной или к посевной. Всегда все вопросы ставились вовремя.

А как-то придется работать с новым секретарем? Сказать о нем пока нечего. Роста небольшого, светлый и слегка кудрявый. Моложавый. Больше всего, кажется, похож на студента. Не очень-то солидный. Правда, про него говорили, будто он вытянул из прорыва один трудный район в западной части области, так ведь известно, как иногда возникает такая молва: выпали вовремя осадки, и только. Всякое бывает.

— Ну что же, друзья,— сказал, наконец, Савостин громко.— Так получилось, что мы на прощанье снова собрались все вместе. Благодарю за внимание! Раз такое дело — позвольте несколько слов...

Воцарилась тишина. Баженов отложил в сторону папку — тоже приготовился слушать.

— Что основное и главное в нашем районе? — начал Савостин.— За что вам придется бороться в первую очередь? Главное — культура земледелия! Нужно на этом участке работать, работать и еще раз работать! Второе, неотделимое от первого — животноводство. Повторяю истину: у коровы молоко на языке. Так, товарищ Кубрин? По твоему опыту.

Председатель «Маяка» быстро встал, как будто собираясь произнести речь, но сказал только одно слово:

— Точно! — И снова сел.

— Точно-то точно,— продолжал Савостин,— а за этим тоже стоит огромная работа, с напряжением всех сил, с использованием всех имеющихся возможностей. Дальше. Ты не обижаешься, Константин Сидорович,— обратился Савостин к Баженову,— что я вроде бы вас наставляю? Нет. Я от чистого сердца советую — ведь семь лет отстукал в районе... Так вот, дальше. Бойтесь авралов. Дело делать без спешки, по плану, в своевременные сроки. Как это говорится: готовь летом сани, зимой — телегу. О посевной думайте уже сейчас, в октябре, об уборочной — в марте. Так... Самое же главное — бесценный капитал: люди. Хочу сказать, Константин Сидорович, вот аппарат райкома перед тобой — хороший, работоспособный аппарат, только управляй им. От масс не оторван, людей в колхозах знает. Да вот хотя бы ты,

Кубрин, скажи: знает, к примеру, Иванов людей в твоем колхозе?

— Пять пальцев,— снова поднялся Кубрин, показав руку с растопыренными пальцами.— Как свои пять пальцев,— улыбнулся мне очень дружелюбно.

Баженов уставился на меня из-под очков, похлопывая себя по колену, должно быть про себя произнося «Так, так, так...» Все присутствующие тоже смотрели на меня, и я понял, что Савостин таким образом представляет инструктора новому секретарю.

Закончил Савостин так:

— Надеюсь, не подведет райком областную парторганизацию. Крепко надеюсь. А ко мне в обком — в любое время дня и ночи, с любым вопросом. Двери будут открыты. Вот так... Может, ты теперь скажешь, Константин Сидорович? О задачах?

— Нет, пожалуй..— ответил Баженов, опираясь обеими руками о колени и все еще покачиваясь, словно в такт каким-то своим мыслям.— Нет! О задачах ты как есть обо всех рассказал.

После этого Петр Федорович попрощался с каждым из нас за руку. Я сидел в углу у крайнего окна, и, когда Савостин подошел ко мне с протянутой рукой, мне показалось, будто что-то привычное обрывается, такое, что прочно вошло в мои представления о жизни.

Конечно, о жизни — мы ведь живем работой, придерживаемся какого-то стиля этой работы, каких-то отношений с людьми, а все это связано у меня с Петром Федоровичем, с его требованиями.

До сих пор, когда я выезжал в колхоз с каким-нибудь заданием и мне нужно было поднажать на председателя, я говорил: «Петр Федорович за это спросит! Строго спросит!» Когда я хотел подбодрить председателя, я говорил: «Петр Федорович передавал привет. Одобряет вашу работу!» Если же я попросту не мог ответить на тот или иной вопрос... да вы и сами знаете, как говорят в таком случае: «Надо подумать... Обговорить... Провентилировать». Я добавлял еще: «Надо посоветоваться с Петром Федоровичем!»

А что будет теперь? Вместо слов «Петр Федорович» не скажешь ведь «Константин Сидорович». Нет, не скажешь... Для этого новому секретарю нужно много, очень много поработать, завоевать авторитет, поставить себя перед областным руководством. Нужно, как говорят у нас, оправдать доверие. Когда-то это будет.

* * *

Спустя неделю Баженов, вернувшись из поездки по району, вызвал меня к себе:

— Задание вам, товарищ Иванов. Пока заведующий отделом на курсах — поработайте-ка за него.

Я подумал о чем-то сложном, этаком заковыристом. Мне казалось, что от Баженова будут исходить только такие указания — с фантазией.

— Набросайте, товарищ Иванов,— сказал Баженов,— вопросы по сельскому хозяйству, которые следовало бы обсудить на бюро райкома в ближайшие несколько месяцев. Которые вам кажутся заслуживающими внимания и постановки. По району в целом, по отдельным МТС и колхозам.

Я облегченно вздохнул и спросил:

— Это все?

— Если все вам ясно — значит, все.

Через полчаса я уже поднял протоколы заседаний бюро райкома за последние три года и выписал из повесток дня все вопросы по сельскому хозяйству. Взяв за основу получившийся таким образом список, я стал его конкретизировать. В прошлом году о зимовке скота отчитывалась на бюро Белореченская МТС. Теперь я наметил отчет Кочетовской станции — с кормами у нее дело хуже, да и нехорошо, когда по одному и тому же вопросу из года в год отчитывается одна и та же МТС или один колхоз. Нужно разнообразие.

В прошлом году о подготовке к посевной, как передовой, докладывал колхоз «Красный семеновод», как отстающий —«Заря». На этот год, как передового, я наметил «Красный льновод», а отстающим снова пришлось записать «Зарю». Пришлось повториться.

Хотя это и не входило в задание Баженова, я по своей инициативе наметил сроки постановки всех вопросов на бюро, сделал графу: «Кто отвечает за подготовку»,— и наметил ответственных товарищей по каждому пункту. На другой день я пришел к Баженову и положил ему на стол свою работу.

Он удивился, что я так быстро справился с заданием, прочел мой список, похлопал себя по колену...

— Мало... Мало наметили вопросов. А главное — все общеизвестные.

Петр Федорович, тот определенно заставил бы сократить список, а этому было мало. Он так и сказал:

— Пишите все, что считаете нужным. Вы, лично.

Ну, к примеру, известно вам, что в колхозе «Заря» плохо обстоит дело? Слабое руководство? Тогда пишите. «Причины отставания колхоза «Заря». Отчет секретаря парторганизации колхоза». Или вот не хватает из года в год кормов в «Маяке». Так? Пишите: «Об использовании сенокосных угодий в колхозе «Маяк». И дальше в том же духе. Не думайте, будто мы рабочую повестку дня составляем — до этого еще далеко. Нет, просто вы открываете передо мной свои соображения, свою записную книжку. Еще два дня на работу!

И два дня я пополнял свой список вопросов, так что он стал умопомрачительной длины, и снова, когда Баженов вернулся из очередной поездки по колхозам, я пришел к нему. На этот раз он сказал:

— Теперь тут, кажется, кое-что есть.— И расспрашивал меня несколько часов: — Вот тут намечен отчет раймаслопрома. Почему?

Я объяснял, что маслопром только и знает: жалуется на колхозы, сам же не организует, не стимулирует сдатчиков. Больше того: имеются сигналы о неправильных расчетах с колхозами за молоко.

Баженов кивал головой, похлопывал себя по коленке и говорил:

— Так-так-так... Так-так-так... Ну, а вот тут: «О работе школы механизации»?

И снова я объяснял, что уже два года в райкоме собираются поставить отчет директора школы, что сам директор об этом просит, дело же в конце концов кончится тем, что из области нас упрекнут за невнимание к подготовке механизаторских кадров.

Баженов ставил на моем списке вопросов крестики, кружки, фамилии людей. Потом пересел из-за стола на диван, вытянул ноги и позвал меня к себе:

— Садись-ка сюда, рядом...

Когда я сел рядом с ним, он и меня похлопал по коленке, а потом спросил:

— А не заметили вы такого вопроса, такого, знаете ли, чтобы он сам к нам просился прямо из жизни, прямо с колхозного поля, чтобы вот так врывался в кабинет без спроса? — Баженов посмотрел на дверь кабинета так, словно кто-то и в самом деле входил к нам. Я не понял и молчал, помолчал и Баженов, сняв очки, он внимательно посмотрел в окно подслеповатыми глазами, снова надел их и начал пояснять свою мысль: — Ну вот, предположим, люди заинтересованы чем-то в кол-

хозе, каким-то своим хозяйственным делом, но не знают, как лучше поступить...— Говорил он тихо и прищуривал глаза.— Люди спорят, доказывают друг другу, и начинает у них появляться такое чувство, что кто-то должен им помочь разобраться, нужно к кому-то обратиться. А тут райком сам заметил это и ставит спорный вопрос на бюро. Ставит так: приглашает людей из колхоза, из МТС, и эти люди обмениваются мнениями, продолжают спор уже в райкоме, а члены бюро говорят как можно меньше — они слушают и делают выводы. Все происходит так, будто мы поменялись местами: члены бюро находятся в колхозе на рабочих местах — полеводами, бригадирами, председателями, механиками МТС, а колхозники и эмтээсовские механики заседают на бюро и несут перед всем районом ту самую ответственность, которую мы несем. Вот это было бы очень кстати, очень нужно... А?

Совсем еще моложавый, Баженов помолодел как будто еще больше, разговаривая, он тихонько посмеивался над кем-то — не то над собой, не то надо мной — за то, что я так и не мог его как следует понять.

— Вот,— повторил он,— это очень нужно. А раз нужно — значит, интересно.— Потом Баженов посмотрел на меня, увидел, что я ничего не могу сказать или посоветовать ему, и уже другим, решительным тоном закончил:— Вот какой мы поставим на бюро вопрос: «Опыт возделывания красного клевера в колхозе «Маяк». Понятно? Острый вопрос!

Я был удивлен и озадачен. Совершенно непонятно было, для чего этот вопрос нужно ставить на бюро. Больше того: каверзнее ничего нельзя было и выдумать. В районе отношение к многолетним травам неопределенное: одни —«за», другие —«против», и что будет решать бюро при таком положении — неизвестно.

Ну, а в колхозе «Маяк» этот вопрос выглядел попросту скандально. Дело обстояло здесь так.

Года два или три тому назад директор Белореченской МТС Рудашов достал в области семена клевера и на собрании колхозников «Маяка» протолкнул постановление о посеве двухсот гектаров этой культуры в низине, вдоль большака на райцентр.

Председатель колхоза Кубрин на собрании не очень поддерживал Рудашова и даже упрекнул его в превышении полномочий. Но это было только началом распри. Осенью, когда «Маяк» завалил уборку зерновых,

Кубрин все свалил на МТС: дескать, виной затея директора с клевером. Кубрин своей властью перебрасывал комбайны с клевера на зерновые; Рудашов эти комбайны возвращал, а потом предъявил колхозу счета за непроизводительные перегоны комбайнов. Правление колхоза снова приняло сторону МТС и постановило половину этих счетов отнести на председателя. Дальше — больше. В районе расширялись площади посева под зерновыми, распахивались малопроизводительные травы, и тут Кубрин уже в районном масштабе выступил против Рудашова, обвинив его в антизерновых настроениях, в покровительстве травам, в нарушении указаний вышестоящих организаций.

Всему бывает конец. И здесь поговорили бы, поругали Рудашова, раз уж он попал в струю этой проработки, а потом новые заботы — и старым страстям конец. Но события развивались дальше. В один прекрасный день Кубрин получает извещение, что ему лично за сдачу семян клевера колхозом «Маяк» причитается премия — девять тысяч рублей.

Кубрин что-то такое промямлил, что, дескать, тут не его заслуга, а колхозников, что он всегда за инициативу, отметил с положительной стороны заслугу райкома, упомянул даже одного комбайнера МТС и премию взял. Мало того, что взял премию — начал рыскать по всему району и по соседним районам тоже в поисках семян клевера для нового посева — из своего посева он семян в колхозе не оставил.

И вот Кубрину предстоит отчитываться на бюро об этом «опыте»! Что задумал Баженов? Поднять на щит Рудашова? Проработать Кубрина? Столкнуть их еще раз лбами? Показать близорукость бывшего руководства райкома в остром вопросе?

Что и говорить, Петр Федорович в настоящий момент ни за что бы не поставил вопроса о многолетних травах на бюро! Никогда не стал бы он искусственно обострять отношения между директором МТС и председателем колхоза — ведь им работать вместе, зачем же это? Но Баженов не дал мне собраться с мыслями.

— Как вы считаете,— спросил он,— кого нужно пригласить на бюро? Я думаю, из «Маяка» человек пять-шесть: бригадиров, одного-двух рядовых колхозников, которые имели дело с клевером. А кого пригласим из специалистов? К вам из области, из ученых — никто не наезжает?

Мысленно я махнул рукой на Баженова: пусть делает, что хочет! И я сказал, что в особенно важных случаях мы приглашаем Никитичну.

— Это кто такая? Почему она так называется?

Я объяснил, что Никитична — научный работник из сельхозинститута, очень боевая, активная, назубок знает все постановления, мастер по составлению всяких резолюций и постановлений. Район наш она знает очень хорошо, неофициально как бы шефствует над нами со стороны науки. Всех руководящих товарищей она зовет только по отчеству: Николаич, Андреич, Кириллыч,— потому и ее называют Никитичной.

— Значит, она агроном?

— Конечно, агроном.

— А где она работала агрономом: на севере или на юге области?

— Насколько я знаю, Никитична кончила институт, потом аспирантуру, ну и работает в институте...

— Так-так-так...— проговорил Баженов.— Так...

— Да у нее книга написана по многолетним травам, Константин Сидорович! Она кандидат наук!

— Решено: приглашаем! Наверное, нужно позвонить в обком, чтобы оттуда передали Никитичне о нашей просьбе?

— Действительно, так лучше. Можно и самим ей позвонить, но через обком — лучше.

— Наверное, нужно позвонить мне лично, не передоверять никому?

— Конечно, ваш звонок авторитетнее.

— Понятно... А у меня есть тоже предложение: пригласить Марию Трофимовну. Наш районный работник, условия знает. Согласны?

Я сказал, что согласен. Сказать-то сказал, но машинально, не подумав, уверенный в том, что я всех знаю в своем районе.

— Ну, если согласны,— сказал Баженов,— возьмите трубку и позвоните ей. Спросите: может ли она подготовиться к выступлению на бюро?

Я положил руку на телефон, и следующая минута показалась мне часом. Хоть бы Баженов рассердился или засмеялся. Так нет. Смотрит на меня и молчит. Наконец произнес:

— Ладно, я сам позвоню.

Попросил библиотеку районного Дома культуры и спросил там Марию Трофимовну.

Только тогда я догадался, кого он имеет в виду. Мария Трофимовна Шульшина была раньше учительницей, хорошо организовала работу кружка юннатов, за что и была неоднократно премирована и отмечена в печати. Потом заболела, ушла из школы на библиотечную работу. Кажется, у нее что-то случилось с горлом: она не могла говорить подолгу и громко.

— Она рассказывала,— заметил Баженов,— что вы учились у нее в школе?

— Учился... Но я никак не мог подумать... Константин Сидорович, да ведь эта старушка-то в жизни не принимала никакого участия в работе партийных органов. Аполитичная. Да она и до райкома-то не дойдет!

— Вот это правильно подсказали,— кивнул головой Баженов.— Что правильно, то правильно. Значит, не забудьте: когда нужно будет, пошлете за Марией Трофимовной машину. Обязательно!

* * *

Я все думал, что вопросы зимовки скота, агроучебы, другие первоочередные мероприятия и директивы областных организаций по сельскому хозяйству — одним словом, наша напряженная обстановка так и не позволит Баженову осуществить его затею.

Но вот началось бюро в присутствии Никитичны, приехавшей по командировке обкома, Марии Трофимовны и еще целого ряда товарищей.

Слово для обмена опытом возделывания красного клевера получил председатель колхоза «Маяк».

Хитрый был этот Кубрин, тертый калач! Он ни словом не обмолвился насчет истории, которая разыгралась между ним и Рудашовым, не упомянул о премии, а рассказывал только, когда и как клевер сеяли, когда убирали, какой получился урожай и доход.

Говорил он стоя, громко, хотя и не совсем гладко, и только изредка поводил глазами в тот угол кабинета, где сидел Рудашов.

А у того желваки ходят под кожей, он сидит как на иголках, но молчит, не перебивает, реплики не подает, только теребит себя за лохматые брови. Это у него признак волнения. Еще бывало Петр Федорович Савостин, когда критиковал Белореченскую МТС, всегда посмеивался: «Факты — упрямая вещь, товарищ Рудашов, и придется тебе бровь на палец мотать!»

Вообще Рудашов плохо переносит критику: возра-

жает, ищет оправдания. А к чему? Если уже в проекте резолюции или решении записано порицание — а какой директор МТС обходился без порицаний, предупреждений и взысканий? — к чему тут оправдания?

И Рудашову многие давали один и тот же совет:

— Чего ерепенишься, всегда затягиваешь заседания? Только время отнимаешь у себя и у других!

— Больше помалкивал бы — реже получал бы по затылку!

— Брось, Рудашов, демагогию!

Но Рудашов эти советы будто не слышит, хватает советчика за рукав и доказывает, что виноват не он или не только он, а еще такой-то и такой-то. Когда виноваты многие, ему будто легче.

Говорит Рудашов басовито, но торопливо и как-то несолидно. С высоты своего роста он смотрит на собеседника с таким выражением, словно заглядывает ему в лицо снизу вверх — просительно и немного смущенно. В поведении Рудашова Петр Федорович Савостин всегда видел «слабину» и предупреждал, что к директору это не идет и до добра никогда не доведет его. «Слабина» проявилась у Рудашова еще больше, когда заварилась эта клеверная каша между ним и Кубриным.

Нетрудно представить, как волновался, теребил брови и оправдывался Рудашов, когда Кубрин обвинял Белореченскую МТС в срыве уборочной, в том, что станция заботится только о травах, а не о зерне!

Будь на месте Рудашова другой человек, Кубрин бы, конечно, не рискнул пойти на это: ведь МТС может в два счета зажать колхоз и председателя! Но Кубрин знал, с кем имеет дело. Рудашов, как никто, переживал всякое обвинение в свой адрес, но пуще всего боялся упреков, будто где-то, в каком-то вопросе он сводит личные счеты.

Только намекнет Кубрин, что вот, мол, после моих критических выступлений против директора из МТС пришел в «Маяк» самый что ни на есть плохой трактор, как у Рудашова брови начинают ползти вверх, и он нещадно теребит их.

По этому поводу о Рудашове много говорили в районе, посмеивались над ним. Молчал только один Кубрин. Он первый разгадал эту слабость директора и пользовался ею.

При всем том Рудашова любили и уважали не столько в райцентре, сколько в МТС. Наверное, проис-

Видимо это оттого, что Рудашов был врожденным механиком, из тех, о ком говорят, что они любят машины до потери сознания. Он был и токарь, и слесарь, и механик, и водитель первого класса, имел какие-то изобретения и напечатал статью в журнале «МТС».

И не чаяли в нем души механизаторы. Это доброе отношение проявилось и сейчас: до начала заседания к Рудашову подходили люди и советовали:

— Слушай, дай-ка ты жизни этому Кубрину! Давно пора!

— На твоей улице праздник! Расскажи во всех подробностях, как было дело!

— Неужели стерпишь, промолчишь?

— Не стерплю! — отвечает Рудашов.— Дам жизни! — И размахивает руками.— Вот только все и так знают, как было дело. О чем рассказывать-то?

— Ничего, повтори, проучи как следует Кубрина!

— Проучу! — И лицо у Рудашова сердитое, даже злое, никогда не видел у него такого.

А Кубрин — маленький, толстенький, на вид такой простачок в сереньком дешевом костюмчике — кроет про посев и уборку клевера и как будто не замечает настроения присутствующих.

С самого начала я в душе вообще был против постановки вопроса о клевере на бюро, а тут тоже заразился общим настроением. Думаю: «Раз уж пошло на это — надо бы действительно тебе всыпать, Кубрин!»

Должно быть, и Баженов так думал, потому что, когда Кубрин кончил, стал спрашивать его:

— Вот вы говорите о сроках сева до уборки. Так говорить может любой, кто имеет перед глазами сводку о полевых работах. А вы руководитель хозяйства, коммунист. Значит, должны понимать, что от вас требуется. Скажите: как вы пошли на посев клевера, из каких соображений? Как это дело воспринимали люди? Что это дало для колхоза? Что даст государству?

Но Кубрин все еще, видно, надеялся уйти от неприятных для него вопросов.

— Уж как умею...— ответил он.— Попросту, без бухгалтерии, а по-крестьянски!

— Э-э, нет!— вздохнул Баженов.— Раз без расчета — значит, не по-крестьянски. Ну хорошо, еще один конкретный вопрос. Скажите: вы сами за клевер или против? Знаете установку — распахивать малоурожайные травы?

Еще бы Кубрину не знать этой установки, если, выступая против Рудашова, он десятки раз ссылался на нее!

Он и ответил:

— Как же, знаю...

Но ответил как-то неуверенно. Немного помолчал да вдруг как начал расхваливать клевер! Получалось, что без клевера колхоз не смог жить, не живет и в дальнейшем без него дня не просуществует! И кормовую-то базу клевер укрепляет прочнее прочного, и денежность увеличивает — колхозная касса вот-вот начнет ломиться от бесчисленных тысяч, а уж плодородие земель от клевера повышается так, что через два года колхоз «Маяк» поставит всесоюзные рекорды урожайности по всем культурам! О будущем колхоза Кубрин говорит особенно горячо: оно все заключено в красном клевере!

Рудашов, слушая, только двигал бровями.

Кажется, все до крайности были удивлены таким оборотом кубринской речи, а Никитична даже взволновалась, стала покусывать губы и побледнела.

Она сидела по другую сторону стола и сначала невнимательно слушала все, что здесь происходит, разговаривала с главным агрономом Кочетовской МТС, который учился когда-то у нее в институте. Вот они и перебирали старых знакомых. Потом Никитична подтолкнула своего собеседника локтем: помолчим, дескать, нужно послушать, что говорят. Когда же Кубрин закатил свою речь в пользу клевера, она нагнулась ко мне через стол и, пахнув запахом табака и духов, спросила:

— Слушай, Иванов, что это у вас происходит? При новом руководстве? Или вы не понимаете, какая существует точка зрения на многолетние травы?

Я пожал плечами.

Немного спустя она снова наклонилась ко мне:

— Слушай, Иванов, неужели у вас в районе нет более важных вопросов для постановки на бюро, чем посев клевера в одном каком-то колхозе?

Я снова пожал плечами.

Она еще послушала и опять спросила:

— Слушай, Иванов, чья это инициатива — пригласить меня на бюро? Баженова?

Я сделал руки трубкой и шепотом ответил ей через стол:

— Моя... Я ему подсказал,— и кивнул в сторону Константина Сидоровича.— А что?

Теперь она пожала плечами, ничего не ответив. Когда же Кубрин кончил, наконец, расхваливать клевер, Никитична не очень громко, но и не очень тихо, так что несколько человек все-таки слышали ее, сказала:

— Надо выправлять это положение...

Она поднялась с места.

— Позволь, Сидорыч!

Баженов утвердительно кивнул, и Никитична заговорила низким грудным голосом, который всегда привлекал внимание слушателей. Недаром она читала лекции в институте.

— Не то! — проговорила она со строгим и грустным выражением.— Прямо скажу, товарищи, не того требует в настоящий момент от нас обстановка! Обстановка требует от нас, тружеников сельского хозяйства, получить десять миллиардов пудов хлеба! В разрезе именно этой задачи нужно ставить и решать вопросы на бюро райкома. В этом разрезе ставить отчет председателя колхоза! А что происходит? Здесь всем присутствующим внушается вредная мысль о том, что клевер — это панацея от всех бед! Извините! Это далеко не так! — И Никитична очень крепко пощипала клевер: она говорила о трудностях получения семян этой культуры, о ее полегаемости, о ее высокой требовательности к плодородию почв, так что в конце концов всякие достоинства клевера померкли совершенно.— Было увлечение многолетними травами,— хватит! Если были ошибки — нужно их признать, нужно перестроиться решительно! Я приведу вам пример: у нас в институте один товарищ работал над темой о влиянии красного клевера на обогащение подзолистых почв азотом. Что же вы думаете? В порядке перестройки мы на ученом совете эту тему сняли... Отсюда можете судить...

— А жаль, что сняли,— бросил реплику Баженов.— Тема полезная, скажем, для нашего района...

Никитична не рассердилась, наоборот, она улыбнулась и так погрозила Баженову пальцем, что я сразу подумал — она ответит какой-нибудь шуткой. И в самом деле, Никитична сказала:

— Смотри, Сидорыч, как по осени у тебя спросят хлеб, а хлебушка-то будет в обрез, то с тебя лапотнику приспустят и клевер этот вспомнят... Товарищи! — продолжала она уже совершенно иным тоном,— о чем говорят последние решения?

Одно за другим она стала цитировать решения, и

выходило так, что мы у себя в районе действительно занимаемся бог знает чем, но не делом. Не только на этом заседании — вообще в районе. Я всегда удивлялся той памяти, которой обладала Никитична, но на этот раз она перещеголяла самое себя.

Создавалось или уже создалось очень неприятное положение для Баженова. В такие переделки Савостин никогда не попадал, а этот сам лез.

Я взглянул на Константина Сидоровича, ожидая увидеть его растерянным, рассерженным, наконец чрезмерно спокойным и даже добродушным: люди, умеющие владеть собой, иногда делаются такими в острые моменты.

Ничего этого я не увидел. Попросту у Баженова было очень заинтересованное лицо, заинтересованное и внимательное. Когда у Никитичны в ее речи выходило особенно ловко, эта внимательность, с которой он поглядывал на присутствующих, становилась особенно заметной. Вместе с тем было что-то такое во всей его настороженной фигуре, что заставило меня подумать: «А ведь, пожалуй, поддаст он сейчас жару Никитичне!» Мне даже стало как-то не по себе от своей догадки. В районе привыкли высоко ставить авторитет этой женщины. Она была ученой, представляла в своем лице науку, одно это внушало уважение. Кроме того, мы попросту привыкли к ней.

Когда она приезжала в наш район, по какому-то неписаному правилу каждый районный работник считал долгом с ней встретиться, рассказать о своей работе и послушать ее совет, угостить ее папироской или самому занять одну-другую, отпустить в меру присоленный анекдот и получить свежие новости областного центра. Даже очень солидные товарищи позволяли ей похлопать себя по плечу и сами могли пошутить насчет ее не очень быстро, но неуклонно полнеющей фигуры. Одним словом, Никитична имела все основания считать себя своим человеком в районе.

Но видно, я не напрасно опасался сейчас за Никитичну — Баженов начал задавать ей вопросы. Сначала он спросил:

— Вы, Ольга Никитична, бывали когда-нибудь в колхозе «Маяк»? Знаете его земли?

— Я, Константин Сидорович, бывала во всех колхозах вашего района. И не раз и не два.

— Тогда, Ольга Никитична, может быть, вы расска-

жете нам, как выглядят посевы клевера в этом колхозе? Хороши они или плохи? А если вы знаете колхозы других северных районов, скажите, как там, оправдывает себя клевер?

— Я уже отметила место клевера в современных условиях не только для одного или нескольких колхозов — для всей области...

Баженов был настойчив, он добивался прямого ответа:

— Мы не просим консультации для всей области. Для одного колхоза, для колхоза «Маяк» посоветуйте: стоит ли ему и дальше сеять клевер или не стоит?

Должно быть, эта настойчивость и вывела из равновесия всегда такую сдержанную и добрую Никитичну. Торопливо она стала объяснять, что для ответа на этот вопрос нужно не только бывать в колхозе, но досконально изучить его экономику, нужно иметь перспективные планы развития хозяйства, нужно сообразовать эти планы с последними решениями по сельскому хозяйству. И, совсем уже разволновавшись, она сказала:

— Вы извините меня, товарищ Баженов, но постановкой на бюро мелочных хозяйственных вопросов вы уводите райком от большой политики. Я знаю подоплеку вопроса. Это распря между Кубриным и Рудашовым, в которую вы зачем-то хотите вовлечь всех присутствующих товарищей, сделать ее общерайонной! Зачем это нужно? Кому и зачем? Я говорю это не как частное лицо, которое вы пригласили... Я в вашем районе по командировке обкома партии!

Было слово за Баженовым, но он не торопился. Неподвижным, злым взглядом нацеливался он на Никитичну, и в наступающей тишине каждый с напряжением ждал: что же будет дальше?.. Было время для размышлений, и я подумал, что произошло что-то неладное, нехорошее. Нельзя было говорить Никитичне того, что она сказала. Мы, местные работники, знавшие всю подноготную районных дел, и то не решились сказать, будто вопрос о клевере поставлен ради такой мелочной цели. Конечно, была опасность, что спор перейдет в перебранку между Кубриным и Рудашовым, больше того — многим, вот и мне тоже хотелось, чтобы Кубрину попало сегодня по заслугам. Верно, что некоторые члены бюро вообще были против постановки этого вопроса. Но разве бюро допустило бы весь этот вопрос разменять на мелочи? Если уж вопрос поставлен — каждый выступаю-

щий должен всеми силами поднимать его на принципиальную высоту, говорить о деле, об интересах колхоза. Только так. В некотором роде я был единомышленником Никитичны, когда мысленно упрекал Баженова в том же, в чем она упрекнула его сейчас. Но сейчас мне было стыдно, что я так думал: я видел искреннее желание Баженова разобраться в вопросе самому и помочь разобраться другим, мне, например, желание помочь колхозу принять правильное решение, и все так понимали задачу нашего заседания, я был уверен. Для этого же мы пригласили и Никитичну. А она...

На лицах людей, сидевших рядом с ней, было недоумение, замешательство. Особенно расстроенное выражение было у Рудашова: сидел он неподвижно, не моргал, и такие тоскливые стали у него глаза, словно он видел перед собой чье-то большое несчастье.

— Вот как...— проговорил, наконец, Баженов.— Чтобы уклониться от конкретного вопроса, можно, оказывается, использовать и решения ЦК, и обком, и, так сказать, местный материал... Все подходит...— Он помолчал, потом открыл ящик письменного стола и достал книжку с изображением цветов красного клевера вперемешку с листьями еще какой-то травы на обложке.— В своей книге, Ольга Никитична, вы рекомендуете красный клевер для всей северной группы районов.— Он полистал и открыл страницу, на которой был изображен хорошо знакомый контур нашей области, вверху заштрихованный черными полосками.— Вот здесь, под штриховкой, весь наш район и еще с десяток других районов, для которых вы рекомендовали красный клевер. Поэтому мы и обратились к вам за советом — не для района, для одного колхоза...

Ольга Никитична снова заговорила о перестройке, о новых требованиях, еще о чем-то, не закончив, села, оглянулась по сторонам. Тонкая нить дымка из папиросы, которую она мяла в руке, изгибаясь, поднималась вверх и растекалась в маленькое облачко. Сквозь это сизое облачко я видел Никитичну, и мне казалось, что лицо ее блекнет, стареет. Все, что было в нем привлекательного: и в меру еще свежая дородность, и уверенность, и даже некоторая горделивость в посадке ее головы, в прическе — все как-то сникло.

Еще повторяю: у нас в районе любили эту женщину, и было теперь больно за нее, что она показала себя по-бабьи. Стало трудно присутствовать здесь, при ней.

Но, видно, Баженов был не из тех людей, кто легко прощает,— он предоставил слово следующему товарищу таким образом:

— Продолжаем нашу работу...— сказал он.— Мы выслушали Кубрина, который был сначала против клевера, потом за, и Ольгу Никитичну, которая сначала была за клевер, потом против. Теперь слово имеет Кубрин-бригадир.

Поднялся не председатель Кубрин, а его двоюродный брат. Это тоже низенький и уже пожилой человек с выцветшими волосами. Так это или нет, но сам он утверждал, будто был когда-то рыжим, как огонь, но потом выцвел, потому что «в шестнадцатом году на фронте обкуривали газом». Колхозники и особенно колхозницы звали его «сивым».

До укрупнения и этот Кубрин тоже был председателем небольшого колхоза, дела вел хорошо, но при слиянии избрали не его, а брата, который руководил тогда самой крупной из трех объединяемых артелей. В районе о Кубрине-бригадире было сложившееся мнение что человек он спокойный, знающий, но большое хозяйство ему не по плечу — непроворный.

Кубрин-бригадир заговорил, и через минуту вопрос, который мы обсуждали, как бы встал на свое место.

— Вот ты говоришь, Александра Иванович,— сказал бригадир, называя брата по имени-отчеству, но почему-то в женском роде,— клевер — это денежность. Смотря как понимать. Правильно: деньги мы получили и в колхозную кассу и себе лично. Ты девять тысяч, я поменьше, но тоже подходяще. Как тебе, а мне в ту пору деньги пришлись в самый раз. И сейчас соображаю: нельзя ли еще разок? Но вот разница: что мы лично получили — у нас осталось; что в кассу колхоза — того нет: пошло на покупку кормов. Как так? А так что клевер семена нам дал, а сена... Какое там сено! Все видели, в поскотине больше накосишь!

— Ну вот,— заметил Баженов,— дошло и до братоубийственной войны!

Все засмеялись. Кубрин-бригадир тоже усмехнулся и продолжал:

— Дело в чем? Если где травостой сгущенный — семян не жди, их не будет, и нужно косить. Косили. По тридцать центнеров с гектара косили. А на другой год он уже и выпал, этот клевер: ни семян, ни сена. По-другому: травостой редкий. Как у нас было. Семена взяли—

сена нет. И то — семена при хорошем пчелином взятке, Александра Иванович. Теперь: против я клевера или за? Скажу! За! Но против того клевера, который мы с тобой возделывали, Александра Иванович! — Кубрин-бригадир достал из кармана записную книжечку, обернутую в бумажную кальку, полистал ее: — Нам нужен клевер, чтобы он дал не меньше пятидесяти центнеров сена и два центнера семян. С таким клевером мы пойдем на мировую. Откуда цифры? Начато с партийного подхода. Пленумом сказано: малоурожайные травы — враспашку. Понимай так: те травы останутся существовать, которые выдержат против других культур.

Что у нас надо клеверу выдержать? Посчитано: сена нам на все поголовье нужно полторы тысячи тонн; под клевером будем иметь, почитай, триста гектаров. Значит, по пятьдесят центнеров с гектара надо взять.

Еще посчитано: если не будет такой урожайности клевера, то ему не выдержать хотя бы и против овса, когда овес даст двенадцать центнеров зерна да соломы сорок, то есть среднюю урожайность.

Еще догадка: кормовая мелкозерная рожь — она из Забайкалья поступает — может побить клевер, если не взять с него того урожая.

Кубрин-бригадир все листал и листал свою книжечку, а потом снова обратился к брату:

— Правильно, Александра Иванович, клевер даст на будущее зарядку плодородию почвы. О будущем заботиться нужно: человек не птаха. Однако и сегодняшний день тоже не перескокнешь! Было — нам в церквах очень свободную жизнь обещали — на том свете. А мы все ж таки не стали ждать — завоевали ее, свободу, на земле. Или — я лично получил премию, и ждать мне следующую два, а то и три года очень было бы прискорбно! Так и всей артели...

Слушал я этого человека, и хотя он утомил всех своими цифрами, много мыслей возникало от его слов.

Вот два брата Кубриных, из одного колхоза, оба занимались посевом клевера, оба получили премии — факты одни. Но в понимании этих людей они выглядят совсем по-разному, эти факты.

Кубрин-председатель единственно потому за клевер, что лично он получил премию. Однако он о премии не говорит ни слова, толкует о пользе колхоза, о будущем.

Кубрин-бригадир и не скрывает своей заинтересованности, доволен премией, хочет получить еще такую

же, по тому, что свои интересы он связывает с колхозом, с другими людьми, они перестают быть только его личным делом. Вот его и слушают внимательно.

В том, что говорили Никитична и Кубрин председатель, было много слов о политике, о будущем колхоза, но настоящей, кровной заинтересованности в судьбе людей у них нет. А без этого нельзя, без этого их не будут слушать. Они это понимают, с лихорадочной поспешностью ищут слова, чтобы убедить присутствующих в серьезном, думают, что нашли слова, а на самом деле?

Кубрину-бригадиру здесь сейчас искать ничего не надо. Мне приходилось бывать в его небольшом пятистенном домике на берегу тихой речки, почти в самом конце длинной деревенской улицы.

И сейчас передо мной возникает картина позднего зимнего вечера в этом доме. Уложив на кроватях, на печке, на полатях внучат, которые по субботам сбегаются со всех окрестных деревень и устраивают здесь что-то вроде дома пионеров или интерната, пошумев на них и кое-кому дав на сон грядущий легкого подзатыльника, Кубрин-бригадир достает с полки книги, календари колхозника за несколько лет, счеты, газеты со статьями по сельскому хозяйству и решениями пленумов ЦК, а из небольшого сундучка — стопку потрепанных тетрадей и записных книжек.

Здесь запись всему: погоде, срокам посева и уборки, разливам реки, трудодням бригады, расходу кормов. Здесь же изображены разные приспособления к машинам, дымоходы печей, амбары для хранения зерна и других продуктов, крытые тока и даже узлы, которыми вяжут паруса.

Если в доме ночует кто-нибудь из района или сосед забрел на огонек, хозяин охотно дает посмотреть все эти записи — секретов нет, наоборот, он дополняет каждую цифру, каждый чертеж своими соображениями, и так возникает какое-то необыкновенное чтение — беседа о крестьянских делах.

Иной раз собеседник утомится, уйдет на отдых, а Кубрин-бригадир все сидит и сидит за столом, брякает костяшками счетов, шуршит листами газет и книг. Вот когда он ищет. А сейчас, на заседании бюро, он как будто только продолжает размышлять над своими записями, и больше ничего.

Совсем другой человек Кубрин-председатель: выглядит этаким сереньким простачком, всякий разговор на-

пишет со слов: «уж как могу», «как понимаю своим умом». И не один я думал, что человек прикидывается, а на самом деле он не такой — себе на уме. А на самом деле он такой и есть: серый и корыстный. Если не придавать значения наскокам, которые он совершил, скажем, на Рудашова, да лишить его советов брата-бригадира, он сразу таким и предстанет. Сегодняшнее его выступление это ясно показало. Как же случилось, что председателем в «Маяке» именно этот Кубрин, а не другой? Почему мы в райкоме Кубрину-бригадиру сами внушили, будто он не способен руководить хозяйством?

Почему только сейчас я вспомнил, с какой теплотой однажды в поле говорили мне колхозницы: «Наш-от сивый-то Кубрин — правильный человек, работяга!» Вот еще над чем заставляет подумать сегодняшнее бюро!

— А есть ли у нас такой клевер, такая агротехника, земли такие, чтобы он вышел вперед других культур? — спрашивал Кубрин сам себя.— Скажу: есть. А лучше меня скажет, кто в это растение вник до точности. Мария Трофимовна скажет!

Такое заключение Кубрина-бригадира было неожиданным: никто ведь не предполагал, что Мария Трофимовна будет выступать.

Баженов подтвердил:

— Слушаем вас, Мария Трофимовна.

Старая учительница поправила очки, коснулась волос на голове, одернула прямые складки платья и только тогда заговорила со строгостью, и даже официальностью, которая всегда отличала ее в школе.

— У товарищей может возникнуть недоумение, почему товарищ Кубрин обратился ко мне сейчас таким образом. Поясню. Дело в том, что еще до войны дочь товарища Кубрина, Наташа, работала со мной на пришкольном юннатском участке. Отец заинтересовался нашими опытами и с тех пор систематически принимал участие в работе кружка. Потом мы перенесли опыты к нему в колхоз. Когда я по состоянию здоровья вынуждена была покинуть школу, я в библиотеке продолжала подбирать для товарища Кубрина интересующую его литературу. Вот чем объясняется, что товарищ Кубрин предоставил мне сейчас слово, чтобы подкрепить некоторые свои соображения...— Мария Трофимовна, должно быть, почувствовала, что допустила какую-то нетактичность, оглянулась вопросительно вокруг, взгляд ее оста-

новился на лице Баженова, потом она посмотрела на Никитичну и вдруг моментально залилась краской. Она вздохнула и быстрым движением руки провела по лицу, как будто хотела смахнуть с него краску, и я слышал, как она тихо произнесла: «Ах!», и видел, как под редкими седыми волосами голова ее покраснела еще больше.

Баженов сидел, облокотясь на стол, смотрел на Марию Трофимовну строго и был в этот момент очень похож на учителя, а смутившаяся Мария Трофимовна выглядела, как ученица, споткнувшаяся при ответе.

И так именно, как учитель должен был сказать ученице, немного рассеянно, Константин Сидорович сказал:

— Да, да... Продолжайте, Мария Трофимовна, продолжайте. Вас слушают.

Мария Трофимовна оправилась от волнения:

— Мы работали с пермскими и вятскими клеверами. Последние показали себя лучше, мы остановились на них. Одноукосный озимый клевер давал у нас наибольшую зеленую массу при укосе шестнадцатого — двадцатого июля. Но уже к этому времени он полегает, сильно грубеет, при подсушивании теряет листья. Жизнеспособность его снижается, на следующий год он заметно разрежен, иногда выпадает почти полностью. Если скосить клевер раньше — в первых числах июля, даже в июне, он лучше сохраняет жизнеспособность, но сена будет немного. Об этом говорил здесь товарищ Кубрин...

Помнится, та компания в школе, которую я водил, вся состояла из будущих пилотов, капитанов дальнего плавания и Героев Советского Союза. «Травки», которые нам преподавала Мария Трофимовна, мы считали делом девчоночьим, и если все-таки аккуратно учили все уроки по ботанике и зоологии, так только потому, что откровенно боялись учительницы.

Мария Трофимовна, не моргнув глазом, могла поставить двойки хоть всему классу. Как бы мне хотелось сейчас снова послушать от начала до конца все, что говорила нам когда-то Мария Трофимовна на уроках!

Теперь она была не той, какую я помнил по школе,— поседела, высохла и стала как будто ниже, резкие черты ее лица обострились еще больше, а на щеках появилось множество мелких морщинок, голос был совсем тихим. Тихим, но все с той же выразительной интонацией, которая четко выделяла главные предложения от вводных, а среди главных — главенствующие по смыслу. И

та же строгость была во всей ее фигуре и значительность, которые относятся не к ней самой, а ко всему тому, что она говорила о красном клевере.

— Вывод основан на использовании свойства многолетнего растения хорошо отрастать и заключается в том, чтобы произвести раннее подкашивание клевера числа десятого июня на высоте примерно в десять сантиметров, а в последней декаде августа сделать укос на семена. Иначе говоря, одноукосный клевер становится двухукосным, и это позволит получить ту урожайность семян и сена, о которой говорил товарищ Кубрин.

— Истина давно известна...— заметила Ольга Никитична.— Давно известна, дорогая Мария Трофимовна.

Замечание ничуть не смутило старую учительницу. Она стала объяснять Ольге Никитичне, что растения одноукосного клевера — озимые растения, у которых подкашивание вызывает к росту нижние, спящие пазушные почки; задача же состоит в том, чтобы в течение лета получить побеги также и из верхних почек.

Ольга Никитична снова заметила, что об этом написано в ее собственной книге, которую только что и так умело демонстрировал здесь товарищ Баженов.

Мария Трофимовна охотно согласилась, подтвердила, что она читала об этом и в книге Ольги Никитичны и в книге академика Лысенко тоже, но нигде она не читала, что даст подкашивание здесь, в северных районах области. Поэтому они вместе с товарищем Кубриным и поставили опыты, которые дали положительные результаты. Но разве этого достаточно — два-три года опытов? Конечно, недостаточно, как все понимают. Поэтому Мария Трофимовна обратилась к литературным источникам. Оказывается, Томский университет, который находится в таких же природных условиях, как наш район, тоже проводил опыты и опубликовал результаты в томе 114-м за 1951 год, томе 11-м за 1952 год и частью в томе 130-м за 1954 год, но в этом последнем томе речь идет о технике уборки клевера на семена. Это уже не ее область, она хотела только помочь товарищу Кубрину некоторыми сведениями.

Было что-то очень убедительное, очень искреннее в том уважении, с которым совсем старенькая, образованная и такая интеллигентная Мария Трофимовна относилась к небольшому и простецкому «сивому» Кубрину. Должно быть, это было не от личного расположения, тем более не служебный долг,— просто она считала

все, что делает Кубрин-бригадир у себя в колхозе, имеет большое значение, всему этому надо помогать по мере сил, оказывать поддержку.

А бригадир, раз дело касалось его колхоза, его бригады, чувствовал себя основной фигурой на бюро и, кивнув Баженову, продолжал так:

— Теперь надо второе доказать — с механизацией. Комбайн на клевероуборке еще с оглядкой применяют, хотя бы и про нас с Александрой Ивановичем сказать! А без комбайна как? Посчитано: шестьсот трудодней и двести пятьдесят коне-дней нужно затратить на сто гектаров клевера без комбайна! Это голая теория безо всякой реальности, такой возможности в колхозе нет.

Но человек со своим интересом к делу как зерно с ростком: куда его ни бросай, росток в небо смотрит. Как мы в колхозе ни мытарили комбайнера Парушина, он все ж таки на «Коммунаре» в распределительном битере четырнадцатизубовую звездочку поменял, заместо нее поставил десятизубовую, то есть увеличил обороты. Раз. В вентиляторе первой очистки заменил наоборот — десятизубовую на четырнадцатизубовую. Два. На первую же очистку ставит решето двадцать два, а на вторую — девятнадцать на девятнадцать. Три. Мотовило обшивает брезентом — это чтобы сберечь головки клевера. Четыре. Товарищ Рудашов! Да ежели ты и твои механики задумаетесь, вы не то что до четырех — до сорока четырех досчитаетесь, а клевер уберете, как надо! Предлагаю высказаться директору эмтээса, поскольку он на решающем участке!

Неожиданно быстро менялись на этом заседании обязанности Баженова. Только что он пробивался сквозь строй чужих мнений, задавал выступающим продуманные вопросы, заставляя говорить то, о чем они не хотели говорить, а теперь лишь головой кивал: толкуйте, дескать, а бюро будет слушать.

Но вот и выступление Рудашова, от которого поначалу ждали, что оно будет гвоздем заседания. Правда, потом о Рудашове на некоторое время забыли, но сейчас все снова смотрели на него с особенным интересом: что-то скажет? Баженов тоже насторожился.

Рудашов поднялся, зачем-то нескладно взмахнул руками и сказал:

— Испробуем «Коммунар», «Сталинец-6» и самоходный комбайн. Обеспечим!

— Все? — спросил Баженов.

— Все.

— Понятно... Кто еще хочет говорить?

Еще выступали, еще что-то уточнял Кубрин-бригадир. Когда сложный вопрос вдруг начинает приобретать ясность, появляется много соображений, много толковых замечаний. А тут ясно стало, что вывод близок.

В решении было записано:

«Бюро райкома отмечает, что руководство колхоза «Маяк» не обеспечило достаточно высокой урожайности клевера на семена и особенно на сено и посев клевера не содействовал укреплению кормовой базы (следовали цифры урожайности)».

«...принимает к сведению заявление бригадира тов. Кубрина и директора Белореченской МТС тов. Рудашова о том, что они могут осуществить агротехнику и механизацию работ, которая обеспечит получение урожайности (следовали цифры)...»

«...отмечает инициативу, проявленную бригадиром тов. Кубриным, директором МТС тов. Рудашовым и работником библиотеки тов. Шульпиной...»

Но никак не вместит официальное решение все те события, которые произошли потому, что колхоз «Маяк» посеял двести гектаров клевера в низинке вдоль большака на райцентр, рядом с бугром, на котором стоит геодезическая вышка, похожая на пирамиду.

Кончилось заседание. В приемной, в коридоре, куда вышли покурить, поднялись толки и пересуды.

Никитична похлопывала по плечу председателя райисполкома, делала вид, будто ничего не произошло. А мне казалось, что все ждут от нее другого, что она скажет: «Ну и всыпали мне сегодня! Учту на будущее!» — или еще что-нибудь в этом роде.

Рудашов против обыкновения не размахивал руками и не держал за рукав собеседника. Наоборот, его окружили со всех сторон люди, а он пальцем рисовал на черной поверхности печки схему — доказывал, что на комбайне «Сталинец-6» при уборке клевера на семена нужно наглухо закрыть вентилятор второй очистки, поднять до отказа деки, увеличить обороты битера, еще что-то такое сделать. Рядом с ним стоял Кубрин-бригадир, смотрел снизу вверх, но по-хозяйски слушал внимательно и только иногда говорил:

— Думай, Рудашов, думай!

Ко мне подошла Мария Трофимовна и строго, так же как когда-то в школе вызывала для ответа, позвала:

— Мне вас нужно, товарищ Иванов.

Когда мы отошли в сторонку, она сказала:

— Очень вам признательна. От всего сердца.

— Что вы? Почему?

— Признательна, что вы не забыли учительницу и пригласили сюда. Ну-ну, не отказывайтесь.— Она слегка улыбнулась.— Знаете, поется: «...старикам везде у нас почет»? Не скрываю: я бываю тронута, когда меня выбирают в президиум торжественного заседания, скажем, восьмого марта. Больше того — я догадываюсь, что меня проводят с цветами и духовым оркестром. Не перебивайте меня: в моем возрасте подобные размышления вполне логичны. Но почтение к старости, как вы правильно поняли, товарищ Иванов, заключается в том, чтобы ее выслушать. Это бывает: учитель многие годы учит, а в старости все то, что накоплено им, выносит на суд своих учеников. И если они внимательные судьи, ничего больше и не надо... Вот и сегодня я имела возможность поддержать товарища Кубрина... Спасибо!

А на другой день утром меня вызвал Баженов с тем самым списком вопросов, который я готовил для него.

— Посмотрим, как получилось? Вот в списке был вопрос: «Об использовании кормовых угодий в колхозе «Маяк». Понятно! Можно вычеркнуть!

Одни вопросы вычеркнули, для обсуждения других появился новый материал, третьи стало возможным объединить. В общем список мой заметно сократился.

— Константин Сидорович,—спросил я у Баженова,— как вы нашли этот вопрос — о клевере? Как узнали, что за ним кроется? Ведь такой, кажется, небольшой, незаметный, обычный вопрос. Потом — вы же недавно в районе — когда вы узнали об отношениях между Кубриным-председателем и Рудашовым? Между Кубриным-бригадиром и Марией Трофимовной?

Вместо ответа Баженов сам спросил меня:

— А знаешь, что мы обсудили вчера? Одну-единственную строчку из производственного плана колхоза: «Посеять трав столько-то». Понятно?

И я вспомнил страницу производственного плана колхоза, на которой напечатана эта строка.

Потом Баженов снова посадил меня на диван рядом с собой и сказал:

— Вот что, товарищ дорогой, нужно поехать в колхоз «Маяк». Не откладывая. Решение приняли, начало положено, надо продолжать. Там, в колхозе, будет еще

Черезов из инструкторской группы Белореченской МТС, может быть, и зональный секретарь — дела всем хватит. Надо наладить работу парторганизации. Помочь Кубрину-бригадиру, Кубрину-председателю. Я несколько дней провел в «Маяке», а там много надо поработать. Мне не хочется сейчас свои соображения вам выкладывать — преждевременно... Лучше так: встретимся в колхозе и свои впечатления сопоставим...

В колхоз «Маяк» я добрался поздно вечером.

В правлении была только одна дежурная — женщина средних лет в пестрой косынке. На плечах у нее была накинута ватная телогрейка, хотя она и сидела рядом с печью, натопленной так жарко, что я сразу же принялся снимать с себя шарф и расстегивать полушубок. Встретила меня дежурная строго, узнала, зачем я и откуда, надолго ли приехал, а узнав, усмехнулась:

— Это вы, верно, насчет клевера приехали?

Я удивился такой осведомленности, а дежурная продолжала рассказывать, что сегодня председатель три раза звонил насчет семян клевера, причем один раз вел переговоры с какой-то ученой женщиной, которая долго «водила» Кубрина, но потом обещала ему посодействовать, что Константин Сидорович Баженов все клеверище исходил вдоль и поперек, когда был в колхозе, и даже дала некоторые комментарии недавнему заседанию бюро, так что я понял, что в колхозе об этом событии много разговоров. Рассказав обо всем, женщина спросила, правда ли, что райком возьмется за их колхоз «как есть со всех сторон»? И говорила и спрашивала она меня об этом как-то очень просто, будто мы давно-давно были знакомы.

Я ответил, что об этом лучше знает первый секретарь райкома, а она внимательно посмотрела на меня и ответила сама себе:

— Это очень видать, что товарищ Баженов взялся. Так ведь он не один, поди-ка, в райкоме?

Нужно было поддержать прерванный разговор, и я, в свою очередь, спросил:

— Хозяйство у вас большое, задач много, так неужели все сводится к клеверу? Видно, в колхозе только об этом и разговор?

— Так ведь он-то, Баженов, чай, не сам выдумал клевер,— заговорила дежурная, как будто очень всерьез заподозрив меня в том, что я не согласен с секретарем райкома.— Не сам выдумал! У нас тут какие шли

споры! Одним нужны деньги за клеверные семена, а трава хоть бы и совсем не росла, другие доказывали, что раз траву сеем, то траву и убирать должны, потому что кормов у нас нет; еще доказывали, что вообще есть закон не сеять клевер. А как решить? Вот он, секретарь ваш, видит интерес у людей и зацепился за этот интерес, чтобы, значит, потом и ко всему хозяйству с умом подойти. В доме-то как бывает? Начнешь один угол скрести, а потом уже дым коромыслом на всю избу, и покуда все до соринки не выметешь, все убираешься... Тут, видать, такое же дело...

— Кем вы работаете в колхозе? — спросил я.

— Да никем.

— Как это? Ну, кладовщица вы, учетчица, член правления?

— Так вот я же и говорю вам: нет у меня должности! Работаю в полеводстве — и все. Фамилия у меня — Фирсова. Кубриных у нас полдеревни, а Фирсовых — мы одни только и есть...

Немного спустя я шел ночевать к Кубрину-бригадиру. Было уже совсем темно, падал густой снег. Я шел и вспоминал, что совсем еще недавно, когда мы провожали Савостина, я думал, будто не смогу без него как следует проводить в колхозах работу. И вот встретил я сейчас только одну рядовую незнакомую колхозницу, и не я ей, а она мне говорит о новом секретаре райкома, даже объясняет его действия и намерения.

Я вспомнил, как искал в пыльных протоколах вопросы для постановки в райкоме, как спрашивал у Баженова, почему он занялся клевером. Я теперь сам понял, что вот так в работе с людьми, в спорах с ними, в изучении их дел возникают вопросы, которые надо решать, и что смелость к Баженову приходит от насущных потребностей жизни.

Мне казалось, будто завтра и я обязательно найду что-то такое очень необходимое для разумного хозяйствования в колхозе, завтра с утра у меня будут встречи и передо мной люди поставят трудные вопросы и сами же помогут их решить.

БОБ

Рассказ

Давно, лет двадцать пять — тридцать назад, на биологическом факультете Н-ского университета произошло одно событие.

Событие это было совсем незначительным, но все-таки на какое-то время оно вызвало всеобщее недоумение.

В самом конце июля, вскоре после выпускного факультетского вечера, стало известно, что при университете из числа выпускников оставлен... Боб...

Человек, носивший это напрочно, навсегда приставшее к нему прозвище, уже в то время был немолод — ему перевалило на четвертый десяток. Хотя он имел рослую и в общем-то видную фигуру, самой заметной деталью его облика все-таки была прическа бобриком из каких-то пегих, неопределенного цвета волос.

Всякий раз, когда на факультете начинались экзамены и Боб усаживался за стол профессора с экзаменационным билетом в левой руке, правой он вынимал из бокового кармана серого полувоенного слегка потрепанного френча миниатюрную расческу в серебряной оправе и несколькими неторопливыми, уверенными движениями приводил в полный порядок строй пегих коротких и упругих волос на своей голове.

Затем, не дожидаясь приглашения, он нащупывал локтем точку опоры на профессорском столе, сжимал пальцы в кулак и, опираясь на этот кулак уже седеющим виском, начинал говорить.

Голос у него был неторопливый, сильно глуховатый и с такой своеобразной интонацией, которая все время заставляла слушателя ждать, что вот сейчас, сию мину-

ту, сию секунду будет произнесена та самая сокровенная суть, ради которой люди ведут разговор и этим разговором намерены друг друга порадовать, подбодрить, чем-то обогатить. Экзаменатор и ждал этой сути, ободряюще и даже дружески кивая.

Проходило пять, десять минут, и экзаменатор терял нить рассуждений уже немолодого, рослого и такого скромного студента. На мгновение экзаменатор задумывался о предмете постороннем, о том, например, сколько студентов за сегодняшний день уже сдало экзамены и сколько еще осталось, или же вспоминал, что нужно обязательно позвонить жене, сказать, чтобы не ждала к обеду, хотя не далее как вчера он обещал никогда больше не опаздывать. И в этот самый момент глуховатый, размеренный голос умолкал.

Экзаменатор начинал смотреть в потолок, тщетно пытаясь вспомнить, чем же студент завершил свои рассуждения по данному вопросу.

Из-под белесых ресниц на него в это время глядели тоже белесоватые глаза. Эти глаза и все лицо — слегка морщинистое, очень серьезное, под высоким лбом и пегим бобриком — отражали добродушную усталость славно поработавшего человека.

— Н-да...— произносил экзаменатор.— Так... так... Ну что же, отвечайте на следующий вопрос! — И, внутренне подтянувшись, давал себе слово слушать студента внимательно, ничего не пропуская.

Глухой голос снова наполнял кабинет ожиданием чего-то значительного, потом эта невысказанная значительность утомляла внимание, профессор снова вспоминал о том, что нужно позвонить жене, вспоминал, кажется, на одно только мгновение и тут же наталкивался на добродушное, очень серьезное лицо изрядно уставшего и замолчавшего от усталости человека... В белесых глазах был теперь упрек.

— Н-да... Так... Ну, что же, отвечайте на следующий, третий вопрос!

Обычно Боб получал на экзаменах «четыре». Он поднимался со своего места, разглаживал бобрик расческой, неторопливо собирал бумаги, улыбался и уходил. Улыбка была значительной, но неопределенной,— ее можно было понять и как душевный упрек студента себе за то, что он не ответил на «отлично», и она же выражала недоумение: почему все-таки экзаменатор был невнимателен?

Студенты однокурсники не любили Боба и не скрывали своего отношения к нему.

Профессора и преподаватели, если разговор между ними случайно касался Боба, слегка растерянно и както неопределенно пожимали плечами и вздыхали.

Неопределенное отношение преподавателей к немолодому студенту продолжалось до тех пор, пока он не перешел на четвертый курс. На четвертом курсе был экзамен по самому обширному разделу зоологии, и вот тогда-то завкафедрой, кандидат в члены-корреспонденты Академии на ближайших выборах, профессор Карабиров, небольшого роста, злой, вспыльчивый человек, совершенно определенно высказался вдруг в деканате:

— Беспозвоночный грызун! — сказал Карабиров.— Из каждой дисциплины знает по две страницы. Две — из Тимирязева. Две — из Дарвина. Две— из Мечникова. Знает, правда, твердо, наизусть. И представьте, этого, оказывается, вполне достаточно, чтобы учиться на нашем заслуженном биофаке, имея в матрикулах вполне приличные оценки!

Можно было подумать, что слова эти были сказаны Карабировым в пику своему извечному противнику — декану.

Деканом был еще сравнительно молодой в то время профессор — геоботаник с русским именем и греческой фамилией — Иван Петрович Спандипандуполо. Карабиров уверял, будто такая фамилия подтверждает, что еще в процессе эмбрионального развития ее владелец потерял всякий здравый смысл.

Спандипандуполо имел правилом не оставаться в долгу перед Карабировым, но в тот раз, когда речь зашла о Бобе, неожиданно для всех промолчал. И все поняли тогда, что зоолог обязательно зарежет Боба на экзамене, и облегченно вздохнули: надо же было кому-то одному сделать то самое, что давным-давно должны были сделать многие...

Короткое молчание, воцарившееся в темноватой, узкой и высокой комнате деканата, теперь недвусмысленно объяснило отношение преподавателей к студенту, которого все звали не по фамилии, а по краткому прозвищу — Боб.

Однако же для Боба это вовсе не было началом конца его ученой карьеры, как можно было тогда подумать.

Действительно, «беспозвоночный грызун» ходил сдавать экзамены по зоологии два раза и оба раза провалился. Потом он заболел. Потом ввиду болезни перенес экзамены на следующий год обучения. Все это было обычным для такого случая ходом дела, и декан уже собирался издать приказ об отчислении или хотя бы о годичном отпуске Боба, как вдруг этот Боб принес для регистрации у секретаря факультета отметку по зоологии: «четыре»!

Разумеется, при первой же встрече Спандипандуполо не преминул спросить у Карабирова:

— Я слышал, коллега, ваш любимый ученик — извините, забыл фамилию — блестяще сдал вам курс?

Не уточняя, о ком идет речь, по одному только слишком любезному тону декана Карабиров понял намек, выскочил из старого кожаного кресла, в которое он всегда усаживался, бывая в деканате, и стукнул об это кресло кулаками:

— А что я могу сделать? Что я могу сделать, спрашиваю я вас? Кто пропустил грызуна вплоть до последнего курса университета? Кто? Это могли сделать только учителя, достойные своего ученика! Только они! Не я! Я тут ни при чем! Нет!

Маленький злой Карабиров снова опустился в глубокое кресло, из которого торчала теперь одна его серенькая, растрепанная и тоже сердитая бородка, и замолчал. А спустя некоторое время вдруг донесся тихий, необычно мирный для Карабирова голос:

— В конце концов, теперь наше дело — выпустить его. Выпустить, выпустить!— Из кресла показались руки, почти что вежливо, но настойчиво отталкивающие кого-то прочь.— Выпустить! Если бы он был еще потупее! Совсем, совсем немного потупее... Но он же имеет все-таки в черепной коробке что-то, что так или иначе позволяет ему кончить... Редко, очень редко, но все-таки встречаются люди с еще меньшими способностями и с университетским дипломом. Мы их тоже выпускали когда-то.

И снова декан Спандипандуполо не воспользовался случаем, чтобы уколоть Карабирова, давным-давно надоедавшего всему профессорско-преподавательскому составу своими дерзостями. Наоборот, так же, как и в тот раз, когда Карабиров дал понять, что он «зарежет» Боба, теперь снова все почувствовали облегчение. Действительно, осталось немного — выпустить человека. И

менее. Ведь в самом деле, бывали же студенты и еще слабее. Случалось. Этот как-никак, а получает четверки, бывают же и такие, что перебиваются с двойки на тройку.

И вот стало известно, что Боб оставлен при университете.

Июль, когда это произошло,— безлюдный месяц в вузах: заведующие кафедрами и деканы в отпуске, студенты — на практике и на каникулах.

Единолично бодрствует на своем служебном посту ректор, да еще приемная комиссия осаждается абитуриентами, родителями и покровителями абитуриентов.

Но когда в конце августа, накануне нового учебного года, Карабиров сверял свою выписку лекций с факультетским расписанием, которое занимало почти всю боковую стенку старинного шкафа, стоявшего в деканате, он вдруг заметил, что практику по ботанике у студентов-зоологов ведет новый ассистент Коробко.

«Коробко, Коробко?! Так ведь это же и есть тот самый студент, которого все и всегда называли кратким словом Боб! Он?!»

Карабиров бросался в партком, в кабинет ректора, в учебную часть, чтобы протестовать, чтобы оградить честь университета.

Никто не спорил с Карабировым, никто не возражал ему в принципе. Но дело было сделано, и не находилось юридических оснований отчислять только что зачисленного ассистента.

— К тому же,— напоминали Карабирову,— вы, профессор, тоже в свое время, кажется, неплохо оценили знания Коробко?

Возмущен был не один Карабиров.

Секретарь комсомольского комитета сказал ректору, что это очень странно — странно и даже обидно для студента — видеть перед собой Коробко в качестве учителя. И так же, как Карабирову, ректор не возражал секретарю. Ректор потер лоб и сказал:

— Действительно, этот человек был у меня. Говорил. О склонностях. О готовности. О призвании. И, знаете, в общем оставил положительное впечатление... Должен признаться, я ни с кем не посоветовался. Подождите, кажется, я звонил своему проректору... Вот именно. Побывайте-ка у Андрея Федоровича. Побывайте!

Андрей Федорович тоже вспомнил посетителя, который производил положительное впечатление, говорил о

[illegible], [illegible]ностях и готовности... И не только го-[illegible] — в его личном деле не было абсолютно никаких [illegible]. Зато в натуре чувствовалась уверенность, [illegible]. Еще был звонок от ректора, и звонок, как он понял, в доброжелательном смысле.

Расписания, отчеты и планы, собрания, кампании, споры между научными работниками и многое, многое другое, что называется учебным годом, уже вскоре вступило в свои права, и о таком странном, но в общем-то незначительном событии, как зачисление Боба на должность ассистента, перестали говорить.

Работа Карабирова по изучению пушных промысловых получила широкую известность, была переведена на многие языки, а сам Карабиров при блестящих результатах голосования прошел в члены-корреспонденты Академии, но вскоре после этого, наблюдая в тайге за миграцией соболя, жестоко простудился и умер.

Однако он все-таки успел написать язвительное письмо Ивану Петровичу Спандипандуполо, в котором пытался изложить все обвинения, веками выдвигаемые зоологами против ботаников.

Но Спандипандуполо всегда считал притязания зоологов несостоятельными, а в тот момент он был поглощен идеей о дождевых червях. Он заметил взаимосвязь между расселением некоторых растительных формаций и жизнедеятельностью дождевых червей. Нужно было вмешательство почвоведов, чтобы подтвердить и обосновать эти наблюдения. Почвоведы же наотрез отказались заниматься червями, и Спандипандуполо не оставалось ничего другого, как самому вторгнуться в новую для него область. Он и не преминул это сделать со свойственной ему энергией.

— Прекрасно! Прекрасно! — восклицал этот потомок Аристотеля, вздымая руки над своим тощим, длинным телом, и слегка проглатывая звонкие гласные.— Это верно, сейчас у меня есть только один единомышленник — в далеком городе Алма-Ате. Но вскоре, поверьте, наши взгляды будут разделять тысячи! Да, нас будут тысячи, и тогда мы докажем великую роль дождевых червей и ничтожество тех почвоведов-консерваторов, которые пренебрегают червями как биологическим фактором!

Несмотря на эти, полные надежд пророчества, в университете было отмечено снижение жизненного тонуса Спандипандуполо. Говорили, что для поддержа-

из этого тонуса всегда требовалось язвительное вмешательство Карабирова.

И это была правда... Не только Спандипандуполо — весь факультет почувствовал, как не хватает чего-то и, если поразмыслить, не хватает тех самых дерзостей Карабирова, за которые его так недолюбливали при жизни.

Одну из примет подступающей к Спандипандуполо старости можно было увидеть еще и в том, что профессор стал вдруг стесняться Коробко.

Когда в длинных и сумрачных коридорах старинного университетского здания сталкивались две фигуры — гибкая, высокая и тощая Спандипандуполо и тяжеловесная, медлительная, с дубовой палкой в правой руке Коробко,— тощая фигура проявляла признаки замешательства, смущения и обычно стремилась исчезнуть как можно быстрее.

Напротив, фигура тяжелая ставила палку себе за спину, опиралась на нее, потом свободной рукой попридерживала шляпу на уровне плеча, затем опускала эту шляпу вниз и закидывала ее опять же назад, за спину, а потом долго еще стояла в этой позе, неподвижная и строго-критическая. Прежде чем продолжать свой путь, фигура произносила обычно: «Ничего особенного...» — и пожимала плечами.

Никто, кажется, не помнил, чтобы в облике Коробко-студента, которым он был еще не так давно, замечалось столько медлительной и уверенной солидности, но каждый невольно вспоминал, что признаки этой солидности присутствовали в нем всегда и вовсе не являются чем-то неожиданным.

Свой строгий и критический вид Коробко сохранял не только при встречах с деканом. Если не полностью, так отчасти строгость не покидала его даже при встречах с ректором, в разговоре с представителями Министерства высшего образования, с самим министром, когда однажды министр, посетив университет, заглянул на кафедру, где работал Коробко.

И только один раз за много лет массивная фигура дрогнула, и видно было, как она хотела остаться незамеченной, уйти куда-нибудь, исчезнуть и как это не удалось ей.

Это случилось года через три после вступления Коробко в должность ассистента, когда в коридоре второго этажа он увидел Вадьку Кузнецова.

Вадька сидел на подоконнике точь-в-точь так же, как он сидел на нем три года назад, когда был еще студентом: свесив одну ногу и согнув в колене другую.

Размахивая руками, Вадька болтал со старшекурсниками, которые, конечно, хорошо помнили его.

Завидев Коробко, Вадька соскользнул с подоконника, изумленно уставился на него сразу поглупевшими глазами и воскликнул:

— Боб! Бобер! Это ты? Если это ты, скажи, что ты здесь делаешь с такой большой дубиной?

Коробко ответил, что сейчас ему очень некогда, но он просит однокашника зайти к нему на кафедру для серьезного разговора, ну хотя бы через четверть часа. Обязательно!

Уходя, Коробко слышал, как студенты что-то шепнули Вадьке и как Вадька проговорил тихо, но с еще большим изумлением:

— Бобер? Боб? Да не может быть! Вы что же, ребята, разыгрываете, что ли?

На кафедре Коробко поставил дубовую палку в узкий промежуток между письменными столами, но не пожаловался, как обычно, на одышку лаборанту, а сел и, взявшись обеими руками за голову, молча просидел так четверть часа.

Он уже все понял, все знал.

Знал, что Вадька Кузнецов вернулся из полярной гидробиологической экспедиции и привез с собой богатейший материал по водорослям, которыми он занимался еще студентом. Знал, что Вадькиным материалом заинтересуются в университете и что теперь-то Вадьку — этого общего любимца, весельчака и неизменного отличника — обязательно оставят при какой-нибудь кафедре. Знал, что уже через три-четыре года Вадька будет доцентом, а еще лет через восемь-девять профессором. Знал даже, что Вадьку назначат деканом биологического факультета вместо Спандипандуполо, который довольно скоро совсем уже состарится, и если не был в этом назначении уверен бесповоротно, так только по одной причине: может быть, Вадька сразу станет проректором по научной работе.

И, уже зная все это, Коробко послал лаборанта за Вадькой.

Нужно было сегодня же, сейчас же, не откладывая ни минуты, встретиться. Встретиться, чтобы раз и навсегда оговорить отношения между ними. Быть может,

Вадька нагло засмеется и оскорбит научного работника Коробко, оскорбит до глубины души так, что придется уйти из университета, может быть, но раз Вадька здесь, другого выхода нет — только объяснение.

Прислушиваясь к шагам за дверью кафедры, вздрагивая и передвигая палку в узкой щели между столами, Коробко с поражающими его самого подробностями вспомнил, как Вадька, бывало, щелкая себя по лбу указательным пальцем, потом сгибал этот палец в знак вопросительный и спрашивал:

— Ну как, Боб? Твой органон отмечает здесь какое-нибудь шевеление? Отмечает! Тогда фиксируй! Фиксируй — тебе все пригодится! Все, все!

Карабиров, будущий член-корреспондент, приводивший в замешательство весь факультет,— этот Карабиров был ничто по сравнению с Вадькой, с его презрительным, совершенно мальчишеским, но все понимающим взглядом!

Дверь скрипнула, Коробко почувствовал, что вот сейчас, сию секунду ему предстоит броситься куда-то головой вниз, куда — он и сам не понимал, но уже нет больше времени, чтобы подумать, взглянуть вокруг себя, открыть глаза.

Вернулся лаборант и сказал, что Кузнецов обещал прийти, но не сейчас. Сейчас он сидит на подоконнике, а вокруг него собралась большая толпа студентов.

Еще дважды Коробко посылал лаборантов за Кузнецовым, и Кузнецов обещал прийти и не приходил.

На другой день Коробко явился в университет за час до первого звонка, хотя была пятница, а по пятницам в текущем семестре у него не было занятий со студентами.

Потом он ждал Кузнецова в субботу, в понедельник, во вторник, снова в пятницу...

Стояла осень в начале. Накрапывали дожди. Они смывали желтую листву с деревьев, текли по обнаженным сучьям, по трещиноватой серой коре стволов, по лицам и одноцветной осенней одежде прохожих, шуршали в водосточных трубах, по мостовым и панелям городских улиц.

Погода никогда не действовала на нервы и настроение Боба, никогда прежде ему не случалось почувствовать тоскливые напевы осенних дождей, не замечал он и радостного звона вешних вод. Но теперь впервые в жизни его охватило нетерпеливое желание, чтобы осень, эта

бесконечная, отравленная Вадькой Кузнецовым осень, кончилась как можно скорее, чтобы кончился ее почти беззвучный и упрямый шелест, чтобы настала наконец зима.

Ему казалось, что с наступлением зимы должна наступить и развязка — должен произойти разговор между ним и Вадькой Кузнецовым.

И зима наступила, и в тот самый день, когда выпал первый снег, Вадька был зачислен в университет на кафедру гидробиологии, но встреча опять не состоялась.

Коробко ждал теперь конца зимы, потом он ждал лета, снова ждал конца осени. И так много, много лет. Очень много...

Несколько раз в неделю доцент Коробко бывал в гербарии. Вооружившись лупой и определителями растений, он выполнял здесь план своей индивидуальной научно-исследовательской работы, а затем беседовал с хранительницей гербария Поливановой.

Профессор Поливанова, седая дева в пенсне, происходила из очень известной фамилии русских ученых, была ученицей и верной последовательницей академика Комарова и под его руководством чуть ли не в начале нашего века основала гербарий. Гербарий этот снискал затем известность во всем мире полнотой представленной в нем флоры и безупречно четким порядком.

Коробко раскланивался с Софьей Германовной, справлялся о здоровье, долго и подробно жаловался на собственную одышку, а затем, снова обращаясь к собеседнице, спрашивал ее, как двигается ее работа.

— Вы, Софья Германовна, вероятно, уже сдали в печать том с «Бобовыми»?

Софья Германовна почти всю сознательную жизнь работала над своим поистине колоссальным трудом «Флора Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока» и на вопрос Коробко ответила с едва приметной удовлетворенной улыбкой:

— «Бобовые» уже в наборе.

— И вы, Софья Германовна, не отметили у остролодочника новых, не известных до сих пор форм? — по-прежнему улыбаясь, продолжал спрашивать Коробко.

— Нет... Не отметила. И, как мне кажется, в этом нет никакой необходимости. Не так ли? Ведь уже известно более трехсот форм!

— Да? Конечно, конечно... Как будто и в самом де-

ле ничего особенного. А я утверждаю, что новые формы имеют здесь место. Хотя бы в строении лепестка. И не одна форма, я утверждаю,— не одна! Я открыл еще четыре, до сих пор не известные формы. Хотите, я сейчас докажу вам это на тех самых экземплярах растений, которые вы сами собрали в Сибири? Я знаю, в чем я прав.

— О нет, нет! — горячо возразила Поливанова, наклоняясь к столу и закрывая старческой грудью корректуру очередного тома «Флора Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока».— Нет, с этим нельзя, невозможно согласиться! — Взгляд ее остановился на зеленоватом с блестками камне, которым она обычно придавливала бумаги. Она подняла этот камень с бумаг, как бы из желания замахнуться им, но не замахнулась, а заговорила медленно и тихо: — Вот! Вы видите — медный колчедан! Не так ли? Я не геолог, но думаю, что содержание меди в колчедане не остается строго постоянным, а колеблется в пределах «от» и «до». Не так ли? Однако же никому не приходит в голову подразделять колчедан на отдельные виды в зависимости от содержания в нем меди! Колчедан остается самим собой. Тем более это нужно понять в приложении к живому растительному изменяющемуся миру! Не так ли?

Коробко отвел камень вместе с подрагивающей рукой Софьи Германовны в сторону, камень блеснул из своей близкой, но недосягаемой глубины желтоватыми искрами, а Коробко кивнул и продолжил разговор:

— Да... Да... Конечно. Но мои исследования опровергают некоторые окостеневшие взгляды. Точно. Нельзя пренебрегать. Совсем наоборот: нужна диалектика...

— Кроме того,— еще и еще убеждала Софья Германовна, с недоумением и заметной боязнью глядя в добродушное лицо собеседника,— кроме того, я хочу спросить вас,— может быть, вам удалось установить связь между морфологическими различиями и условиями произрастания? Собирая гербарий, вы, может быть, отметили, что одна форма произрастает в степи, другая — в горах; одна — на черноземах, другая — на подзолах? О, тогда действительно я готова с вами согласиться, более того, поблагодарить вас от всей души и взять том «Бобовые» из типографии для переделки и дополнений! Но если это не так? Если различия только случайны, как случайны бывают, скажем, различия в цвете волос и глаз между родными братьями?

Она слегка приподнялась над стопой корректурных листов, но тут же склонилась к ним грудью, а потом, спустя несколько молчаливых секунд, еще и обняла эти листы сухими, морщинистыми и музыкальными руками.

Коробко никогда не собирал гербария, он считал, что эту работу должны выполнять студенты под руководством начинающих ассистентов, к тому же он страдал одышкой и в своей научной деятельности с успехом использовал гербарий, собранный Поливановой. И он ответил на ее взволнованный вопрос благосклонным кивком стриженной под бобрик головы и проговорил:

— Да, да... Конечно, конечно... На первый взгляд, ничего особенного, а в действительности...

— Но если мы будем подразделять и подразделять,— совсем тихо, но еще более взволнованно, уже глядя куда-то в сторону от добродушного лица Коробко и лежа грудью на корректуре, говорила Софья Германовна,— только подразделять? Разве мы когда-нибудь охватим все разнообразие природы? Невозможно! Не так ли? Схоластическая цель, хотя внешне она диалектична. Так зачем, зачем же и кому это нужно? Кому? И разве мы сможем тогда представить себе систему растительного мира, систему, которая так нужна и сельскому и лесному хозяйству? Нет, не сможем! Не так ли? Бесконечное, беспредельное подразделение явлений и фактов природы не принесет людям пользы! Никогда!

— Может быть, может быть... А знаете ли, дорогая Софья Германовна, я написал в издательство Академии. О результатах своих исследований. О новых, открытых мною формах... Нельзя пренебрегать...

— А я получила на днях извещение — печатание тома «Бобовые» приостановлено...

Молчание длилось, и Коробко пришлось дважды повысить тон, задавая новый вопрос — об эспарцетах.

— Что? — встрепенулась наконец Софья Германовна.— Эспарцеты? У нас имеется целая полка. Много дубликатов. Некоторые собраны лично Владимиром Леонтьевичем (так называла в разговоре покойного академика Комарова Софья Германовна) и отчасти мною. Я очень интересовалась эспарцетами в начале тридцатых годов в связи с организацией в Сибири первых животноводческих совхозов. Это прекрасное кормовое растение, все достоинства которого мы еще далеко не оценили по заслугам...

— А различия?

— Какие различия?

— Как, по-вашему, могут быть в пределах, ну, скажем, песчаного эспарцета такие различия, которые позволят выделить новые промежуточные формы?

— Различия, вероятно, могут быть. Отчего же? Вероятно, их не может не быть...

— Вот-вот, дорогая Софья Германовна! Вот и я думаю точно так же! И я прошу вас — передайте своим сотрудникам, чтобы подготовили эспарцеты ко вторнику. Не забудьте. Запишите, пожалуйста,— ко вторнику мне эспарцеты. Займусь исследованием!

Коробко сделал несколько шагов и вдруг неожиданно остановился, как человек, забывший сказать еще что-то очень важное. Он оглянулся и посмотрел на Софью Германовну все с той же солидной, добродушной улыбкой, но не сказал ничего.

Не сказал ничего, но про себя вспомнил, как профессор Поливанова принимала когда-то от студента Коробко экзамен: она делала это очень торопливо и как-то безразлично, ее длинные сухие музыкальные пальцы, в которых она держала тоненькую ученическую ручку, подписывая зачетную книжку, и те выражали пренебрежение.

Сейчас пальцы обнимали листы корректуры. Они дрожали... А заметив эту дрожь, Коробко промолвил:

— Дорогая Софья Германовна... Да... вот так-то... Будьте здоровы!

И снова не ушел, а остановился около дверей, поставил палку, присел на нее и в этой излюбленной своей позе провел с минуту неподвижно и торжественно, а потом стал поворачиваться на палке и внимательно и строго глядеть вокруг себя.

Поглядел на стеллажи гербария, до самого потолка заполненные коробками, на которых стояли номера и наклеены были снежно-белые этикетки с черным латинским шрифтом. И коробки и этикетки бесконечными правильными рядами уходили в сумрачную даль огромного зала... Потом, чуть наклонившись, заглянул в открытую дверь препараторской — там лаборантки в серых халатах подшивали к серым же листам бумаги растения, привезенные университетскими экспедициями нынешнего года чуть ли не со всех уголков страны. Внимательно рассмотрел на потолке под люстрой старинную лепку. А снова обратив взгляд на Софью Германовну, заметил, что пальцы ее все еще дрожат, и, почувствовав

к Софье Германовне расположение, которого до сих пор у него никогда не было, заговорил вдруг помолодевшим, без обычной глухоты голосом:

— А ведь время-то идет, дорогая Софья Германовна... Идет, идет! Были и мы, представьте, молодыми, не знали забот на научных наших трудах. Да... А время-то идет и ведет нас... И что вы думаете — куда оно привело нас? А? Не догадываетесь? — Он засмеялся, склонил голову к левому плечу и многозначительно произнес: — Шестьдесят, Софья Германовна! Вот-вот стукнет мне шестьдесят! Кажется, ничего особенного? Наоборот, знаменательно! Очень! Юбилей!

«Шестьдесят, шестьдесят, шестьдесят...» — уходя наконец из гербария, задумчиво и как-то вопросительно нашептывал Коробко, будто не совсем доверяя своему собственному шепоту.

И действительно, в том, что доценту Коробко — шестьдесят, была какая-то неожиданность. Уже в студенческие годы он был немолодым человеком, а выглядел еще значительно старше. Зато где-то между сорока и пятьюдесятью он вдруг перестал стариться совершенно и теперь казался гораздо моложе своих лет. Чему он был обязан этой особенности своей внешности — трудно сказать, вероятно, пегому, бодрому, аккуратному и неседеющему бобрику на голове и еще той значительности, которая всегда присутствовала в его фигуре.

Он любил значительность, исходившую от него не только в общении с людьми, но и наедине с самим собою. Нередко раздумывал он о своем жизненном пути, и тогда ему казалось, будто каждый его шаг, каждый поступок что-то такое отражает, чем-то обязательно должен быть знаменит, а если и остался неизвестен людям, так только по какому-то недоразумению.

И, чувствуя себя одним-единственным хранителем своих собственных заслуг и достоинств, он, хотя и страдал одышкой, все-таки охотно позволял переполнявшим его чувствам распирать ему грудь.

Между тем в ученой карьере Коробко отнюдь не было ничего значительного.

Когда ректор составлял годовой отчет о работе университета и писал, что: «Наряду с достижениями у нас имеются еще серьезные недостатки... Все еще слабо ведут научно-исследовательскую работу и проводят занятия со студентами на недостаточно высоком идейном и научном уровне товарищи...», ничуть не задумываясь,

он проставлял далее фамилию «Коробко» и только после этого начинал звонить деканам:

— Кто там у вас подойдет под порицание? Факты? А зафиксированы эти факты в протоколах ученого совета? А общественность подтвердит?

Но вот где-то между пятнадцатым и двадцатым годами своей научной и педагогической деятельности Коробко положил на стол ректора довольно полную, хорошо оформленную, тисненную золотом папку.

Нащупав локтем точку опоры на ректорском столе красного дерева и расчесав пегий бобрик, Коробко сказал:

— Спасибо... Помогаете... Очень помогаете критическими замечаниями... Вот и удалось в меру сил... Диссертация на соискание...— Коробко серьезно и грустно взглянул на ректора.— А как же с кандидатскими экзаменами? Перед вами — не мальчик. Возраст. И вы должны помогать не только критикой. Если бы в высшую аттестационную комиссию просьбу об освобождении? От экзаменов?

В звании доцента аттестационная комиссия Коробко, правда, отказала: у него не было печатных работ. Хотя Коробко всегда выступал с докладами на конференциях, однако случалось обычно так, что доклады его в «Труды» этих конференций не включались, и только в списках, среди перечня лиц, «принимавших участие», значилась его фамилия. И все-таки после защиты диссертации он был уже неоднократно отмечен как «растущий», а имея должность старшего преподавателя и степень кандидата наук, в зарплате приравнивался к доцентам со стажем работы свыше десяти лет.

Видимо, это последнее обстоятельство и побудило Коробко окончательно отказаться от букв «и. о»., и он стал подписываться просто: «Доцент Коробко».

Как доцент он вел теперь самостоятельный курс.

Аудитория, в которой доцент Коробко читал лекции, была вдалеке от кафедры — в противоположном конце коридора, а все простенки были заняты там портретами великих ученых. Несколько ниже портретов висели розовые листы бумаги, одинаково продолговатые, одинакового размера, и через пульверизатор эти листы были покрыты мельчайшими каплями золотистой и серебряной краски. На розово-серебристо-золотистом фоне черной тушью выписаны цитаты из трудов ученых.

Цитаты были длиннее или короче, и в зависимости

от этого мельче или крупнее были прямые, четкие буквы, заполнявшие листы от верхней до нижней кромки.

Время от времени портреты и цитаты исчезали, случалось, что они вновь уже во второй раз занимали прежние места, но всегда было известно, что портреты исполнены сыном Коробко — Коробко-младшим, студентом все того же биофака, которого однокурсники звали не по фамилии, а по прозвищу — Бобик, и что рамки, обрамляющие портреты, сделаны лично Коробко-старшим в университетской столярной мастерской.

Обычно портретами занимались в семье Коробко в субботние вечера в начале каждого учебного года.

Коробко-младший расчерчивал на репродукции портрета квадратики размером три на три сантиметра и точно такие же — на чистом листе ватманской бумаги, производил их нумерацию и там и здесь, а затем тщательно копировал все линии портрета из одного квадрата в другой.

По окончании работы репродукции рвали, а на листе с копией создавался фон — тени над головой и плечами. Коробко-старший, даже если в этот творческий вечер он был занят в университете, и тогда старался прийти домой пораньше. В прихожей обычно встречала его жена. Маленькая, состарившаяся гораздо раньше мужа, она помогала ему снять пальто, обмахивала пальто щеткой и вешала в прихожей, палку же, шляпу и большой коричневый портфель Коробко уносил к себе в кабинет.

Пообедав, Коробко усаживался рядом с сыном. Тут и начинался неторопливый разговор.

— Вот был Карабиров. Злой, дерзкий человек. Это факт. А все остальные? — Коробко делал паузу, замолкал, резко пожимал плечами.— Ничего особенного!

Коробко-сын кивал, морщил лоб, вместе они соображали, точно ли перенесена из квадратика в квадратик ломаная линия уха или носа копируемого портрета, потом Коробко-отец продолжал разговор:

— Всегда знать, в чем ты прав. Спандипандуполо — про него еще покойничек Карабиров говорил, что, не родившись, он уже потерял всякий здравый смысл. Фантазер! И больше ничего. Ничего особенного!

Слова «ничего особенного» произносились по-разному: в адрес Карабирова — со злостью и даже с некоторым волнением, в адрес же Спандипандуполо — презрительно, почти добродушно.

— На факультете спор...— рассказывал Коробко.—

в связи с вейсманизмом-морганизмом. Все друг на друга... Оскорбления даже. Конечно, нужно проработать, поговорить. Нужно знать, в чем ты прав. А они? Года два пройдет — вылупят друг на друга глаза: кто кого и за что бил? И опять — ничего особенного. Была беседа с Поливановой Софьей Германовной. Я твердо знал, в чем я прав, и она как ни оправдывалась — не оправдалась. Не смогла.

Появился младший сынишка, взглянул на портрет:

— Папочка, это кто?

— Чарлз Дарвин, сынок...

— Папочка, скажите, пожалуйста, что изобрел Чарлз Дарвин?

— Чарлз Дарвин — великий человек, написал книгу «Происхождение видов». Подрастешь — узнаешь... Дойдешь до девятого класса и все, что нужно, узнаешь. Не мешай нам.

Мальчуган ушел, Коробко продолжал размышлять:

— Великий был человек Дарвин, обеспеченный был человек. Родители обеспечивали все необходимые условия для научной работы — корабль, дачку. Можно было точно соблюдать режим рабочего дня. Если разобраться — чего особенного? К тому же — антимарксист. Имеются сведения — вернул Марксу книгу с автографом.

За вечерним чаем вся семья внимательно слушала рассказ отца о себе: о его планах, о его трудах. Говорили, что когда выйдет большой труд Коробко-отца, он обязательно посвятит его сыну, а когда будет опубликована первая работа Коробко-сына, он напишет на ней посвящение отцу. В комнате воцарялось глубоко переживаемое всеми ощущение значительности.

Однако не всегда это ощущение сопутствовало Коробко-старшему, не всегда его воодушевляло...

Вдруг охватывала его беспричинная тревога, начинало казаться, что сильно постаревший, отчасти уже дряхлеющий Спандипандуполо поставит целью перед своей смертью уничтожить его, Коробко.

Такой, какой он есть сейчас, Спандипандуполо ничуть не страшен, но вдруг этот человек потерпит полнейший крах с идеей о значении дождевых червей в почвообразовательном процессе и, отчаявшись, захочет на ком-нибудь выместить свои неудачи? Или, наоборот, Спандипандуполо будет признан во всех без исключения сферах, войдет в силу и ни за что ни про что, между делом, возьмет и уничтожит Коробко?

И Коробко беспокоился и не знал, что лучше: чтобы Спандипандуполо начисто провалился со своими дождевыми червями или чтобы он возвысился с ними, чтобы он скорее умер или чтобы дольше жил?

А профессор Поливанова... Дрожала перед ним, а ведь у нее связи, знакомства.

А Вадим Кузнецов? Вадим Иванович Кузнецов?

В нем действительно не было ничего особенного, никаких странностей, но именно о нем Коробко даже самому себе не мог сказать: «ничего особенного».

Он не мог сказать так о Кузнецове и всегда ждал от этого очень деловитого, очень занятого, слегка прихрамывающего после ранения на войне человека, что тот вдруг вытаращит глаза и громко, при всех, спросит:

— Бобер! Наблюдается ли в твоей черепной коробке шевеление?

Годы шли в ожидании подобного удара, долгие годы.

С пристальным вниманием следил Коробко за этим человеком, за всеми его поступками, за всем тем, чего этот человек достиг и в чем он ошибался, и даже когда Кузнецов отсутствовал в университете — когда он уезжал в экспедицию, когда был в отпуске, когда воевал,— Коробко думал о нем каждый день и каждый день подбирал все новые и новые слова и фразы для разговора, который рано или поздно должен был состояться между ними.

Первоначальный замысел этого разговора, возникший в тот страшный день, когда Вадька Кузнецов сидел на подоконнике, свесив одну ногу и согнув в колене другую, а он, Коробко, сжимал голову обеими руками у себя на кафедре,— тот давний замысел изменился, совсем исчез. Другие слова нужны были теперь Коробко для объяснения с Кузнецовым, но случая для этого объяснения он ждал все с тем же неослабевающим волнением.

Но вот — шестьдесят. Наступил юбилей. Наступил этот случай.

В канун выходного дня после семи часов вечера деканат опустел, а еще немного позже притихли и длинные сумрачные коридоры.

Декан Вадим Иванович Кузнецов, должно быть, один только и бодрствовал в эти часы, составляя переходной учебный план для третьего курса.

Сначала дело как-то не клеилось, потом пошло довольно быстро, а спустя еще некоторое время Кузнецов вдруг подумал о том, что на его памяти ни один выпуск биологического факультета не закончил полного курса без переходных планов. То и дело менялись программы, число часов на каждую дисциплину и сами дисциплины, а значит, менялись и планы.

«Все течет, все изменяется,— подумал со странной какой-то грустью Кузнецов.— Даже планы».

Вынул из стола папку и перебрал письма — из Исландии и Канады, из Норвегии, Дании и Англии, из многих стран.

В тишине огромного университетского корпуса, в одиночестве, нынче можно было как-то особенно глубоко почувствовать людей, о которых не имеешь никакого внешнего представления, но которые так же, как и ты сам, видят водоросли полярных морей во сне и так же мечтают об экспедициях в высокие широты.

Сквозь небольшое оконце деканата, которое с улицы было очень похоже на луковицу корешком вверх, а изнутри было просто круглым, проникал вечерний свет, окрашенный множеством красок. Краски, однако, были едва-едва заметны, но все-таки почему-то казалось, будто этот вечерний свет стекался сюда отовсюду, со всей земли — из Заполярья и южных широт, с востока и с запада и приносил с собою приветствия тех, чьи письма лежали на столе перед Кузнецовым.

Прежде чем снова приняться за составление переходного плана, Кузнецов почему-то вспомнил своего любимого героя — Василия Теркина, закинул руки за спину и, чуть прихрамывая, стал ходить из угла в угол.

Скрипнула дверь.

Кузнецов занял свое место за столом.

Вошел доцент Борис Никонович Коробко... В его фигуре сегодня присутствовала особая торжественность.

С этой торжественностью он поклонился, с нею же выразил желание поговорить с деканом и сел сбоку от стола, в старинное кожаное кресло, в котором сиживал когда-то Карабиров. Не сразу поставил локоть на стол, а когда поставил, заговорил:

— Простите, Вадим Иванович, простите... Понимаю — мне не совсем удобно об этом, но ведь итог! Черта! Некий предел — шестьдесят! И вот чувствуется необходимость...

«Слишком скромно отметили юбилей»,— подумал

Кузнецов, подвинул к себе огромный лист переходного учебного плана и сказал:

— Конечно, надо было по-другому, пошире, и приглашения были без портрета, но вот... Вот переходные планы, подготовка к экспедиции будущего года, выпуск трудов. Неотложно, срочно. И к самим себе относимся слишком торопливо. Без должного внимания и понимания. Ну, и еще раз разрешите поздравить!

Кузнецов встал, протянул через угол стола руку и, протягивая, быстро спросил себя: «Лишнее?»

Но его рука была уже в руках Бориса Никоновича... Борис Никонович приподнялся и снова сел, увлекая за собой Кузнецова.

— Поверите ли, Вадим Иванович,— заговорил он,— поверите ли! Сколько лет было намерение — поговорить. Почти тридцать лет! Имел в виду многое сказать... Твердо знал, что сказать, а сейчас... Не надо, ничего не надо, не понадобились те слова. Спасибо! Спасибо вам, дорогой Вадим Иванович!

— Ну, ну, позвольте... Право, вы это напрасно! Больше того, у вас есть причины обижаться на меня. Серьезно обижаться.

— За что? Вадим Иванович, дорогой, за что? Было время — не скрою... Было, было! Помните, вопросы о шевелении... прямо скажу — о шевелении мозгов? — Борис Никонович прикоснулся к своему лбу.— Помните? Верно, уже забыли? Нет, я не забыл, признаюсь прямо и честно! А когда вы после первой экспедиции вернулись в университет, сидели на подоконнике, на втором этаже, одна нога так, а другая вот этак, и я вас увидел, я подумал...— Борис Никонович отпустил наконец руку Кузнецова, а обе свои руки прижал к вискам. Он сидел так, закрыв глаза, с одной подогнутой и другой выброшенной далеко вперед ногой, и, кажется, впервые в этой его позе не было и признака солидности и тем более не оставалось той торжественности, с которой он только что вошел в деканат. Снова открыл глаза и, всплеснув руками, глуховато засмеялся:

— Ах, стоит ли вспоминать?! Хорошо, как хорошо, что вы не пришли тогда ко мне на кафедру и разговор не состоялся! По молодости мы такого могли бы наговорить друг другу! Не знаю, как я, но вы бы мне тогда сказали... Ах, зачем об этом думать теперь? К чему? Даже смешно! Не знаю, как вам, а мне... Мне была испорчена жизнь в науке, это точно! А потом вдруг ви-

— Вадим Кузнецов, который неприлично тыкал в меня пальцем, Кузнецов меня поддерживает!

— Я? Вас? Поддерживаю?!

— Вадим Иванович, не надо! Будьте искренни! В первый раз к седьмому ноября тысяча девятьсот тридцать шестого года мне была благодарность в приказе по университету. Вы тогда были секретарем партбюро нашего факультета. Я думал, это случайность, и ждал. Ждал, что же дальше? Дальше — благодарность в приказе к первому мая тысяча девятьсот тридцать девятого года... Иду в канцелярию, разыскиваю подлинник приказа, там виза замдекана. А замдекана — вы!

— Если помните, я за эти годы и критиковал вас. Серьезно критиковал! И даже ставил вопрос...

— А как же без этого? Тем более все знают: мы — однокашники, из одного выпуска, из одной учебной группы. Так ведь и я — разве я не критиковал вас? Серьезно? И разве не ставил вопросов? Но ведь когда нужно было сделать исключение для преподавателя с большим стажем и освободить его от кандидатских экзаменов, кто составил бумагу в главк? И по поводу представления в доцентуру — кто составил? А все вот это шестидесятилетие? Кто подписал адрес юбиляру? Вот эта ваша благородная рука, Вадим Иванович, это все ее благородное дело. А сейчас вы еще протягиваете мне свою руку! — Борис Никонович привстал навстречу Кузнецову, а тот прислонился к стене.

— И все-таки я хотел бы сказать вам, и вполне недвусмысленно: вы напрасно благодарите меня, товарищ Коробко. Совершенно напрасно.

— Тогда кого же благодарить? Я много потрудился на благо, верно, так ведь человек-то не может быть один? Один служить, один защищать диссертацию, один писать просьбы в главк? Один я бы в науке ни шагу. А с вами... Так кого же я должен благодарить? Спандипандуполо я обязан?

Эта мысль показалась Борису Никоновичу настолько странной, даже смешной, что он не счел нужным опровергать ее на словах, а усмехнулся, как усмехаются самым нелепым вещам, и махнул рукой.

— Отчего же? — удивился Кузнецов.— Иван Петрович Спандипандуполо много сделал для факультета, для всех нас. Быть может, нашего факультета и вовсе не существовало, если бы он в свое время не пришел в университет... Вероятно, так...

— Ах, оставьте!

— Нет, отчего же? Иван Петрович — исключительно широко эрудированный ученый. Энциклопедист и притом со своими собственными и весьма оригинальными взглядами.

— Это — всерьез? — Борис Никонович пожал плечами, что-то хотел сказать, но только повторил свой жест рукой. Потом кашлянул.— Вы знаете, в чем все дело? Нет? Вот слушайте: если бы я только лет на пять раньше окончил университет, если бы раньше уяснил роль науки, я не встретил бы таких трудностей на своем пути. А тогда я, тогда бы мы, Вадим Иванович, да-да, мы — вы и я — мы бы вместе какого-нибудь там Карабирова...

— Карабиров — не какой-нибудь, а мой глубокоуважаемый учитель. Кстати, и ваш тоже. И автор...

— Знаю, знаю! Трехтомник по биологии пушных промысловых.

— Который будет читаться, по крайней мере, еще сто лет!

— Ничего особенного...

— Карабирова нет, и он не может бросить вам дерзость. Он умер. И умер, как редко умирают академики: в тайге, в охотничьей избушке.

— Мало ли что... Ничего особенного. А я вижу ваше благородство, Вадим Иванович! Ваше, и только ваше! Отнюдь не Спандипандуполо, Карабирова или, скажем, Поливановой!

— Софья Германовна — героиня! Я не преувеличиваю: чтобы создать труд, какой создала она, нужно быть героем. И только чтобы мешать таким людям, достаточно быть посредственностью!

Борис Никонович вынул расческу в серебряной оправе. Покуда он приводил в порядок строй пегих, не седеющих волос на своей голове, лицо его вновь приняло торжественное выражение.

— У нас студенты были. И студентки — наши с вами ученики, нами выпестованные специалисты: Кайгородцев, Пузырькова, Шахонин, Сливкин... Помните? — спросил он в ответ.

Фамилии были Кузнецову как будто знакомы, но какие-то безликие. Обычно, если уж Кузнецов вспоминал фамилию студента или студентки, так тут же возникало перед ним и лицо, но сейчас фамилии были, лиц, обликов не было.

— Нет... Не помню.

— Так и знал. Так и был уверен — не помните. Вы, Вадим Иванович, человек, как бы отвлеченный от реальной действительности, в другие времена вас просто можно было назвать идеалистом. Для вас это — не то. Не те люди, не талантливы, а — наоборот. Между тем кто же этот Кайгородцев? Кайгородцев Иннокентий Семенович — он член-корреспондент. Хотя и узкоколейной академии, не самой большой, но член-корреспондент ВАСХНИЛ. И обождите — еще неизвестно, чего он достигнет. Еще неизвестно! А Пузырькова? Доктор медицинских. А Шахонин? Работая в системе высшей школы, нельзя не знать Шахонина. Извините за каламбур — система должна знать своих героев. Обязана! Извините! Конечно, все эти люди не открыли законов всемирного тяготения, но кое-какие законы они утверждают. В действии. А к всемирному тяготению ведь и вы, Вадим Иванович, тоже не имеете близкого отношения! Нет — но простого человека обходите вниманием и памятью. Не надо бы этого. За себя лично упрекнуть вас не могу, даже наоборот, но за других, если подходить критически, упрекнуть вас следует. Дружески, благожелательно, но следует.

Борис Никонович помолчал, заговорил дальше:

— И поймите меня правильно, Вадим Иванович. Я знаю, в чем я прав: я обязан вам. Именно вам. И, как человек, который помнит и родство и добро, в свой юбилей я счел необходимым сказать вам об этом. Без обиняков. Выхожу на пенсию, и не мог не поблагодарить.— Коробко помолчал, хотел, должно быть, еще рассказать что-то о себе, но кончил, привстал и улыбнулся.— Вот так, как с вами, дорогой Вадим Иванович, такой разговор у меня впервые в жизни. Больше ни с кем. Поэтому извините, если выразился не совсем так, как это необходимо. Еще раз — от всей души!

Борис Никонович Коробко ушел — торжественный, строгий, исполнивший наконец свой долг.

Дверь закрылась, стихли шаги в длинном коридоре, а Кузнецов все еще слышал глуховатый голос и видел перед собою белесоватые глаза.

Кузнецов сел, положил обе руки на огромный лист учебного плана и начал внимательно их рассматривать.

Потом опять, прихрамывая, он долго ходил из угла в угол деканата.

ФУНКЦИЯ
Рассказ

Шаламов растянулся на лавке, закинул руки за лохматую, тронутую первой сединой голову, зевнул и сказал вслух:

— Возьму вот и усну... Очень просто... Часика этак три-четыре подряд... Имею право!

Было воскресенье, зимнее утро уже не раннее, клонившееся к полудню. В доме пахло свежим хлебом, поджаренным луком, еще чем-то съестным. Янтарно блестели половицы, а переплеты оконных рам бросали на них тени. В доме никого, кроме Шаламова, не было, стояла тишина. Детишки убежали в школу на пионерский сбор, жена управилась рано и теперь, верно, сидит у соседей. И это было приятно — значит, привыкла, не скучает, перестала томиться по городу, в котором и сама родилась, и родила двух мальчишек-погодков.

Но не было привычки спать днем. Откуда было взяться такой привычке, если на заводе он всегда работал в дневную смену, а в колхозе не то что днем — ночью не всегда удавалось отдохнуть?

Несколько раз Шаламов приподнимался на лавке. Опирался на локоть, потом садился и спрашивал себя: верно ли, что он может сейчас никуда не торопиться, никуда не ехать?

Завтра все снова завертится, закрутится, снова нахлынут заботы о кормах, а если точнее — о бескормице, о деньгах, а правильнее — о долгах, которыми колхоз богат, как грибами после дождя.

Но вот сегодня спозаранку Шаламов обходил баз — скотные дворы, свинарник, кошару, заглянул на водо-

качку к машинисту Еремееву, на фуражный двор, в гараж, миновал только контору, потому что там на дверях висел огромный замок, и вдруг заметил какой-то порядок на базе, может быть, только признак порядка, но все-таки верный признак. Ну вот хотя бы: вчера поутру, еще до прихода Шаламова, двадцать три подводы, назначенные накануне за кормом в соседний район, собрались и все до одной без крика, без шума, точно в назначенное время двинулись в дальний рейс.

«Чего доброго,— подумал Шаламов,— настанет же когда-нибудь в колхозе добрый порядок, ничуть не хуже, чем на заводе!» Он подумал так в первый раз за те восемь месяцев, которые председательствовал в «Красном партизане», а тут еще старик Еремеев, прихрамывая на одну ногу и заливая из ведра насос, который плохо держал воду в кожухе, сказал:

— Воскресенье, чать, Павел Игнатьевич! Почто бы не отдохнуть твоей голове? — Правда, Еремеев тут же сделал примечание: — Отдыхай, покуда сосущая труба еще действует. Она уже вот-вот перестанет!

Шаламов покосился на всасывающую трубу, заржавленную и потную, непрерывно вздрагивающую мелкой дрожью.

— У меня — ни труб, ни колен, ни переходов. Хоть убейте — не знаю, где взять!

— Комбиновать надо. С заводом комбиновать, еще и еще с кем.

— Так не выходит.

— Учись!— наставительно сказал Еремеев.— Учись жить в председателях.

Вспомнив все это, Шаламов поднялся с лавки, сходил в горницу, взял там с кровати подушку и, вернувшись в кухню, снова лег на прежнее место: «А что, если все-таки уснуть?»

Через час, а может быть, и того меньше, Шаламов натягивал пимы.

«Воскресенье... В клубе кино,— думал он.— На скотном дворе доярки дежурят все молодые. Бросят дежурство и убегут. А печь остынет, отопление замерзнет и лопнет. Или корова отелится. А то еще проще — дверь не закроют в телятник, а на улице мороз, ветер...»

Когда Шаламов вошел в скотный двор и оглянулся по сторонам, он и в самом деле никого не увидел. Только коровы жевали корм так медленно и лениво, словно тоже знали, что сегодня — выходной.

— Так и есть! — рассердился Шаламов. — Так и думал! Жди здесь порядка! Надейся, надейся! Придется завтра вызвать заведующего животноводством! И бригадира тоже вызову! И дежурную доярку! — Но тут Шаламов вздрогнул: ему показалось, кто-то смотрит на него сбоку.

В самом деле, на ларе для корма, обхватив острые колени руками, сидела Кося Кортосова.

— Дежуришь?

— Ага... — отозвалась Кося и не пошевелилась.

Странная это была девчонка! Была она вовсе и не Кося, а Капитолина. Новое имя пристало к ней, потому что она заметно косила. Стоило кому-нибудь заметить это, назвать ее косой — крику и шуму не было конца, дело могло дойти до потасовки, а уж слез — не оберешься. А вот Кося — это ничего, даже мать родная и та не называла ее иначе.

У Шаламова с Косей были натянутые отношения. Однажды доила она Марту, лучшую корову на ферме, но страшно бодливую, и слово за слово рассорилась со старшей дояркой. Кричали они друг на друга долго, а потом Кося поднялась со своей скамеечки и, оставив под коровой подойник, ушла домой.

Шаламов вызвал Косю в контору, убеждал, говорил о дисциплине, о тяжелом положении в животноводстве, о роли комсомола. Кося слушала, не спуская с него глаз, будто впервые видела председателя, изредка опускала руку в карман поношенной стеганки и там вышелушивала подсолнечное семечко, а потом, едва заметно приподнимая руку, ловко бросала семечко в рот.

Когда Шаламов кончил говорить, Кося спросила:

— Все, что ли?

— Все, если поняла.

— Как не понять! — вздохнула Кося. — Доходчиво объясняете. Воспитываете. Теперь, ежели вы сами сознательный, идите на скотный да подоите Марту!

Недели три Кося нигде не работала. Шаламов так и решил — не пускать ее больше в животноводство. Но приходила мать Коси, просила за дочь; приходили доярки, говорили, что с Мартой никто из них управиться не может, способна на это только одна Кортосова, потому что характерами они очень сходные.

— Значит, дежуришь? — переспросил Косю Шаламов. — Все в порядке?

— Сами глядите, все либо не все...

Отвечая, она так и не двигалась, только чуть-чуть приподняла над коленями подбородок и повернула голову, чтобы правый глаз смотрел ему прямо в лицо.

— Так...

— Так либо не так — перетакивать не будем.

Шаламов выдержал и этот взгляд и тон. Прошелся между рядами коров, погладил за ушами Буренку — дочь Марты, а Марту обошел стороной, проверил, топится ли печь и работает ли вентиляция, и уже с другого конца коровника спросил как бы между прочим:

— А что, Кося, однако, Егор тебе давно уже не писал?

Тут Кося соскочила с ларя, подбежала к Шаламову и протянула ему листочек бумаги, исписанный вперемежку карандашом и лиловыми чернилами.

— Вот! Читайте!

— Что такое?

— Письмо.

— Зачем же я буду читать?

— А затем, что и про вас писано. А на ту сторону не поворачивайте. Там не вашего ума дело.

— Нет, не буду я читать. Ни на той, ни на этой стороне.

— Критики боитесь? Вот с того места, где я пальцем прихватила, отсюдова — про вас!

Не то чтобы упрек подействовал на Шаламова, но почему-то он подумал, что действительно должен прочесть письмо. Он взял из рук Коси листочек и подошел под свет окна.

«Оштрафовал он тебя за самовольный прогул на десять трудодней,— прочитал Шаламов, медленно разбирая слова при слабом свете, — я считаю, справедливо. Лично я — пятнадцать приписал бы. Я на два часа по увольнительной опоздал — два наряда. Как положено. И насчет фермы — он подход имеет. Я три месяца при нем в колхозе прожил, не могу сказать, а ты сама разберись и пойми: насовсем он в колхоз или чтобы его в газетке пропечатали как передового, а потом — обратно в город. Разберись в вопросе.

Я считаю, что, похоже, он насовсем. Тогда и нам подаваться в город нет расчета. Узнай по его поведению и пропиши мне. Когда останемся в колхозе, то я в армии обучусь на шофера, ну, а если он в город, то и нам нужно подаваться, и тогда поступлю я здесь в слесарную мастерскую. Есть такая возможность...»

— Ну?— спросила Кося и потянула письмо из рук Шаламова.

— Чего — ну?

— Ну, как про вас прописывать в ответе: насовсем вы или на время?

— Пиши: «насовсем».

— И охота вам!.. В колхозе что и богатства — одни долги. Счет арестованный...— Кося постояла молча, потом всхлипнула: — И мне из-за вас страдать! Я на ферме всем дояркам заявила: «Вернется Егор — ноги нашей здесь не будет!»

Шаламов с любопытством смотрел в озабоченное, расстроенное лицо Коси.

— Вот я приехал из города. Почему? Думаю, буду здесь жить лучше. Разве не так? Выдадим в нынешнем году на трудодень. А счет у нас вот уже месяц как выпустили из-под ареста. Деньги на нем — двадцать три тысячи и тридцать шесть рублей с копейками...

Кося расстегнула верхнюю пуговицу стеганки, размотала шаль и ткнула пальцем в свою тоненькую шею:

— Очень благодарная! Я ими вот до сих пор сыта — вашими рублями да килограммами. Обещанными!

— Эх, Кося! — вздохнул Шаламов.— Эх, Кося...

Глядя на сердитую, в расстегнутой телогрейке и с размотанной шалью Косю, он заранее предвидел, что ни в чем не убедит ее.

— Вот!— сказала она и тоже глубоко вздохнула.— У Егорки в городе свояки, квартира, а вас тут принесло на мою шею!

— Из-за тех десяти штрафных трудодней расстроилась? Так ведь это пустяки, это немного, если подумать!

— С меня и десяти довольно! Может, как раз десяти-то мне на платьишко не хватит? Я ведь не на «Победу», а то еще на какой там ЗИМ коплю!

— Сама виновата...

— Кабы не сама, а кто другой виноватый был, я бы с вами не так разговаривала! — Кося повела глазом по лицу Шаламова, вздохнула.— А вы, значит, насовсем...— Сунула письмо в карман стеганки и тихо пошла к ларю. От ларя снова обернулась и громко сказала, почти крикнула: — Ну, глядите! Ежели обманете...— Замотала головой, забралась на ларь.

Шаламов постоял и пошел к выходу.

Проходя мимо ларя, на котором в прежней позе, с

согнутыми коленями, сидела Кося, он вдруг почувствовал к ней жалость, как к человеку, который у тебя на глазах готов сделать неправильный шаг, и ему никак нельзя это объяснить. И он шел мимо Коси тихо, даже осторожно, как если бы она дремала, а он не хотел ее потревожить. Когда же он был уже близко от дверей, Кося окликнула его:

— Председатель!

Шаламов вздрогнул:

— Что еще?

— Товарищ председатель, а зачем приходили-то? А?

Строгость опять подействовала на Шаламова.

— Проверить, все ли в порядке...

— Ну? Порядок у нас на скотном? Полный?

— Ничего... Вот и ты дежуришь. Как надо.

— Значит, порядок...— Кося снова приблизилась к Шаламову.— А корма?

— Какие корма?

— Известно какие — коровьи. Не для себя спрашиваю. Скотину кормить думаете либо опять просто так — воспитывать?

— Ты же, Кося, знаешь рацион: солома, немного сена, ну и вот еще кочка.

— Так нешто эта самая кочка — корм?

— Что поделаешь? — пожал плечами под полушубком Шаламов, начиная выходить из себя.— В прошлом году не заготовили кормов. Я ночи не спал, а все-таки не заготовили. Были на то причины! Дожди шли...

— Ну вот и кормите коров причинами! А я погляжу, сколь вы надоите литров да какой будет процент жира! Очень даже по науке!

— Что ты взбеленилась, Коська, что кричишь?! — Шаламов чувствовал, что вот-вот и сам закричит на девчонку.— Некогда мне тут с тобой! Если у тебя деловой разговор, приходи в контору. Поговорим!

Но Кося не унималась. Скороговоркой, тоненьким голоском, приподнявшись на цыпочки, чтобы быть на одной высоте с Шаламовым, она шумела:

— Так-то и для меня у вас найдется причина! Сейчас обещаете, а там найдете какую-никакую причину: кушай, Кося, поправляйся! Не буду я писать Егорке, что вы насовсем! Не буду! Пускай учится на слесаря!

Если бы Шаламов был спокоен и внимательно прислушивался к Косе, он понял бы, что девчонка шумит просто так, наверное, в последний раз, что она уже сда-

лась и обязательно напишет Егору, чтобы тот шел учиться на шофера.

Но теперь Шаламов был уже до крайности раздосадован и, чтобы не обругать Косю, отстранил ее с дороги, вышел на улицу. Кося кричала вслед, чтобы председатель готовил дома чай с пирогами — после дежурства она придет к нему разговаривать по душам!

День был какой-то страшный: при голубом небе и ясном солнце сильно буранило. Март подходил к концу, и еще недели две тому назад начало таять. По городской привычке Шаламов решил, что зима уже кончилась, а она пожаловала снова, и замело дороги, около конторы опрокинуло стогометатель, который долго стоял на месте без дела, казалось, намертво врос в землю. Поднимаясь вверх по взгорку, на котором протянулись две деревенские улицы, Шаламов думал:

«...И помечтал-то всего один раз... В первый раз позволил себе подумать, что дела в колхозе пошли...»

В ограде своего дома Шаламов издали увидел незнакомого человека, подумал: «Хорошо! Отвлекусь разговором с посторонним! Кто бы это?»

Человек вертел головой в мохнатой шапке туда и сюда, а вскоре стало видно, что шаламовский Тузик — мышастый, маленький пес с низким басом — со всех сторон деловито облаивал незнакомца и никак не пускал его в сенцы.

Все-таки человек продвинулся вперед, быстро распахнул дверь, и Шаламов вспомнил, что, уходя, он забыл закрыть дверь на замок.

Когда Шаламов тоже вошел, незнакомец уже стоял на кухне и отряхивал снег с шапки, ударяя ею о косяк двери. Он был седым по-пестрому — седые волосы торчали на разноцветных, покрытых синими и красными прожилками щеках, на подбородке сквозь седину проступали рыжие подпалины, на голове седые волосы тоже перемежались с розовыми плешинками. Только брови были совершенно черные, словно начищенные ваксой. Огромные, густые, они смыкались на переносице и, кажется, даже мешали глазам. И первое, что сделал посетитель,— это извлек откуда-то из кармана брюк большой платок и старательно вытер сначала одну, а потом другую бровь от множества капелек и снежинок, не успевших еще растаять. Только после этого он спросил председателя.

— Я буду! — отозвался Шаламов.— Проходите.

Человек кивнул, положил на табуретку что-то завернутое в серую льняную тряпицу. Пригладив редкие волосы на голове и еще раз проведя ладонями по бровям, он нагнулся к этому свертку, долго разматывал тряпицу и наконец извлек две большущие собачьи рукавицы, между которыми лежал потрепанный клеенчатый портфель. Положив рукавицы одна на другую, пояснил:

— Вот ношу при себе... Бесперечь носить — руки устают, весу в них много, а без них — никак невозможно. Если б не взял с собой, казнобил бы нынче руки и лицо вконец зазнобил бы... Погода была — страсть! Разъярилась перед весной-то... Теперь стихает. А если бы по порядку, так надо бы рукавички-то на бечевку. Очень ловко таскать их на бечевке через шею. Сунул руки когда нужно — и порядок! Не успел приладить. Срочно предложили отбыть в командировку.— Он замолчал сосредоточенно, потом вынул из портфеля бумагу, подошел к столу и разостлал ее перед Шаламовым.— Вот тут ваша подпись требуется. А вот сюда,— он показал рядом,— требуется печать!

Другие командированные начинали с погоды, с видов на урожай, с легкой критики районного начальства либо хвалили новый скотный двор колхоза, который стоял на въезде в деревню, стоял все еще пустым, потому что не было поголовья, и только после этого начинали требовать. Каких только не было требований: обеспечить сбор слушателей на лекцию по охране труда и противопожарной безопасности, уплатить неустойки по индивидуальному налогу с колхозников, обеспечить подписку на молодежную газету, взять обязательство по заготовке дубильного корья, золы и птичьего помета, а сколько составить планов, отчетов, сводок?!

Когда командированный получал подпись председателя на своем документе, он складывал этот документ в портфель с таким видом, словно проделал огромной важности работу, и говорил на прощание благосклонно:

— Имейте в виду: один экземпляр у нас, другой — у вас!

Все это было знакомо Шаламову с первых же дней его работы. Он уже научился «отваживать» уполномоченных, приезжавших по разным мелочным делам, скрывался у них из-под самого носа в поле или в район, заставлял ждать себя, пока у него не закончатся другие дела и разговоры.

Наверное, были среди них разные и даже совсем не-

плохие люди, но стояли они на ненастоящем деле, ничего не давал их труд, не видели они результатов своей работы и только усложняли жизнь. Иные понимали свое положение, неловко улыбались либо вели себя уж очень деловито, напускали видимость страшной занятости и в то же время всем своим видом как бы говорили: «Мы с тобой, председатель, люди мудрые, понимаем, что к чему, так давай же закончим эту волокиту без волокиты! Поскорее!» Опасно это было для нового председателя, очень опасно! Шаламов и понимал никчемность многих договоров, отчетов, справок и других бумажек, и все-таки временами они вдруг приобретали какую-то мнимую значительность, хватали его, пытались взять над ним силу. Вдруг начинало казаться, будто вот это и есть важная и необходимая работа, без которой шагу нельзя ступить, а какие-то там требования бригадиров насчет подойников, просьба престарелого колхозника о дровах и сене отходили на второй план, представлялись ничтожными мелочами.

Сегодняшний уполномоченный был человеком решительным, действовал без проволочек: ткнул желтым волосатым пальцем туда, где на листе бумаги требовалась подпись председателя и где требовалась печать.

Шаламов взял со стола лист.

«Договор»,— было напечатано на обороте крупными буквами, а ниже, очень мелко, без всяких знаков препинания: «В целях улучшения условий обеспечения трудящегося населения города продуктами питания путем подвоза таковых и продажи на колхозном рынке колхоз обязуется на вышеобозначенном рынке развернуть торговлю своей продукцией и продукцией членов колхоза поквартально в следующем количестве...»

— Да...— покачал головой Шаламов. Потер лоб и снова протянул: — Да, да-а...— Он все еще был под впечатлением разговора с Косей, все еще сердился на нее и поэтому сейчас хотя и видел перед собой незнакомого человека, но никак не мог о нем подумать — ни хорошо, ни плохо. И смысл договора тоже был каким-то неясным. Все-таки Шаламов заставил себя внимательно вчитаться в длинную фразу без знаков препинания, потом в другую и наконец спросил: — Вот тут написано: «...колхоз доставляет продукты своими силами». Так при чем же тут договор? Приедем торговать — нас ведь и без договора не прогонят?

— Нет, позвольте! — проговорил уполномоченный.—

В пункте шестом сказано: «Рынок предоставляет колхозу право преимущественного и внеочередного обслуживания по проверке молока и мяса и — главное! — по преимущественному разрубу мяса!» — Он говорил это, не заглядывая в договор, на память и закрыв глаза, а когда снова взглянул на Шаламова, добавил еще: — А вы говорите!

— Преимущественная проверка молока и мяса...— повторил Шаламов.— Так ведь и в этом никому не отказывают. Обязательное правило. Зачем нужны преимущества? И мясо наши люди сумеют разрубить.

— Как можно! Видать, вы недавно в должности? Собственное мясо не продавали еще на рынке?

— Я вижу, незачем подписывать эту бумажку...— Шаламов положил договор на стол, на то самое место, откуда он взял его.— Торговать не поможет. Бумажка — и все.

— Так вы это всерьез или как? — спросил посетитель, снова вынимая платок и разглаживая свои лохматые брови, как будто для того, чтобы лучше разглядеть Шаламова.— Мы же и меры примем, ежели что.

Угроза заинтересовала Шаламова.

— Если вы серьезная договаривающаяся сторона, какие же вы примете меры?

— Доложу товарищу Кабанову. Лично.

— А кто такой товарищ Кабанов?

— Должны знать: председатель управления рынками. Вот внизу, на договоре, ими уже подписано...

— Почему же он председатель? Что это — выборная должность?

— Я доложу — вы вообще ведете себя не по существу!

И тут Шаламов в первый раз заметил под бровями старика глаза: они смотрели сердито, упрямо, с неподдельным возмущением.

— А что сделает товарищ Кабанов? Если ему доложить?

— Они? Они, знаете ли, на совещаниях могут с критикой на вас выступить... Нет, вы это как: пошутили или серьезно?

— Серьезно.

— Несерьезный вы человек. Да. Я прямо говорю — не боюсь. «Сами разрубите мясо!» Извините! Можно так разрубить, что мясо жирнее станет. Точно. Взять наискосок, и ежели слой сала в два сантиметра — он в

три станет. А в каком месте рубить, чтобы каждый кусок хозяйка взяла, ни один не пропал бы? Я откровенно скажу: другой мясоруб пустит в топор дрожь — и в палец толщины мяса у него пошло в крошку. А крошка — это уже не хозяйская. Крошку уборщица веничком, веничком, а потом они ее пополам с мясорубом... Точно. За людьми нужен контроль. Нужно следить за порядком. На то и дирекция рынка поставлена. А вы говорите: сами! А не представляете себе дела. Также коснется гирь, весов... Да нет, где там! Кабы вы понимали — не говорили бы: сами! Я тридцать лет в торговой системе. Дело знаю, безотказно сполню свою функцию.

— Что? — переспросил Шаламов.

— Функцию... Торговую функцию.— Уполномоченный опустился на табуретку около стола, вместе с табуреткой подвинулся к Шаламову.— Говорю вам, тридцать лет в этой системе и знаю что к чему. Вот и вызывает меня товарищ Кабанов: «Сполняй особое задание. Вот тебе пригородный район, вот подписанные договоры! Обеспечь». Теперь что я скажу товарищу Кабанову про вашу несознательность? Они не поверят, скажут: «Ты, Бурундуков, вовсе и не был в колхозе!» Тогда вы распишитесь, что отказываетесь расписаться. Там, на низу этого листочка, распишитесь. У меня тоже должен быть свой отчет. Перед товарищем Кабановым.

Говорил уполномоченный медленно, как будто с трудом подыскивая слова, и только иногда вдруг делал стремительные движения руками.

Шаламов заметил, это было всякий раз, как уполномоченный упоминал фамилию Кабанова. Именно тогда руки его поднимались вверх, там, вверху, пальцы шевелились, потом оба вместе они опускались, показывая что-то узкое, потом снова широкое. Внизу, у самых колен, руки с опущенными кистями выдвигались вперед.

Шаламов невольно следил за этими странными движениями, и вдруг у него возникла догадка, что таким образом уполномоченный изображает председателя управления рынками Кабанова: пальцы шевелятся над головой — это волосы на голове Кабанова, высокие, прямые и жесткие, торчат в разные стороны; ниже — толстая физиономия, потом короткая шея и большое туловище. А движение руками вперед показывает, как сидит Кабанов за письменным столом у себя в кабинете,— выкинув ноги вперед, навстречу посетителям. В довершение картины Шаламов даже представил себе, что

в кабинете очень жарко, Кабанов сидит в расстегнутой рубашке, и на груди у него видны волосы — светлые, прямые, похожие на щетину. «Надо же такое подумать?!» — удивился самому себе Шаламов, но воображение не унималось, и он еще увидел маленькие сердитые глазки Кабанова.

— Вот вы говорите,— продолжал между тем Бурундуков,— у вас нечем торговать. Понятно. Нечем — значит, нечем. А при чем договор? В нем же никаких неустоек не предусмотрено! Вы его не выполните, ну и что ж? Вам от того плохо не будет. Так зачем же меня в погоду гонять? Я на работе. Тридцать лет в системе.

— У вас командировочное удостоверение есть? — спросил Шаламов.

— А как же! — Бурундуков торопливо расстегнул пиджак, достал из кармана бумажник, из бумажника — удостоверение. — Как же! Конечно!

На обороте удостоверения Шаламов сделал отметку «прибыл» и «выбыл», расписался, поставил печать. Пока он делал все это, особенно когда, прижав к ладони удостоверение, прикладывал к нему печать, Бурундуков смотрел на руки Шаламова из-под лохматых бровей не мигая, затаив дыхание, как будто он был страшно голоден и видел в руках у человека кусок хлеба.

Шаламов долго держал печать прижатой к удостоверению и, наблюдая за этим недоуменным, осуждающим и таким голодным взглядом, думал: «Сейчас уполномоченный выйдет из себя, и мы с ним поругаемся... Я скажу язвительное, злое. Злее—лучше! Надо кончать с этими бессмысленными бумажками! На этот раз надо обязательно поругаться. Выгоню с шумом!» Когда же наконец Шаламов вернул уполномоченному его удостоверение, тот вздохнул и тихо, убежденно проговорил:

— Бывают люди... Бездушные... Бесчеловечные...

И Шаламов так удивился этому возгласу, что невольно и тоже очень тихо спросил:

— Вы что же это — обо мне так?

— Не о себе же. Я честно работаю в системе. Тридцать лет. Сказали: «Выполняй функцию, Бурундуков!» Бурундуков выполняет. Не моя ответственность, что вам торговать нечем. Каждому ясно-понятно — не моя! У меня дочь — невеста, техникум кончила, все экзамены сдала, а вы издеваетесь...

— При чем дочь? При чем невеста?

— Бюрократ вы по отношению к человеку! Точно!

— Я?!

— А то кто же? Дочь — невеста, в ту субботу свадьба. Замуж выдаю за хорошего человека. А вы поставили отметку «выбыл» сегодняшним днем, и я уйду? Не уйду!.. День буду жить в колхозе... Два... Три дня!.. Ходить буду к вам в контору. В райисполком звонить. В торговый отдел. Жаловаться. Доказывать про вашу несознательность. Нельзя мне уйти. Товарищ Кабанов скажут: «Гастролировал по колхозам, Бурундуков! Прибыл-выбыл за один день, а где твоя разъяснительная работа? Где твоя организационная работа? Договор где?» А мне? Мне и крыть нечем. Что ж теперь, без отца свадьбу справлять? А тот человек, жених,— у него тоже мысли в голове, всякое подумать может...

Бурундуков замолчал. Долго они поглядывали друг на друга. Потом уполномоченный снова порылся в бумажнике и протянул Шаламову фотокарточку:

— Вот она, коли не верите!

На Шаламова глянуло неказистое личико, худенькое, с острым носиком и большими бровями. Девушке было лет двадцать — двадцать два, она сидела за столиком в шляпе с пером, в платьице с большими цветами по какому-то серому фону, положив впереди себя руку, на которой виден был что-то уж очень большой браслет. Выражение лица у нее было как будто немножко испуганное, но доброе.

Пока Шаламов рассматривал карточку, уполномоченный все ближе подвигал к нему по столу листок договора и шептал:

— Ну?.. Ну?! — постучал пальцем по бумаге, где было «Место для печати» и снова повторил: — Ну?!

И Шаламов с силой стукнул печатью, так что уполномоченный едва успел отдернуть от бумаги палец.

— Ну вот! — вздохнул Бурундуков всей грудью.— Вот так! А какие там цифры подставить, сколько поквартально будете мяса продавать, крупы и прочего — это не беспокойтесь, я поставлю! Все равно — кто эти договора проверяет? Никто! Никто за это не спрашивает! Как привозят колхозы продукты на рынок, так и привозят! Но раз такой порядок в системе — зачем же вам вставать на волокиту? Зачем бюрократизм? — Должно быть, уполномоченный боялся, что Шаламов спросит договор для подписи и не вернет. Торопливо укладывая бумажку в портфель, он говорил: — Подпись не обязательно. Подпишемся «за»— и только. Главное —

печать. Печать — главное! — Уже от дверей, завернув в тряпку и портфель и рукавицы и нахлобучивая глубоко на лоб шапку, он торопливо улыбнулся: — А на рынке, не беспокойтесь, для вас теперь преимущественное положение. И весы и гири! Все! А мясо, мясо-то обязательно разрубим! Как надо! — Потом лицо его приняло прежнее, очень строгое выражение, брови сдвинулись: —Все ж таки вы помните: один экземпляр договора у нас, другой — у вас! И вот так-то лучше: не ссориться... Не обижаться... Голоса не повышать!

Оставшись один, Шаламов прошелся по кухне.

Вспомнил — нынче выходной день. На работе не был, ни о чем не хлопотал...

В окно было видно, как по тропинке, плутавшей между сугробами, уходил Бурундуков. Шел он торопливо, но не быстро, и ветер подгонял его в спину, приподнимая мех на шапке. Вдалеке кто-то появился навстречу Бурундукову, и он, чтобы разминуться, сошел с тропки и стоял по колено в снегу, одной рукой прижимая к себе сверток, другой еще натягивая шапку.

Шаламову подумалось: Кабанов обязательно подошьет бумажку к делу... Кабанов подмигнул маленьким глазком. «Тьфу, черт!» — выругался Шаламов.

Фигура человека, который шел навстречу Бурундукову, все приближалась, и Шаламов узнал Косю.

Кося шла против ветра, прикрывая лицо красными пальцами. Должно быть, торопилась быстренько сбегать на обед. Миновала Бурундукова, на ходу кивнув ему, поравнялась с домом Шаламова, тут почему-то замедлила шаг. Потом поплотнее запахнула телогрейку, пошла еще быстрее, свернула в узкий проулок.

Она свернула, а Бурундуков все еще стоял, еще пропуская кого-то по тропе.

«А это еще кто бредет?— подумал Шаламов.— Знакомый ведь кто-то?»

Прихрамывая, торопился Еремеев, машинист с водокачки... Минует Еремеев председательскую квартиру или не минует?

Во дворе залаял Тузик.

Неужели всасывающая труба отказала?

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
Рассказ

Что случилось у нас в Сибири: как ни осень, так ненастье?! И еще — как ненастье, так хороший урожай!

Утром просыпаешься, в окне — кусочки синего неба и крыша пятиэтажного дома. А еще — тучи торопятся с запада на восток, какие-то разорванные, пестрые, фиолетовые и даже коричневые. Это они уходят прочь, и думаешь, что, наверное, день будет без осадка.

Как бы не так: часа два-три — и небо уже серое, неподвижное, тусклое, и во второй половине дня — дождь.

А сегодня не пришлось даже помечтать о ясном и безоблачном дне, о теплом и тихом вечере.

Еще не проснулся, звонят:

— Карпенок, спишь, поди-ка?

Это шеф, завсельхозотделом нашей газеты Павел Исидорович Шебалин.

Он, во-первых, звонил мне вчера вечером, расспрашивал о положении дел в Суетинском районе. Что ему снова понадобилось в такую рань? Во-вторых, почему «Карпенок»? Не в бабки играем, областную газету делаем! Поедешь в район — для всех ты корреспондент, товарищ Карпекин Федор Семенович, все читали твои материалы на газетных полосах. В редакции же только и слышно: «Карпенка в набор сдали?», «Карпенку правку сделали!», «Карпенок идет ящиком!». В-третьих, я только вчера вернулся из Суетинского района...

— Ты что же, Карпенок, спишь?

— Точно!!

Что значит новая комната! С телефоном. Жил в частной комнатушке, не знал забот, никто не тревожил.

— Федор Семенович, а комбайны из совхозов Суетинского района перебрасывают в Черемисино... Да? Тебе известно?

— Известно. Ночью эшелон должен быть на месте.

Соображаю: «О Суетке кто-то запрашивает шефа. Вот и все. Сейчас успокоится. Восьмой ряд, одиннадцатое и двенадцатое места... Два билета на „Барабанщицу"».

Так вот, через полтора часа я ходил по путям хорошо знакомой мне пригородной станции Первомайка, откуда я совсем недавно переехал в город, в новый дом, и разыскивал эшелон с техникой из Суетинского района. Нашел на восьмом пути. Билеты на «Барабанщицу» тоже были в восьмой ряд. Я отсчитал от головы одиннадцатую платформу, почему-то подумал и решил взобраться на двенадцатую.

Здесь стоял комбайн-«ростовец» и трактор-«алтаец». В кабине трактора были люди.

Кабина открылась, и кто-то изнутри сказал совершенно спокойно, ничуть не сомневаясь в том, что я должен ехать с эшелоном:

— Товарищ Карпекин, давай сюда! Вот сюда! Скоро ли тронемся?

Наружу торчал довольно крупный нос, выше — козырек синей фуражки, а ниже — губы и часть подбородка с рыжеватой шерсткой. Все остальное было плотно упаковано в кабине.

Я ответил, что и сам бы не прочь узнать, когда тронется экспресс Суетка—Черемисино, поскольку он должен быть на станции назначения двенадцать часов назад.

Никто в кабине не обиделся, синий козырек чуть приподнялся, должно быть, его владелец провел рукой по затылку сверху вниз. Тот же голос ответил:

— Семафор открыт... Вроде и гудок был. Только вы заходите с левой стороны и сзади. Удобнее.

В кабине трактора было трое, но один, должно быть штурвальный, вылез наружу и уступил мне место. Облокотившись на траки, он приготовился слушать, о чем пойдет разговор с новым человеком.

Все тот же голос обратился ко мне:

— Значит, помогать суетинцам! Порядок! Пресса, скажу вам,— сила!

Я же принялся ругать погоду, а тем временем мысленно ругал еще и своего шефа и поглядывал влево: что это за человек сидит в углу кабины и откуда-то знает меня?

Но между этим человеком и мною сидел еще один — полный, с опущенной на плечо головой. Я почему-то сразу решил, что он водитель того самого трактора, в котором мы сидели. Он дремал, заслонив собою большую часть кабины, и я снова видел только крупный нос, синий козырек и невыбритый подбородок человека, разговаривавшего со мной, как со старым знакомым.

Накрапывало. Тучами было затянуто все небо, и все оно медленно-медленно вращалось в ту сторону, куда должен был тронуться наш эшелон.

Я стал смотреть, как вращается небо, снова думать о Шебалине, о «Барабанщице», но вдруг толстяк тракторист вскинул голову:

— Это что ж такое? А? Это как же называется? Каким образом?

Я не знал, каким образом это хотел назвать тракторист, но тоже сразу понял, в чем дело: вместо нашего состава с десятого или одиннадцатого пути тронулся другой. Влажные крыши пульманов и теплушек все быстрее ускользали мимо нас на зеленый огонек семафора, нам хорошо их было видно сверху, из кабины.

— Пошли, товарищ Карпекин! Пошли, пошли! — тревожно позвал все тот же голос.

Я не понял еще, куда и зачем должен идти, как перепрыгивал уже через рельсы и подлезал под вагоны, стараясь не отставать от человека в брезентовом плаще и в синей фуражке. Мы бежали все быстрее, и вслед за ним я ворвался в дверь железнодорожной станции, на которой было написано: «Вход посторонним строго воспрещен», и только тут увидел этого человека — он стоял посреди небольшой сумрачной комнаты и обеими руками держал спинку стула. На стуле сидел железнодорожник в новенькой форме и говорил:

— Выйдите, я вам говорю, гражданин! Я вам как человеку говорю: выйдите! Я вам как человеку объясняю: сейчас все составы срочные и сверхсрочные. Выйдите! Вы без расписания, и никто из-за вас график нарушать не будет. Выйдите!

Мой знакомый незнакомец поглядел влево, потом вправо, я подумал, что сейчас железнодорожник со стулом окажется либо в палисаднике с чахлой и мокрой

травкой, либо в темном коридоре с обшарпанными сте-нами.

Но мой незнакомец только нагнулся резко к столу и спросил:

— Это что такое?

Железнодорожник почувствовал, что останется на своем стуле, и сказал, не поворачиваясь:

— Вам какое дело? Выйдите! Это селектор! Вый-дите!

— Пишите, товарищ корреспондент областной газе-ты, товарищ Карпекин,— вдруг как-то неожиданно спо-койно сказал этот человек: — «Сидящий около селек-тора дежурный станции Первомайка...» Как ваша фа-милия?

— Выйдите, гражданин, как человеку говорю,— от-ветил дежурный, но теперь он уже сам привстал со сво-его стула...

—«...сидящий около селектора бюрократически отве-тил представителю Суетинского района...»

Я вынул записную книжку с позолоченным штампом газеты и самопишущую ручку.

— Литературно это мы позже обработаем,— сказал я.— Пока что запишем факты как таковые: «...сидя-щий око-ло селектора...»

— Само собой,— подтвердил мой товарищ,— само со-бой, литературу отложим на после. Вы какой институт кончали?

— Ленинградский государственный университет име-ни Жданова. Факультет журналистики!.. «...де-журный... бюро-кра-ти-чески ответил...»

— Порядок! А мне копию этой заметочки для тран-спортного отдела обкома. Можно будет?

— Конечно... «...тически ответил представителю Суе-тинского района». Как ваша фамилия, товарищ дежур-ный?

Спустя минут двадцать мы снова сидели в кабине трактора. Под нами потряхивалось сиденье, трактор трясло на платформе, платформу — на стыках железно-дорожного пути.

— Вечером будет Черемисино — никак не раньше!— вздыхал представитель Суетинского района.

Я сидел теперь с ним рядом и хорошо видел лицо — смуглое, с неровной кожей на щеках. Нос оказался не таким большим, как я увидел его в первый раз, сбоку, а глаза были чуть раскосые, серые и встревоженные.

Тракторист называл его Николаем Петровичем, но это ничего мне не подсказало — я никак не мог вспомнить человека.

Между тем Николай Петрович нагнулся к моему уху и сказал:

— Пресса! Никому нет охоты под общественное мнение попадать! Помните, вы меня пропечатали за строительство? Я тоже переживал! Струнков тот раз говорит: «Брось! Через две недели быльем зарастет!» Может, для кого заросло, только я лично до сих пор помню!

Знаю, была у меня корреспонденция о неудовлетворительном ходе строительства больничных учреждений в Суетинском районе. В связи с месячником здравоохранения. Знаю, что разговаривал с председателем райисполкома Струнковым — брал материал. А кто в корреспонденции еще упоминался? Под какой фамилией назван там вот этот нос? Не знаю, не помню!

И спросить совершенно невозможно. Уже поздно. Надо было позаботиться, когда он меня в первый раз окликнул в Первомайке, когда я садился в эту кабину.

— Вы когда весной тот раз в Суетку приехали,— продолжал Николай Петрович, который теперь, когда я узнал это имя-отчество, стал еще больше мне незнаком,— мы сидели у Стрункова. Струнков мне говорит: «А ну-ка, дай интервью о ходе строительства!» Я говорю: «Больнице центральное отопление дадим, тогда уже». И Струнков сам все положение обсказал. Он интервью умеет давать, очень приспособлен, мы оба после нисколько не сомневались, что все будет хорошо. И вдруг — отрицательный материал в газете! И прямо обо мне — как об ответственном за здравоохранение. Струнков после долго удивлялся.

Николай Петрович и еще говорил о больницах, о школах, об РСТ, еще вспомнил, как я его пропечатал. Из-за грохота слышалось или он на самом деле неправильно произносил это слово — у него получалось «припечатал».

Неубранные хлеба надвигались с востока... Кое-где зеленые пятна березовых колков, а вот чем дальше, тем больше хлеб был полеглый. И везде густой, перестоявший и матово блестящий от влаги. Разговор наш прервался, мы молчали.

Состав прибыл на станцию Черемисино под вечер,

остановился около платформы, такой короткой и неудобной, что разгружаться мы стали бы здесь до утра.

И опять мы с Николаем Петровичем ходили к начальнику станции, звонили в райком, и только тогда нас расцепили на две части, расставили к двум разгрузкам.

Но все равно очень трудно, медленно двигалось дело, особенно с несамоходными комбайнами.

Николай Петрович бегал от одной платформы к другой, кричал: «Эх, взяли!»— налаживал вместе с комбайнерами и трактористами козлы, а когда порожние платформы отходили в сторону, обязательно осматривал каждую: не забыли ли там чего-нибудь.

Сгруженные машины Николай Петрович расставлял в колонны, которыми они должны были двинуться по совхозам Черемисинского района.

Я и сам не заметил, как тоже стал бегать от платформы к платформе, кричать: «Эх, взяли!», таскать какие-то бревна, и только однажды подумал, что время — семь тридцать вечера и сейчас открывается занавес в областном театре, а в восьмом ряду — два свободных места.

Тут вскоре подошел пассажирский поезд, и с подножки вагона соскочил высокий человек в кожаном пальто, в фетровой шляпе. Он торопливо направился к нам. Его-то я узнал сразу: председатель Суетинского райисполкома товарищ Струнков.

Струнков тоже сказал:

— Какой судьбой, товарищ корреспондент? Приветствую, приветствую! Значит, так: мы помогаем отстающим, а вы уже помогаете нам — помогающим! Дело! Мы-то взяли на себя соцобязательство, а вы, пресса, взяли или нет? — Тут же, не дожидаясь ответа, протянул руку Николаю Петровичу:— Докладывай. Как дела? Почему на день опоздали? Нехорошо получилось, нехорошо! Я-то в уверенности, что наша техника сегодня уже на полную катушку работает!

И Струнков двинулся вдоль платформы, а Николай Петрович пошел рядом и все время чего-то докладывал.

Они сделали круг, вернулись на прежнее место, Струнков сказал:

— Пойду в райком. Утрясать. Ты мне потом позвонишь.

Николай Петрович кивнул: «Позвоню, обязательно»,— и тут же позвал меня:

— Пойдемте на связь... Снова слишком ответственное дело начинается! Слишком!

Мы оккупировали кабинет, а точнее — маленькую комнатушку конторы «Заготзерно», которая находилась тут же, на станции. Николай Петрович положил перед собой отпечатанный на машинке листок; в листке указывалось, в какие совхозы и сколько направляется суетинских комбайнов и тракторов. Первым в этом списке был совхоз под названием «Боевой». Николай Петрович и соединился с «Боевым», но телефонистка ответила, что в конторе никого нет.

— Ищи! — ответил Николай Петрович сердито.— Я у тебя контору и не спрашиваю, мне люди нужны: директор, главный агроном, главный инженер. Ищи! Не найдешь, имей в виду: в совхоз не придет техника по причине отсутствия связи! Ясно?

Спустя минут десять уже шел разговор с директором «Боевого».

— Автомашин под наши комбайны сколько дадите? — спрашивал Николай Петрович.— Людей? Горючего? Бочкотары? Имейте в виду — запчастей у нас нет.

Солидный бас на другом конце провода возмутился:

— Собственно, о чем разговор? Есть разнарядка на технику — выполняйте! И так запоздали, вчера должны были приступить к работе! Для вас что — решение обкома не обязательно, да? Я вот доведу до сведения...

Николай Петрович закрыл рукой трубку:

— Вот, пресса, тот самый случай.

— Какой? — не понял я.

— Опасный. Ну, ничего, он сейчас по-другому заговорит.— И снова в трубку: — Значит, «Боевой» не готов нашу технику и людей принять? А когда так...— Николай Петрович скосил глаз на список,— когда так, то совхоз «Белоярский» просит дать ему комбайнов вдвое больше, чем первоначально записано. Дадим! Нам что — мы дадим, нам обком разнарядку по хозяйствам не утверждал, а в целом мы цифру выполним, будь здоров! «Белоярский» — тот, будь здоров, твердо обещает и людей и автомашины! И даже запчастей подбросить!

Когда же Николай Петрович звонил главному агроному Белоярского совхоза, он подробно перечислил все то, что обещал ему «Боевой». Оказывается, много обещал.

Так он вел переговоры со всеми совхозами Череми-

ского района, иногда говорил: «Вот здесь присутствует представитель областной газеты, он записывает ваши обязательства перед нами», а еще он выскакивал на платформе и напутствовал комбайнеров и трактористов:

— Прибудете к месту — требуйте и требуйте! А когда они будут там вилять, хозяева,— ту же минуту сообщайте мне. Требуйте!

Усталые и сердитые, механизаторы отваливали на своих агрегатах от платформы, Николая Петровича будто и не слышали, только отрывисто перекликались между собой, с грохотом выезжая на дорогу, уже всю разбитую колесами и гусеницами, а тот тяжело ступал по грязи и все напутствовал:

— Требуйте! Требуйте!

Я спросил:

— Да что вы так беспокоитесь, Николай Петрович? «Боевой», «Белоярский» — все совхозы заинтересованы, чтобы им оказали помощь, все они...

— Знаю я ихнюю заинтересованность, товарищ корреспондент,— неожиданно прервал меня голос, который я не сразу даже как будто и узнал,— сердитый, точь-в-точь комбайнерский, как будто даже пропитанный горючим и соляркой.— Знаю! — повторил еще раз Николай Петрович.— И не уговаривайте меня, не внушайте, я не в первый раз сталкиваюсь. Черемисинские совхозы заинтересованы — как? Свою технику поберечь, а нашу побить — вот как.

— Ну, а ваши комбайнеры, трактористы? Они-то этого не допустят!

— Это почему же?

— Естественно, заинтересованы в сохранении своих машин!

— Опять у вас не та естественность. А они вот как сделают: у кого трактор либо комбайн старый, разбитый,— он его здесь до конца постарается разбить. Покуда нету над ним глаза.

— Ну, для чего же это?

— Или вы молодой еще совсем? Старую машину добьет, значит, давай ему новую. Он тебя же и укорит: «Говорил — нельзя посылать в чужой район. Не послушал, послал — получай металлолом заместо самоходки!»

И Николай Петрович продолжал звонить по совхозам, а своим механизаторам неустанно твердил:

— Требуйте! Требуйте! Требуйте!

Из одного совхоза ему ответили:

— Что вы от меня требуете? Я — заместитель! Спрашивайте с начальства!

Тут в первый раз Николай Петрович засмеялся:

— Так я тоже заместитель. Так вот на нас-то, на заместителях, все и дёржится! Все и дёржится! — повторил он, громко и звучно, по-сибирски растягивая «ё».

Из трубки еще что-то сказали, теперь — неразборчиво, а Николай Петрович еще веселее ответил:

— Вы что же — завтра доложите своему начальнику, что побоялись взять на себя ответственность, оставили совхоз без нашей техники? Так? Не-ет, вы так не доложите! Совсем наоборот. Вот и действуйте, а нет — я тоже начну действовать и уже — против вас! Все на заместителях дёржится!

И как раз тут позвонил Струнков, спросил:

— Идет дело?

— Идет! Идет, идет, Василий Степанович,— ответил Николай Петрович.— Идет, как надо, не беспокойтесь!

Потом он положил трубку, потянулся, разбросав руки в стороны и вглядываясь в неяркую тень, которая появилась при этом его движении на желтоватой стене комнаты.

— Верно, что на сегодня конец уже виден,— сказал он.— Спасибо за помощь, пресса.

— А что, Струнков — сильный работник? — спросил я между прочим, когда мы вышли из конторы «Заготзерно» и направились в районную гостиницу.

Николай Петрович остановился и отчетливо сказал мне:

— Хороший товарищ! Оч-чень хороший товарищ! — Вздохнул.— Единственно — на продвижение ему не сильно везет. Надо бы уже, давно надо продвинуться, но — обходят его. А надо. Ох, как надо бы!

ПИК ПОЛОВОДЬЯ
Рассказ

— Когда я был заведующим уездным земельным отделом... — вспоминал Иван Алексеевич всякий раз, когда к нему приходило хорошее расположение духа.

Обычно рассказы его бывали немногословны, голос — о чем бы он ни говорил — оставался спокойным. И только когда он касался вот этого исключительного события своей биографии, в словах его появлялись необычно торжественные нотки.

Иван Алексеевич был немолод — лет за пятьдесят, но еще силен. Однако — что и говорить — все чаще и чаще схватывала его за поясницу тупая боль; в последние годы, стреляя по глухарям, он дал несколько промахов, а нынешней зимой из его рук ушла обратно в майну[1] большая нельма. Каждая из этих неудач немало удручала Ивана Алексеевича; он даже во сне вздыхал, а за столом подолгу рассматривал свои огромные руки в веснушках, с мягкими коричневыми волосками и выпуклыми жилками.

Иван Алексеевич носил небольшую бородку, брился торопливо и неохотно и поэтому редко смотрелся в зеркало. Иначе он заметил бы, как глубокие морщины год от года все гуще покрывают его лоб, щеки и даже переносицу, а светло-желтые волосы становятся совсем бесцветными.

Но он всматривался только в свои руки, положив их перед собою на стол и говоря жене, Ирине Матвеевне:

[1] Майна — прорубь.

— Старуха ты стала, Ириша, как есть старуха! И у меня руки-то, смотри, не те...

Руки Ивана Алексеевича сделали немало дел на земле. От Баренцева моря и до устья Лены они строили дома. Они тысячи раз чутко настраивали капканы и освежевали бесчисленное множество больших и малых зверей. Они не раз вытаскивали из болотной топи людей, отталкивали в сторону придавившее человека дерево, спасали утопавших.

А вот теперь в руках не было прежней силы. Подходила старость:

— Да, Ириша... Что и говорить! Люди воюют, защищают Родину, Советскую власть, а мы? Стареем, Ириша, стареем,— вздыхал Иван Алексеевич.— А помнишь, в молодости-то, когда я завуземом был?..

Завузем — или заведующий уездным отделом — это была такая высокая и благородная должность, что Алексей Иванович теперь и сам не верил, будто занимал ее когда-то... Кажется, не верил...

Зато, если добыча в тайге или на реке была особенно богатой, Иван Алексеевич радовался этому, как никогда прежде. И если на работе удавалось выполнить задание особенно хорошо, быстро и аккуратно, им тоже надолго овладевало прекрасное настроение.

А работа у Ивана Алексеевича была нелегкая. Лет десять назад он поступил на гидрологическую станцию рабочим, а теперь был старшим наблюдателем. В дни наблюдений он выезжал на катере «Таран» и через каждые сто метров становился на якорь. От мачты катера, словно чья-то прямая высохшая рука, протягивалась над водой деревянная стрела. На конце стрелы скрипел под тросом блок, и гидрометрическая вертушка с двухпудовым грузом, похожим на жирного налима, погружалась в речную темно-коричневую воду. Счетчик на лебедке показывал десять, двадцать, тридцать метров глубины, а трос, натянутый и поющий словно струна, все еще скользил через блок, пока наконец не повисал слабо и безвольно, колеблемый течением реки. Это значило, что груз наконец-то достиг дна.

Начиналось измерение скоростей на разных глубинах. В рубке катера время от времени дребезжал звонок или зажигалась лампочка от карманного фонарика, сигнализируя о том, что лопасть вертушки сделала двадцать оборотов, а Иван Алексеевич, не спуская глаз с секундомера, отмечал время поступления этих сигналов.

Случалось, что буря заставала «Таран» где-нибудь на середине реки и жестоко трепала его, или якорь засело на дне, и тогда требовалось много усилий и сноровки, чтобы вырвать его из цепких лап затонувших деревьев, либо из расщелины между каменными глыбами, которые, должно быть, очень часто были рассыпаны где-то там, на дне, под глубокой водой.

В длинную полярную ночь вместо катера по льду реки от одной лунки до другой таскал деревянную будку сивый меринок по имени Кузя. Вертушка ныряла тогда через люк в полу этой будки и через лунку под лед.

В углу будки шипела и трещала железная печь. Иван Алексеевич сидел за маленьким столиком и при свете фонаря «летучая мышь» следил за стрелкой секундомера, а иногда приоткрывал оконце будки и палил в воздух из берданки, чтобы волки не подходили слишком близко и не тревожили понапрасну Кузю. Хотя Кузя и пообвыкся и не боялся волков, если рядом с ним был человек, но все равно нужно было беречь и его нервы.

Река подо льдом текла медленно, лопасть вертушки, погруженной в ее глубину, вращалась тихо, и сигналы приходили не чаще чем через минуту, а то и две. От сигнала до сигнала Иван Алексеевич не торопясь успевал поразмыслить о всех своих делах — прошлых, настоящих и будущих, о том, как сейчас ведет себя река, как, предположительно, заблагорассудится ей вести себя во время ледохода, летнего паводка и осеннего ледостава.

Нередко внезапный ураган подхватывал будку, катил ее по льду, и Кузя на боку тащился за ней. Тогда Иван Алексеевич с рабочим выбрасывали из будки якорь, который цеплялся за какую-нибудь трещину во льду. Потом они выпрягали Кузю, Иван Алексеевич наматывал на руку длинный повод, связывал себя веревкой с рабочим, и так они втроем пробивались к невидимому берегу сквозь снег и ветер.

Тут не мудрено было и заблудиться, но Иван Алексеевич умел ориентироваться по компасу, и это им помогало, а когда компаса не было, он полагался на Кузю. Кузя, хотя и был старым мерином, и ленив тоже был, но когда дело касалось его собственной жизни, начинал неплохо соображать, промашек не делал. Он сначала шел по ближайшему расстоянию к берегу, а уже вдоль берега, под высоким яром, где потише ревел бу-

ран, они добирались к трем избушкам своей гидрологической станции.

Ну, а самым трудным и опасным делом для старшего наблюдателя было, как ни говори, замерить скорость и расход воды в реке при наивысшем весеннем уровне, то есть в пик весеннего половодья.

Хорошо, если река к этому времени уже очищалась ото льда, а если нет?

Река ведь протекала с юга прямо на север, рассекая добрую половину Азиатского материка, и сотни, тысячи притоков — рек, речушек, ручьев, там, на юге, начиная с марта, щедро питали ее талыми водами, когда же половодье приходило сюда, на север, река была здесь еще подо льдом, этот лед ей предстояло смять и сокрушить, а в самую заварушку, в единоборство между водою и льдом, вроде бы и вовсе ни к чему, а все-таки обязательно, встревал каждый раз Иван Алексеевич со своей гидрометрической вертушкой, с ручной лебедкой и прочим нехитрым такелажем.

И точно — как предугадывал Иван Алексеевич еще зимою, сидя в будке и присматриваясь к сигналам электрической лампочки, так ныне и случилось: весеннее половодье подкатилось к створу гидрологической станции, когда река была еще зимней, и лед на этой реке все еще сиял ослепительной белизной, не тронутой чьим-нибудь следом и слегка припорошенным после минувшей и краткой оттепели снежком. Лишь кое-где у берегов потрескался этот лед и выказал наружу черную, беспокойную воду, которая сердито бурлила под ним, только что примчавшись сюда с юга, с тех широт, где по рекам уже давно плавали лодки и белые пароходы, где уровни речной воды давно пошли на убыль, а с пашенных склонов, сбегавших к речным поймам, тянулись в сторону солнца бесчисленные рядки пшеничных, ржаных и овсяных всходов.

Дальше дело пошло своим неизменным порядком — за день-два лед потемнел, оглушая все живое, стал рваться на части, на глазах стал вздыматься все выше и выше.

Каменная глыба вблизи станции, очень похожая на голову упрямого и пожилого человека, выбритого наголо, еще недавно возвышавшаяся над водой, стала все глубже погружаться в воду, так что теперь видна была

только ее макушка, небольшая часть лба и затылка, а больше ничего.

И на водомерном посту тоже оставалась незатопленной лишь самая верхняя свая, а около другой сваи, забитой на тридцать два сантиметра ниже первой, Ивану Алексеевичу пришлось воткнуть вешку, чтобы легче было находить ее под водой и ставить на нее водомерную рейку. Именно по этой свае № 17 измерялись теперь уровни воды в реке.

В пятницу утром, в восемь часов, когда Иван Алексеевич поставил рейку на сваю № 17, он увидел, что за ночь вода не прибыла ни на сантиметр. Значит, был пик. Вода и еще продержится на такой отметке сутки, а может быть, и меньше, потом пойдет на спад.

Ну и что ж! У Ивана Алексеевича все готово, чтобы измерить, сколько десятков тысяч кубометров воды в секунду несет река сейчас, в пик половодья. Не в первый раз!

Он пригласил к себе на завтрак рабочего Стрельцова, который жил в том же домике за стеной и вот уже несколько лет сильно болел ревматизмом, отчего прихрамывал на левую ногу. Ирина Матвеевна подала к столу жареную нельму и клюкву, потом они выпили спирту, закусили кругляшками редьки и дольками чеснока. Такие деликатесы, как редька и чеснок, были извлечены из подполья Ириной Матвеевной по случаю предстоящего серьезного дела. О нем, об этом деле, Иван Алексеевич со Стрельцовым говорили мало — больше вспоминали те годы, в которые пики половодья проходили по чистой, свободной ото льда реке и расход легко можно было «взять» с катера. Потом Иван Алексеевич — в который уж раз! — рассказывал Стрельцову о том, как в позапрошлом году осенью он в тумане не разобрал, что к чему, и дал сводку, будто по реке идет сало[1]. А на самом деле то было вовсе не сало, а снежница[2]. И уже в полдень из Москвы пришла телеграмма, которая требовала подтвердить, что идет сало. Иван Алексеевич сообщил, что сала нет — вышла ошибка. А на другой день снова пришла телеграмма, и снова из Москвы, и в ней накладывалось взыскание на виновного, то есть на старшего наблюдателя Канева. Из этой истории Иван Алексеевич делал неизменный вывод, что

[1] Сало — пятна тонкого льда, признак скорого ледостава.

[2] Снежница — снег, плавающий на воде, когда температура ее близка к нулю.

работа у них на станции очень важная, если уж сама Москва так быстро забеспокоилась об ошибке, что работа у них ответственная, если Москва находит время ему, неизвестному старшему наблюдателю, дать взыскание. И как это тогда получилось с ним, он сам не знает. Но теперь, пока он жив, никогда-никогда этого больше не будет!..

Наконец Иван Алексеевич сказал: «Ну, пошли», отметил в дневнике время, и все вышли из дому. Ирина Матвеевна оделась в тулуп, накинула на шею сыромятный шнурок бинокля и села на скамеечку около дверей своего дома, приготовившись наблюдать за работой мужчин.

Стрельцов столкнул в воду лодку, накрепко привязанную к нартам, они пересекли по воде закраину, потом вышли на льдину и потащили лодку на этих нартах. Потом в две пешни быстро прорубили лунку и опустили в нее вертушку. Иван Алексеевич присел около лунки на корточки с секундомером в руке и стал вести записи, а Стрельцов время от времени крутил рукоять лебедки, поднимая вертушку, а в промежутках курил. Так они отрабатывали вертикаль, снимались с места, ориентируясь по береговым вехам, проходили сто метров и начинали все сначала. Между третьей и четвертой вертикалями они снова спустили лодку на воду и снова пересекли черную трещину, отделявшую одно ледяное поле от другого. От четвертой вертикали и дальше Ирина Матвеевна стала смотреть на них в бинокль. Она видела торопливые и резкие движения мужа и сосредоточенное, даже сердитое выражение на его красном, обветренном лице. Ирина Матвеевна хорошо знала, что муж бывает таким, когда делает трудную и спешную работу. Иной раз ему не по плечу какое-нибудь дело, он ругается, а сделать не может, не хватает сил. А потом случится в бурю переправиться через реку или удачно добыть дичь на охоте, и он вот с таким же сердитым лицом принимается за трудную работу снова и делает ее, стараясь за троих.

В прошлом году он под такое же настроение выдолбил вмерзший в лед неводник[1] и один поднял его на катках высоко на берег. Ирина Матвеевна стояла тогда в сторонке, вздыхала и думала: стоит неводнику пока-

---

[1] Неводник — большая весельная лодка для рыбной ловли неводами.

титься обратно под уклон, и он придавит Ивана Алексеевича. Но она боялась остановить мужа и посоветовать ему подождать, пока придут рабочие. Если только его остановить, спугнуть силы, тогда уже нечего ждать удачи в работе, а Иван Алексеевич, не понимая этого, попрежнему будет надрываться и сердиться.

С восьмой вертикали дело пошло у них быстрее, должно быть, они решили поступиться точностью измерений и не на всех глубинах стали измерять скорости — торопились.

Первая подвижка льда произошла, когда они долбили лунку на одиннадцатой вертикали. Льдина дрогнула, подвинулась и снова остановилась. Это еще ничего не значило, от такой подвижки и до полного ледохода иногда проходят и сутки и двое. Только вот пришлось Ивану Алексеевичу и Стрельцову долбить новую лунку на той же линии створа, в котором должны располагаться все вертикали, потому что лунка, которую они только что выдолбили, оказалась уже ниже створа, считая по течению реки.

Когда они были у двадцать третьей по счету лунки, где-то еще ниже по течению, за поворотом берега раздался громовой удар. Ирина Матвеевна побледнела. Но как раз наступил срок наблюдений, она, тяжело вздохнув, сняла бинокль и тулуп, надела ватник и, правя одним веслом, проплыла в лодке несколько метров до вешки, которая указывала местонахождение затопленной сваи. Нащупав сваю рейкой, она измерила глубину воды над ней и, чтобы не забыть отсчет, стала непрерывно повторять его: «Двадцать два, двадцать два, двадцать два...»

Так она твердила тонкими сухими губами, не оглядываясь на реку, снова пристала к берегу, вошла в дом и написала на бумажке две смешные детские двойки, подумав при этом: «Ванечка вернется и красиво перепишет «двадцать два» в журнал...»

Много лет жила Ирина Матвеевна на станции и не могла себе представить, что в положенный срок в журнале вдруг не будет отмечен уровень воды.

Когда она снова вернулась на свой наблюдательный пункт, за тем же речным поворотом один за другим раздались еще несколько глухих взрывов.

Распахнулась дверь в кладовой, домик заколебался, и тонкий столб дыма, поднимавшийся над крышей, перегнулся, будто его чем-то стегнули.

Лед тронулся. Ледяное поле, на котором были люди, поплыло, но недолго: ударилось в другое такое же поле и раскололось пополам. В тот же миг сзади на этот осколок налетела большая сизая, почти синяя льдина. Ирина Матвеевна видела в бинокль, как Иван Алексеевич взмахнул руками, пошатнулся и упал, словно у него из-под ног выдернули на секунду опору, но сейчас же вскочил снова.

Сизая льдина все подминала под себя осколок, на котором были люди, черная вода быстро неслась к ним, словно торопилась слизнуть их. Вот уже Иван Алексеевич и Стрельцов по колено в воде, обернувшись навстречу этой сизой и как будто живой громаде, ждут ее приближения... Вот Иван Алексеевич бросился прямо на нее, вперед. И хотя кромка льдины была высоко, он все-таки ухитрился как-то лечь на нее грудью, а потом еще и успел схватить за руки Стрельцова. Они оба были теперь наверху, а лодку эта шалая и как будто на что-то обозлившаяся льдина толкала впереди себя и каждую секунду могла раздавить ее, подмяв под себя.

Иван Алексеевич, лежа, попытался сверху ухватиться за борт лодки, но это ему не удавалось. Тогда стал тянуться Стрельцов, а Иван Алексеевич держал его за ноги, чтобы тот не соскользнул под лед. Стрельцов наконец-то дотянулся к носу лодки, схватил веревку, привязанную к перекладине, и они быстро выдернули лодку к себе наверх. Тут нижняя льдина раскололась еще раз, часть ее нырнула в глубину, а сизый лед с людьми стал взбираться еще выше, образуя как бы третий ярус. Когда же все это громадное, но непрочное сооружение застыло в неопределенном равновесии, люди скатились вниз, на самую нижнюю льдину, а по ней бросились к берегу. Вдруг, как будто бы безо всякой причины, они шарахнулись в сторону. Стрельцов упал, а спустя некоторое время к Ирине Матвеевне докатился звук нового взрыва, и она увидела, как вблизи людей появилась и быстро-быстро стала расширяться трещина. Люди переплыли ее в лодке и опять выбрались на лед, но что-то случилось со Стрельцовым, он упал снова. Иван Алексеевич бросил его в лодку и с веревкой через плечо, без шапки, без полушубка побежал снова. Он бежал так быстро, что казалось, будто не он тащит лодку, а лодка толкает его вперед. Еще минута — и льдина с людьми проплыла вблизи берега и скрылась за поворотом.

Ирина Матвеевна бросилась туда, не разбирая ручь-

ез, которые в этот день уже побежали с берега, в реку, сгибая льдины, наползавшие на землю. Выбежав за поворот, она увидела, что Иван Алексеевич идет по берегу и несет на руках Стрельцова.

Спустя час Ирина Матвеевна и Иван Алексеевич сидели за столом в своем домике, ели жареную нельму и осторожно, по кусочку, откусывали от белых, словно сахар, кругляшков редьки.

Стрельцов с перевязанной ногой лежал тут же, на кровати, и неохотно ел, и это особенно беспокоило Ирину Матвеевну. Иван Алексеевич тоже беспокоился.

— Раз нет у человека аппетита,— говорил он,— значит сильно помяло. Организм себя понимает. В медицине сказано...

Иван Алексеевич аккуратно переписал в журнал цифру 22 и громко вздохнул.

К вечеру Стрельцову стало лучше.

Иван Алексеевич обрадовался, пришел в хорошее расположение духа и стал рассказывать:

— Когда я был заведующим уездным земельным отделом...

Все в его рассказе было сущей правдой. Действительно, бумажки, им когда-то очень давно подписанные, имели тот самый цвет, размер и слова, о которых он говорил. Верно, что кабинет завуземa находился в лучшем доме городка, а через коридор помещался сам председатель Совдепа. Правильно, что председатель распорядился на единственной во всем уезде пишущей машинке печатать в первую очередь свои бумаги, а во вторую — Ивана Алексеевича. Но для полной характеристики всей деятельности заведующего земельным отделом товарища Канева в этом рассказе все-таки не хватало еще многого.

Никогда, например, не рассказывал он, что его отделу была в свое время подведомственна территория, на которой могло бы запросто разместиться европейское государство средней величины. Что в разных концах этой территории не всегда бывало спокойно в те времена. Не рассказывал он, что нередко, мобилизовав своего делопроизводителя, рассыльного и конюха, завузем создавал таким образом вооруженный отряд, отряд этот усаживался в нарты и отправлялся за несколько сот верст, чтобы водворить справедливость при дележе пастбищ и передаче их от монастыря и кулаков беднейшим кочевникам. Случалось, что завязывались [illegible]

стрелки с остатками банд, бродивших по лесам и тундре. Не говорил Иван Алексеевич также, что оказался завуземом по причине гибели своего предшественника в одной из таких перестрелок и оставался им пять месяцев и три дня, вплоть до приезда из губернии специалиста, имевшего за плечами четырехклассное училище.

— Да! — сказал Иван Алексеевич, когда все подробности его высокой деятельности в прошлом были, казалось ему, переданы слушателям с исчерпывающей точностью.— Да! Вот как было! А теперь что же, Ириша! Кровь-то, я думаю, почти совсем у нас остыла. Остудилась. Старость приходит! Руки-то не те...

И тут, совсем неожиданно, Иван Алексеевич засмеялся:

— Нет, скажите, как произошло сегодня — льдина на меня, а я на льдину! Прямо ей навстречу! Шалишь, думаю, не возьмешь! Отступать я от тебя не буду, совсем даже наоборот! И очень ловко получилось! Нет, Ириша, значит, есть сила! Значит, силы много, впору хоть воевать! Очень просто, что же мы, хуже других? Ничуть не хуже!

И опять он вспомнил:

— Когда работал заведующим уездным земельным отделом, мы землю давали беднейшему населению. Это что? Это справедливость! Сам писал распоряжения! Вот этой самой рукой писал! А когда не подчинялись... Нет, нас не повернешь наоборот! Шалишь! Ежели что, мы сами таких, которые против нас, вот так! Через колено!

Ирина Матвеевна поставила припарки Стрельцову; он уснул, похрапывая за пестренькой занавеской, и потом сама Ирина Матвеевна, не торопясь и чему-то улыбаясь, тоже легла спать.

А Иван Алексеевич еще долго ходил по комнате, заложив руки за спину и поскрипывая половицей, которую, он помнил, когда строил дом, пришил у печки не двумя гвоздями, а только одним.

В июле Ирина Матвеевна и Стрельцов провожали Ивана Алексеевича.

После того как миновал пик половодья, Иван Алексеевич сообщил в территориальное управление гидрометеорологической службы, что он хотел бы поехать в район, освобожденный от врага, поскольку сейчас этому району очень нужны люди. А он знает там каждую тропу, каждую речку, знает все броды и трясины, потому

что работал в тех местах заведующим уездным земельным отделом. И хотя он человек уже пожилой и гражданский, но сил еще хватит — он сумеет помочь в деле скорейшего восстановления пострадавшего района.

Управление согласилось.

И вот с вещевым мешком за плечами Иван Алексеевич стоит на пристани.

С дебаркадера поднимались на палубу парохода молодые парни — очередной призыв — в ватных и меховых куртках. Молодые и пожилые женщины стояли по краю дебаркадера и сосредоточенно, покрасневшими глазами смотрели и смотрели вслед этим парням, запоминая их лица, их голоса, их шаги.

Вскрикнула на пароходе гармонь, но с капитанского мостика человек в лохматой малице велел «отставить»; потом он откинул капюшон и стал подавать команды. Зазвенели цепи, завздыхала и заурчала в глубине трюма машина, булькнула под колесами вода.

Иван Алексеевич все еще стоял на дебаркадере, не торопился, а знал, что это пока еще не отвальная, а просто так — капитан примеривается к отвалу. Чалки-то еще не были отданы, и трап тоже не был снят.

Иван Алексеевич деловито посматривал вокруг и говорил:

— Очень даже организованно! Не то что в гражданскую или, скажем, еще раньше — в мировую империалистическую. Смотри, Ириша, все ребята строем, по четыре в ряд, песняка дали — и на палубу. И женщины ничуть не мешают. Ну, которые поплачут, так как же без этого?

Иван Алексеевич помолчал...

— Теперь вот еще, Стрельцов, и ты, Ириша: водомерный пост держите в образцовом порядке. На верхнем уклоне надо две сваи новые забить. Не успели в прошлом году, все, видишь ли, откладывали. Не было еще настоящей сознательности. Теперь это бросьте — время не такое. Ты, Стрельцов, значит, слушайся во всем Иришу. Она сделать не может, а дело понимает. Ну, пришлют вам в помощь, может, и не крепкого мужика — фронтового калеку, ничего, будьте ему от души рады. Учите его делу, объясняйте, ежели не специалист. Сколько он пережил, такой человек, тоже нужно понять и учесть...— Иван Алексеевич уже недоверчиво посмотрел на трубу парохода, словно собрался с мыслями.— А теперь, Ириша, тебе одной...

Стрельцов отошел в сторону, Иван Алексеевич, глядя жене в глаза, заговорил снова.

— Ежели что,— как бы чувствуя за собой какую-то вину, улыбнулся он,— ежели что — езжай прямо туда. Доберешься! Пароходом, потом по железной дороге, потом опять пароходом, далее — на автомобиле. И не беспокойся — после войны транспорт знаешь как наладят?! Будь уверена. Там родственники. И вообще, знают, помнят. Скажешь — был такой заведующий Канев. Да ты сама знаешь, как сказать: вы, женщины, на этот случай еще толковее мужчин. Ну вот... Будь здорова. Не беспокойся, не переживай. Да. А силы еще есть: помнишь — льдина-то на меня, а я на льдину! Так и надо! В прифронтовой-то полосе, может, и старик будет очень полезным! Опять же посмотри — здесь все налажено: пристань, дома, комбинат рыбный. А там от немца землю освободили, и надо начинать сначала. Как после гражданской, когда служил в земельном отделе. Ну, не привыкать... Тот раз по справедливости делали и в этот раз не отступим. А ежели все будет хорошо, приеду за тобой сам и заберу. Теперь какое наступает время? Одерживаем полную и самую решительную победу, окончательно и бесповоротно разбиваем ненавистного врага! Ну, а уж какое счастье наступит после того народу — мне да и тебе, Ириша, даже не представить, куда там! Значит, настало время сделать все вокруг себя крепко и навек. И красиво. Пора! Тут и думать нечего — пора, пора! Давно уже запоздали с красотой-то, с настоящим порядком! Для того и воевали, чтобы не запаздывать еще более!

Иван Алексеевич обнял жену. Потом отступил шаг назад, снял шапку с подстриженной головы и сказал:

— Прощайте! И чтобы запомнить мои слова!

Раздался третий гудок.

МЯТЛИК ЛУГОВОЙ
Рассказ

Лет пять или шесть назад, кажется, в ночь с субботы на воскресенье, Елене Аркадьевне приснился мятлик луговой.

Проснувшись, она удивилась — почему? Ну, знала эту травку, ее познакомил с ней дядюшка Егор Егорович, старый чудак, природолюб, ну и что? Почему же она вспомнилась через столько лет? Чего ради?

Шли они тогда за молоком, в тот год каждый день они ходили с дачи за молоком, километр туда, километр обратно через просторное ржаное поле. Егор Егорович сорвал на ходу неприметную травку и спросил:

— Вот этого красавца, Ленок, знаешь?

— Откуда же?

— Мятлик... Мятлик луговой.

— Ну и что?

— Красавец необыкновенный! Изысканный! А в то же время — злак и корм!

Леночка засмеялась, постучала по пустому бидону — они шли туда — и под эту дробь прибавила шагу, у нее были тогда свои соображения, ей надо было торопиться, поскорее делать все на свете.

Егор Егорович довольно бодро поспевал за ней:

— Правду говорю, Ленок...

Бог знает, сколько времени прошло с тех пор, признаться, так целая жизнь, а то и больше, и вот этот сон... И во сне — этот мятлик. Хотя бы небо, хотя бы земля, она сама, одна или с Егором Егоровичем, хотя

бы молочный бидончик — ничего! Темноватый фон, ни зеленый, ни небесный — никакой, совершенно абстрактный, а на этом фоне отчетливо, в несколько увеличенном виде, растеньице мятлика лугового.

Ну, положим, в жизни и не такие бывают и бывали странности, и на эту странность Елена Аркадьевна тоже решила не обращать внимания.

И не обращала до тех пор, покуда, спустя еще что-то около года, после очередного, очень крупного разговора с Николкой, она не пошла в парк.

Дело было серьезное: Николка надумал жениться. Ужас!

Девочка в юбке мини-миниморум, совсем не разглядишь, где находится юбочка, но если бы дело только в этом! И в голове такое же точно мини, и в выражении узеньких глаз оно же, и только ножки, действительно чудо. Ножки — с ума сойти! Николка, дурак, так и сделал — сошел.

Елена Аркадьевна накричала на него в тот раз диким голосом, даже обещала кого-то и где-то утопить, не то эту самую мини, не то Николку, не то себя; потом хлопнула дверью, перебежала улицу, еще одну и кинулась в парк. А куда кинешься в таких обстоятельствах, как не на природу?

Она побегала трусцой, которая тогда еще только-только входила в обиход и поэтому вызывала резкое осуждение на лицах парковых пенсионеров, походила по аллеям быстрым и медленным шагом, посидела на нескольких скамеечках, а потом сорвала какую-то травку, а это оказался мятлик. Она вспомнила, как эта же травка представилась ей во сне, и стала сравнивать тот, нереальный мятлик луговой, с этим, вполне реальным.

Этот оказался даже красивее, выразительнее. «Вот случай,— подумала вконец усталая и разочарованная жизнью Елена Аркадьевна,— вот случай, когда действительность красивее своего изображения и когда мечта отстает от действительности...» Она еще подержала травинку в руке и сказала ей: «А ведь все в тебе — правда!»

Что-то она и еще думала тогда, может быть, и не бог весть как умно, но совсем неожиданно для себя, и то, что эта неожиданность присутствовала в ней, помимо и кроме ее боли, тревог и злости, помимо ее слез — очень ее удивило. Она думала, что, кроме этого, в ней нет и не может быть уже ничего другого.

Вернувшись домой, она застала сына в кровати, спящего и нераздетого, разбудила его и стала тихо говорить ему о том, что вокруг него существует что-то красивое и подлинно для него необходимое, но если в самом начале выбрать не ту, не свою истинную необходимость — ошибка получится на всю дальнейшую жизнь. А это очень плохо, она знает, как это плохо.

Сын слушал молча, а в полночь, не сказав матери ни слова, встал и ушел, вернулся только утром.

Впоследствии Елена Аркадьевна и подумать боялась, что это она убедила сына не жениться, но так или иначе, он в тот раз не женился, а занялся боксом. Тоже не малина, но все-таки в его возрасте гораздо лучше, чем женитьба.

Елена же Аркадьевна, казалось ей, до конца жизни, сошлась душой с мятликом луговым. Решила, что не напрасно мятлик ей снился и еще в юности, почти что в детстве ее познакомил с ним дядюшка Егор Егорович.

И вот каждое лето стало начинаться для нее с появления среди разных трав едва заметных метелочек этой именно травки, а осень — с того дня и часа, когда водружала на свой старенький шифоньер деревянную вазочку с засохшими, но все равно такими стройными стебельками. И мертвый мятлик оставался красивым, и в нем сохранялась гордость собственным существованием, своей предметностью, пусть и лишенной тех соков, которые называют жизненными силами.

Спустя еще три года, чуть-чуть не дотянув до звания мастера спорта по боксу в каком-то весе и тоже чуть-чуть не закончив педагогический институт, Николка все-таки представил матери свою новую избранницу, которая дальше всех в своем обществе (спортивном) метала диск и говорила об этом с такой гордостью, с таким чувством превосходства собственного интеллекта, что Елене Аркадьевне не оставалось ничего другого, как махнуть на все это дело рукой. Она и махнула.

Тем более что у этой дамы-дискометательницы, по поводу которой было установлено, что она ровно на шесть лет, шесть месяцев и шесть дней старше своего супруга, имелась собственная изолированная жилплощадь с коммунальными удобствами.

И у самой-то Елены Аркадьевны в это время случилось большое несчастье — большая и совершенно безнадежная любовь к женатому человеку, и она так устала от нее, так устала ее скрывать, совершенно безнадеж-

ную и поэтому без конца требующую глубокой тайны, что когда сын снова начал пропадать по ночам, начал смотреть совсем-совсем в сторону от матери и сквозь нее, стал плохо учиться и мерзко говорить о своей будущей профессии педагога — она ничему этому не удивилась.

С ней было так, как будто она все это предвидела, давным-давно и в самых мельчайших подробностях, вплоть до имени своей невестки — Аделаида,— и теперь никакое отчаяние было уже не в силах овладеть ею, наоборот, она безраздельно овладевала им, без конца ощущая свою недобрую, но такую безупречную прозорливость.

Махнуть-то она на это дело махнула, но ведь знала, что Николка, рано или поздно, к ней вернется — вот станет ему совсем плохо с его дискометательницей, он и вернется. Она не знала только, почему бы ему не сделать это раньше, чем слишком поздно,— сегодня вечером, например, или завтра утром, еще до того, как она уйдет на работу?

Доброту же, которую обязательно нужно было куданибудь девать, Елена Аркадьевна все чаще обращала теперь к предметам естественным, неодушевленным и большим, к таким, как небо, облака и земля на всем том протяжении, которое по выходным дням охватывал ее взгляд из окна электрички.

И доброта и любовь — всегда в ожидании взаимности, скорее всего, они и есть это нетерпеливое ожидание, и, должно быть, в этом ожидании Елена Аркадьевна по выходным дням зачастила на пригородных электричках то с одного, то с другого вокзала.

Она смотрела, как ржаные и пшеничные поля — белые, зеленые, коричневые, черные — в зависимости от времени года,— одной своей стороной заканчиваются небольшой речкой, или оврагом, или упираются прямо в железнодорожную насыпь, другой же, по большей части, возвышенной, неизменно соприкасаются прямо с горизонтом; как произрастают на склонах дубовые, сосновые, березовые и осиновые рощи, непринужденно вписываясь сразу и в землю и в небо, бережно храня где-то внутри своей объемности сумрак настоящего леса; как настоящие леса, вбирая в себя пространство, рассыпаются на рощи, рощицы и даже на отдельные деревья.

Все это, все эти виды и пейзажи, внушали ей такое

чувство, и даже такое самочувствие, как будто нежное и неотчетливое, но очень сильное ожидание, в котором она давно жила, вот-вот свершится, уже свершается, как будто чья-то взаимность становится очевидной, ничем непререкаемой.

Правда, иногда Елене Аркадьевне казалось, что эта взаимность относится не прямо к ней, а к чему-то и к кому-то другому, она не огорчалась, разве только томилась и глубоко вздыхала. Главное все-таки было в том, что взаимность существует, что в принципе взаимность доступна, хотя бы и без ее участия, а только при ее свидетельстве.

Елена Аркадьевна внимательно глядела в окно электрички, и как бы в ответ на ее взгляд там появлялось ее собственное лицо, и начинало скользить то по одному, то по другому пейзажу, и она удивлялась, почему художники не делают так же: слабый контур того, кто смотрит, а сквозь этот контур — все остальное, все, что этот человек видит вокруг себя или перед собою.

Она всматривалась в пейзажи как будто не сама по себе, а через отражение этой светловолосой женщины с темными, но не черными глазами, как ей казалось, немного загадочными. Она напряженно думала — какая же все-таки в них загадка? Потом ее интересовало, как эта женщина увидела вон то странное дерево, только что промелькнувшее за окном, все ветви которого изогнуты почему-то только вниз, и ни одной — вверх? Что она подумала вон о том облаке? О ней самой?

Иногда Елена Аркадьевна замечала, как смотрит на эту женщину кто-нибудь со стороны, из соседей-пассажиров, тогда и она не без внутреннего любопытства присоединялась к этому рассмотрению и анализу: кем бы эта женщина могла быть, сколько ей лет, какая в ее жизни была любовь и все ли у нее позади? Может или уже не может что-то ждать ее?

А еще такие же чувства и такие же отношения, чем дальше, тем прочнее и надежнее, складывались у нее все с тем же одним-единственным, незаметным, но очень четким предметом этого огромного мира — с мятликом луговым. Здесь даже была для Елены Аркадьевны ее собственная, никому не доступная, никем не повторимая тайна, как если бы мятлик существовал среди многих других трав, птиц, зверей и людей только ради нее одной и только по уговору с ней. Для Елены Аркадьевны было важно и существенно, чтобы именно так и

было, особенно с тех пор, как в ее жизнь все настойчивее стала вмешиваться товарищ Копейкина, а она стала сопротивляться этим вмешательствам.

Судьба связала их давно, когда Елена Аркадьевна была еще совсем молодой и совсем замужней женщиной,— Ева Борисовна уже в те времена заведовала чертежной мастерской во втором ГИПРО и к ней-то на работу, под ее начало, поступила Леночка.

В ту пору все сотрудницы мастерской были Анечками, Олечками, Софочками, а Ева Борисовна — Евусей.

Прошли годы, мастерская стала отделом оформления технической документации, сотрудницы отдела стали Петровнами, Григорьевнами и Георгиевнами, а Евуся стала Евой Борисовной и даже — товарищ Копейкиной, а сделавшись ею, невзлюбила Елену Аркадьевну.

Впервые это было отмечено после развода Елены Аркадьевны, который Ева Борисовна не одобрила решительно и строго.

Елена Аркадьевна и сама-то была в те времена без памяти, вначале вела себя мерзко — распечатывала чужие письма к мужу, часами ошивалась возле домашнего телефона, но потом возненавидела свою слабость и сказала: «Нет!», сказала, зная, что долго еще будет повторять его самой себе, вопреки каждому своему желанию хоть краешком мысли вернуться к этому решению, что «нет!» поселится где-то в углах ее однокомнатной квартиры и будет выползать, когда в этой квартире тихо, и кажется, будто никто в ней не живет, на самом же деле — живет она с Николкой.

Позже в коллективе выработалось еще одно мнение, что на какой-то вечеринке муж товарищ Копейкиной положил глаз на разведенную, но в то же самое время такую еще симпатичную Леночку...

Еще позже коллектив в какой-то мере размежевался: одни всей душой были на стороне Елены Аркадьевны, другие — Евы Борисовны. Давно надо было бы уйти из второго ГИПРО и прекратить свое отрицательное влияние на этот коллектив, но тут от Елены Аркадьевны ничего не зависело: квартира у нее была не государственная, не кооперативная, а ведомственная. И перейти просто так, по собственному желанию, оставив ведомственную квартиру за собой, было делом, для кого ни возьми, безнадежным.

Трудно, просто невозможно было себе представить, что нынешняя Копейкина была когда-то Евусей, строн-

ла глазки инженерам разных отделов и возрастов, что вместе с Леночкой они бегали в киношку смотреть начинающих Саввину и Бондарчука, что, в меру своих сил, Евуся даже содействовала Леночке в приеме на работу, что уже тогда, будучи смышленой начальницей, она подбрасывала приятельнице то чертежик повыгоднее (в то время работали на сдельщине), а то и непыльную работенку слева.

Теперь Ева Борисовна сердилась на Елену Аркадьевну по любому поводу, даже если отдел в целом получал премиальные, а сердясь, она старела и толстела у всех на глазах.

В отделе оформления технической документации было несколько разведенных женщин, но только к Елене Аркадьевне относились общие замечания товарищ Копейкиной по поводу излишних свобод, которыми пользуются женщины в нашу эпоху, и о проклятом наследии прошлого в характерах лиц женского пола — тоже к ней же, и критика начальства вплоть до директора института в устах товарищ Копейкиной неизбежно приобретала специальный подтекст в тот же адрес.

При всем том товарищ Копейкина была хорошим руководителем, умела доказывать интересы подчиненных, не бывала откровенно груба или откровенно и формально несправедлива к кому-либо из них, так что если бы она оставила свой пост — это была бы потеря. И ссориться с нею принципиально — значило ставить личные интересы выше общественных. Кроме того, Елена Аркадьевна ненавидела товарищ Копейкину далеко не всегда, а лишь в те минуты, когда та ненавидела ее, ну, может быть, за одну минуту раньше, когда, сидя у окна в огромном и скрипучем кресле, та замышляла и без промедления начинала выкладывать свои шпильки. Все остальное время Елена Аркадьевна Копейкину жалела: уж очень несправедливо быстро пришла к ней старость и расплылись ее почти что уникальные формы. Случись такое с Еленой Аркадьевной — она бы не одного какого-то человека, а всех окружающих ела бы поедом. Много раз готовилась Елена Аркадьевна к тому, чтобы сделать Еву Борисовну своим врагом,— для этого нужно было сначала разрисовать ее в своем воображении самыми дикими красками и еще в два раза утолщить, потом поверить в свой рисунок и, наконец, действовать, бороться с этим рисунком всеми силами.

Почему-то эта технология ей не удавалась, и она все бросала где-то на середине. Она ведь все еще помнила Еву Борисовну Евусей.

Только удивительно было: свой возраст Елена Аркадьевна почти не ощущала, а вот чужая старость все настойчивее навязывалась к ней.

Со своим собственным возрастом Елена Аркадьевна справлялась легко и даже небрежно — хорошая ли погода или дождь, садилась в электричку и ехала куда глаза глядят.

Когда-то дядюшка Егор Егорович, давно уже умерший и тоже давно почти забытый, любил, покручивая свои реденькие, будто подпаленные на огоньке усы, с рюкзаком за плечами шастать по России — не по Крыму и Кавказу, не по Закарпатью, а именно по России — от Архангельска до Белгорода, от Смоленска до Самары, реже до Владивостока или Камчатки. Сам любил и Леночке советовал то же самое: погоди вот, время пройдет — пожалеешь, что не поглядела на Россию!

Ну, это ей было и ни к чему, и не под силу, эти путешествия, разве когда на пенсию выйдет, а пока что ее вполне устраивали пригородные пейзажи, она любила всматриваться в них не один, а много-много раз, любила угадывать по памяти, что за картина откроется, когда, словно занавес, в сторону сдвинется какой-нибудь лес или какая-нибудь возвышенность, любила она и свою память за то, что та всегда при ней, всегда способна приобщить ее к окружающему миру...

Дядюшка Егор Егорович обладал, должно быть, памятью каких-то иных оттенков и качеств по отношению к природе в целом, к ее пространствам, в этом они были разными людьми, а вот взгляд на отдельный предмет природы — на цветок или на травку — Елена Аркадьевна унаследовала, должно быть, от него. Интересно ведь — как все-таки ты устроен? В кого? На кого похож?

Егор Егорович, держа в руках какую-то травку, говорил, помнится, так:

— В законе существует она, а мы с тобой, Ленок, по закону только родимся и умираем, больше ничего — точно! Существуем же и живем вне закона. Какой же это по здравому смыслу закон, если рождается, положим, крохотный такой младенец, рождается, как все, и умрет тоже в свое время, как все умирают, но во время своей жизни он вдруг делается Чингисханом — представляешь? И по этой причине уничтожает миллион та-

ких же, как сам он, понимаешь ли, чтобы, [illegible] что они — не Чингисханы, а может, и не [illegible], так?! Точно! Спрашивается: какой же это [illegible] или чего-то еще, если все зависит от случая — родится этакая крохотуся либо — нет? Доживет она до шестидесяти, или в детстве в нее заберется дизентерийный микроб? Какой же во всем этом закон?! Во всем этом руководит случай, то есть беззаконие — точно!

За Леночкой в то время ухаживал ее будущий супруг, вместе они готовились к экзаменам по всем предметам, и по диамату тоже, и она, будучи подкована теоретически, с удовольствием вступала в спор о роли личности в истории, упрекала дядюшку в банальности: сколько она себя помнила, с этим самым Чингисханом, да еще с Наполеоном все носились как с писаной торбой!

Дядюшка стоял на своем:

— Я не против личности, я — точно за! Я против, чтобы любая личность, ну, хотя бы и твоя, гордилась своим беззаконием и тоже носилась с ней, как с писаной торбой! Это, представляешь, к добру не приведет — точно! В этом — точности нет, то есть законности. А человечество, чтобы сдуру не погибнуть, должно жить точно. Перед ним возможностей слишком уж много, есть куда голову сунуть, а только одна из всех возможностей — правдишняя! Так что надо разобраться, прежде чем указывать, что вот это — та самая дырка, в которую следует сунуть и нос и голову! Или так: родится утопист, и вот тебе готовенький утопизм, и люди верят этому «изму», посвящают ему жизнь. А если бы тот утопист, понимаешь ли, опять-таки не родился? Ответ: во всяком случае, «изм» был бы уже другим, либо пришелся бы на другое время, а это — совсем другой коленкор, точно!

Теперь Елена Аркадьевна, вспоминая, вовсе не касалась серьезного существа этого давнишнего спора, ее другое интересовало, несерьезное: тогда в руках у дядюшки была травка — снова мятлик луговой или какая-нибудь другая травка-веточка? Мятликом он размахивал споря перед ее и перед своими глазами или чем-то другим? О нем или не о нем спрашивал громко и с обидой:

— Все дается в сравнении, вот и скажи — чего тут незаконного? Лишнего? Ненужного? Ничего такого нет, а это значит — закон, и надо пошевелить мозгами: ка-

кой он? Как ему научиться? Я разницу между ним и собою так и понимаю: мне учиться, а ему — нет. Он для себя и для мира — уже совершенство, не то что я!

Это было нехорошо, что она не помнила, о какой травке шла речь — о мятлике или не о нем? Конкретно. Чем дальше, тем больше и больше Елена Аркадьевна жила с мятликом наедине, потому она и должна была знать и помнить все о первом знакомстве между ними, обо всех последующих встречах с ним...

Так она вспоминала и так думала всякий раз, когда держала в руках зеленоватое с серым и даже с голубым вещество жизни, воплощенное в безупречно строгие формы этого растения. Она присматривалась к другим травам и деревьям, там этой точности действительно не было, там нельзя было понять, чем вызвана необходимость существования того или иного листочка либо веточки, там она могла быть на стебле или на стволе, эта веточка, но ее могло и не быть и никто не заметил бы ее отсутствия, она могла быть короче или длиннее, чем была, и опять-таки это не нарушало ничего — никакой гармонии, никакого архитектурного замысла.

Мятлик луговой был не таков, он тоже, как и весь мир вокруг него, мог существовать, а мог бы и не существовать, но если уж он существовал, так только таким, какой он есть и должен быть. Стоило оторвать у него одну веточку, как сразу же непоправимо нарушался его рисунок, вся его идеально строгая пирамидка. Грубое вмешательство в его существование не могло пройти даром, как это бывает, скажем, у людей; в мятлике сразу же появлялся провал, бездна,— растение навсегда становилось калекой. Тут нарушалась его кристалличность. Хотя он и состоял из множества живых клеток, частиц и звеньев, однако это множество нисколько не мешало ему оставаться кристаллом, растительным и несплошным. Воздуха в него было включено даже больше, чем собственного вещества, но все равно он обладал строго кристаллической формой, свойственной только ему, запечатленной только им и в то же время присущей всему, что есть вокруг — и минералам, и растениям, и, наверное, самой высокоорганизованной материи. Это был чертеж, схема, геометрия и стереометрия — абстрактная и умозрительная, природная и реальная, воплощенная все в том же веществе жизни, которое подвержено холоду и теплу, ветрам и дождям, рождению от предков и гибели ради потомства.

Держа в руках этот предмет мира, Елена Аркадьевна тоже начинала чувствовать себя в объятиях всего живого, всего, что распространено почти всюду по планете Земля, а потом к ней приходило и чувство вещества вообще — не только живого и не только земного. Чувствовала она при этом и какую-то свою взаимность по отношению к миру, а мира — к себе, кажется, ту самую, которой ей не хватало для ее жизни чуть ли не с самого детства.

Что можно было ждать от мятлика лугового? Ничего... Но она ждала — нельзя ведь общаться, ничего не ожидая от общения? Если даже такое ожидание не более чем ничтожная слабость, все равно она нет-нет да и возьмет верх над всеми твоими силами. И вот она ждала, что будет такой случай, когда она сможет рассказать кому-нибудь о своей любви к мятлику. Хотя — кто бы это смог ее понять, ей поверить? Кому-то это нужно, тем более что она ведь не сможет рассказать об этом как следует?

Боялась Елена Аркадьевна, как при всякой любви, и каких-то потерь.

Было и не стало — через это она прошла, и не раз; она знала потери, которые ощущаются, как собственная смерть, только не совсем полная, хотя до полной и окончательной — рукой подать. Однако ныне могло быть по-другому: и не было и не стало. Странно, очень... Ведь ничего же не было? А потерять — было что...

Накануне, в среду, Елена Аркадьевна почти два часа отсидела в парикмахерской, и поэтому утром у нее образовалось несколько свободных минут: не надо было заниматься прической. Этих минут было около десяти, и она стала торопиться, торопливо и кое-как позавтракала, а когда, уже в дверях, взглянула на часы, обнаружила, что свободных минут у нее теперь двадцать две. Тут она и приняла окончательное решение — забежать перед работой в парк.

Время было не утреннее, но и не дневное, не летнее, но и осень тоже не успела подоспеть во всей своей осенней красоте, цветение парка, его трав и деревьев минуло давно, но растительность еще жила этим минувшим, и кое-где в гуще кустарников еще можно было заметить пестрые пятнышки цветочной пыльцы, а желудевая за-

гаэь дубов была похожа на зеленые бутончики, из которых вот-вот появятся какие-то неожиданные цветочки.

У Елены Аркадьевны была в парке своя мятликовая лужайка, небольшая — восемнадцать в одну, тридцать три шага в другую сторону, приятная еще и тем, что на нее выходили самые разные деревья — была здесь и липа, и рябина, и клен, был дуб, и на этой же поляне поселился мятлик, из года в год выбрасывая навстречу солнцу свои тонкие метелочки и делая это таким образом, что они, не будучи самыми высокими среди других трав, все равно неизменно освещались солнечными лучами — и днем и вечером. Как только лучи падали на лужайку, мятлик тут же принимал их на себя и как будто бы таял в них, на самом же деле строился, рос, крепнул и созревал.

Мятлика, и лугового и обыкновенного, если приглядеться, было немало по всему парку, по всем не очень затененным его местам, но здесь, на этой лужайке, он выглядел жизнерадостнее, чем где бы то ни было. Здесь был настоящий «мятликострой».

Елена Аркадьевна торопливо миновала бессовестно бездарную скульптуру физкультурницы, у которой когда-то в правой руке была теннисная ракетка, а теперь не было ни руки, ни ракетки, потом—небольшой, но все-таки очень громоздкий железобетонный бассейн, в котором никогда не было никакой воды, кроме дождевой и мутной весенней, от снеготаяния, потом — две скамейки, тоже громоздкие, тоже с железобетонными опорами. Эти скамейки в течение всего лета кто-то аккуратно через каждые несколько дней выворачивал и укладывал поперек аллеи, а кто-то спустя еще день-другой устанавливал обратно... Еще одна боковая не то чтобы аллея, а тропинка — и вот она, мятликовая лужайка.

Тут Елена Аркадьевна остановилась — на ее лужайке был человек. «Некстати! — подумала она.— Напрасно все утро торопилась, выкраивала минуты». Можно было бы повидаться с мятликом в другом участке парка, но это уже не то. Не совсем то.

Мысленно, но очень сердито Елена Аркадьевна хотела крикнуть: «Что вы тут делаете, бессовестный человек?» Но не крикнула: этот человек, стоя на лужайке, почти на самой ее середине, держал в руке растение мятлика лугового и внимательно рассматривал его.

Он был высоким, этот человек, он был в сером костюме с легкой клеточкой, в ногах у него, на земле,

лежал портфель. Глаз его Елена Аркадьевна не видела, но тем отчетливее показалось ей выражение лица — оно было ее собственным выражением, того внимания, удивления и радости, которые она переживала, общаясь с мятликом луговым.

Она ведь никогда не видела себя на этой же лужайке, в этой же позе с мятликом в руках, но тут же увидела — в один миг догадалась о самой себе.

А человек этот, склонившись, сорвал еще другое растение мятлика лугового, а то, что уже было у него в руках, положил в карман пиджака.

Елена Аркадьевна тоже никогда не бросала сорванные мятлики туда, где они только что жили и росли, а складывала их в сумочку, и сумочка ее поэтому все лето и долго еще осенью пахла свежим сеном...

Наверное, из этого положения был один выход: подойти к человеку и сначала спросить его, который теперь час, а потом — чего ради он стоит нынче здесь и рассматривает мятлик луговой точно так же, как это всегда делала она? Она, и больше никто! Как это могло с человеком случиться, почему? Что за невероятность, почему и с кем она вот так совпадает? Кому, кроме нее одной, может служить мятлик?

Елена Аркадьевна не была мужененавистницей, нисколько, она умела страстно любить мужчин, но людей ведь гораздо легче любить, чем жить с ними рядом. Тем более — совпадать с ними в своих собственных привычках и привязанностях...

Она смотрела на свое растение в чужих руках — четкий в солнечном свете рисунок мятлика был похож сейчас на солнце — небольшое и треугольное, вокруг которого должны двигаться каждый по своей орбите два человека — она и вот этот мужчина, но они не двигались, а стояли неподвижно и молча.

Так находились они почти что рядом — она и он, который был на ее месте, на ее лужайке. Разумеется, все должно было быть наоборот: она там, а он здесь, напряженно угадывать ее тайну. Наоборот не было.

Наконец человек на ее месте вздохнул, поднял с земли портфель и пошел, у нее же так и не появилось никакого права остановить его, узнать — что случилось? Кто же он? Что знает о дядюшке Егоре Егоровиче, о женитьбе ее сына, о ней самой?

И, не зная, от чего она уходит, Елена Аркадьевна тоже пошла в свою сторону — на работу.

СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Павлович
ЗАЛЫГИН

Санный путь

Повести и рассказы

Заведующий редакцией
Н. П. Утехин
Редактор *И. И. Слобожан*
Художники *Б. Н. Осенчаков*
и *В. Б. Мартусевич*
Художественный редактор
И. В. Зарубина
Технические редакторы
Т. П. Гладышева,
Л. П. Никитина
Корректор *Л. В. Берендюкова*

ИБ № 2821
Сдано в набор 29.09.83. Подписано к печати 11.04.84. Формат 84Х108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 19,12. Уч.-изд. л. 19,94. Тираж 200 000 экз. Заказ № 281.
Цена 1 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57


324521 XI 90



Сергей Залыгин
САННЫЙ ПУТЬ

1 р. 30 к.



PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190